Посвящается
Московскому Художественному театру
и его нынешнему руководителю
Олегу Павловичу Табакову

КИРА ГОЛОВКО

Адмиральша

МОСКВА, 2012
ИСКУССТВО–XXI ВЕК

ББК 84 (4)
Г 61

Издательство выражает благодарность
Михаилу Арсеньевичу Головко
за помощь в работе над этой книгой

Головко К.Н.
Г61 Адмиральша (серия «Время, люди, события»).
М.: Искусство–XXI век, 2012. – 336 с.: ил.

ISBN 978-5-98051-104-3

Для Московского художественного театра имя Киры Головко ассоциируется с легендой. Она поступила в труппу в 1937 году, застав эпоху Станиславского и Немировича-Данченко, пережила с легендарной труппой войну и позже была свидетельницей невероятно интересной жизни МХАТа, скрытой от посторонних глаз, отлакированной советскими газетами.

И сегодня, спустя много лет, в ее теплых, искренних мемуарах, записанных редактором журнала «Театрал» Виктором Борзенко, живо проступает мало знакомая читателю жизнь, действующими лицами которой были Хмелев, Тарасова, Степанова, Книппер-Чехова, Пилявская, Андровская, знаменитые писатели, кремлевские вожди и, конечно, супруг актрисы адмирал Арсений Головко.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

ББК 84 (4)

ISBN 978-5-98051-104-3

© Издательство «Искусство–XXI век», 2012
© К.Головко, текст, 2012
© В.Борзенко, составление, комментарии, 2012
© А.Сидоренко, дизайн-проект, оформление, 2012

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Несмотря на уговоры, я долго не решалась на эту книгу. Но в одну из бессонных ночей поняла, что именно такая книга поможет выразить мою признательность Московскому Художественному театру, моим коллегам по непростой актёрской профессии, друзьям, которых я помню, и, конечно, Олегу Павловичу Табакову. Я надеюсь, что мои воспоминания покажутся интересными всем, кто любит театр.

Кира Головко

В жизни бывают правила, бывают исключения из правил. И в смысле человеческой судьбы, и в смысле судьбы служения театральной сцене Кира Николаевна Головко — безусловное исключение. Ярко и пронзительно начала она свою карьеру, сыграв Аксюшу в «Лесе» — роль труднейшую, в которой проваливались многие и многие «звёзды». Но на самом взлёте, волею судьбы, Кира Николаевна, следуя за своим избранником — адмиралом Головко — оставила Художественный театр и стала примой театра в Калининграде.

У нас сейчас много премий, в составе которых есть номинация «честь и достоинство». И часто, наблюдая за их вручением, я думаю: «Господи, Боже мой, как же вы в течение такого долгого времени, присуждая эту премию, не видите едва ли не самого достойного человека!» Кира Николаевна Головко прекрасна тем, что её и сравнивать ни с кем не надо. Она самоценна. Как у Пастернака: «Я думал о переплетении века связующих тягот…» Она на самом деле связывает века. Я видел её в роли Натали в «Последних днях» — полвека назад! Потом

она преподавала, с беззаветной любовью оберегая своих едва умеющих передвигаться птенцов. А с какой радостью и совершенно без обиды она откликнулась на мой призыв вернуться на сцену Художественного театра! И с какой живостью и отвагой она играла в постановке «Учителя словесности» Шейко, и как отчаянно смело выходила в спектакле Серебренникова «Лес»… Не думаю, что в нашем цеху найдется много людей, способных в течение семидесяти лет служения театру столь же высоко и изящно нести эти редкие качества — Честь и Достоинство. А уж о доброжелательстве и говорить не приходится! Такие люди — явление единичное, особенно в театре, где умение радоваться успехам своих коллег — свойство крайне редкое. Возможно, Кира Николаевна до сих пор столь красива ещё и потому, что ей чужды зависть и злость. Я помню чрезвычайно внимательную ко мне Аллу Константиновну Тарасову или не менее звонкую в отстаивании себя Анастасию Павловну Георгиевскую, но всё-таки там было больше оборонительных редутов и наступательного движения. А вот этой ясноглазости и всегдашней радости при встрече с ближним — не было…

Кира Николаевна была счастлива в любви. Была счастлива на сцене. Мне думается, она заслуживает не просто нашего внимания к ней — она заслуживает нашего удивления перед красивой судьбой русской актрисы, так отважно перешагнувшей из века двадцатого в век двадцать первый…

И вот сейчас вы держите в руках книгу мемуаров, которые решилась выпустить в свет наша героиня. Могу сказать одно: эта книга похожа на её автора. Искренность, душевная щедрость, необыкновенный юмор. Жизнь, наполненная творчеством, дружбой, любовью в окружении исключительно интересных людей.

Дай бог этой книге таких же читателей!

Олег Табаков

В апреле 2008 года актриса Кира Головко рассказала мне историю о том, как рассмешила великого Немировича-Данченко. В 1937 году её приняли во вспомогательный состав МХАТа: юная Кира курлыкала как журавли, шумела ветром в печной трубе, подавала возгласы из толпы. Однажды во время спектакля «Три сестры» за кулисами появился Немирович-Данченко и, увидев новенькую, спросил: «Вы кто?» «Я?.. Я по…пожар, Владимир Иванович». Немирович-Данченко засмеялся и сказал: «Когда будете писать мемуары, обязательно вспомните этот эпизод».

Ко времени нашей встречи актрисе МХТ имени Чехова Кире Головко было почти 90 лет. Писать мемуары она так и не решилась, хотя материалов для подробной книги у неё невероятно много. Небольшая квартирка актрисы напоминает музейное хранилище. В кожаных папках собраны газетные публикации, в альбомах — фотографии, в сундуке — костюмы из знаменитых спектаклей, на балконе лежат чемоданы, в которые с 1935 года она складывает письма своих друзей, приятелей и коллег. Перебираешь пожелтевшие листочки, и оживают имена О.Л. Книппер-Чеховой и О.Н. Андровской, кинорежиссёра Л.О. Арнштама и критика В.Я. Лакшина…

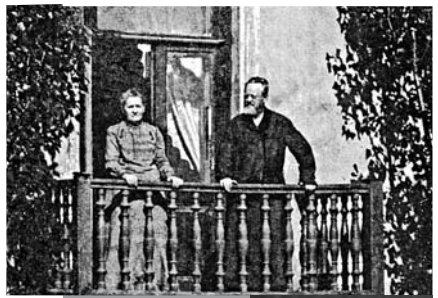
Книга, которую вы держите в руках, началась с традиционного интервью, которое автор этих строк взял у Киры Николаевны в преддверии Дня Победы для журнала «Театрал». Предполагалось вести беседу о жизни МХАТа в годы войны, однако уже через пятнадцать минут стало ясно, что журнальная публикация — слишком скромна в объёмах для подобных воспоминаний. Актриса готова была бесконечно описывать свои впечатления. Многие, даже крохотные, эпизоды из жизни Головко оказывались связанными с легендарными людьми, несли в себе колорит эпохи; судьба словно нарочно сделала жизнь Киры Головко не просто легендой, а собранием легенд. В интервью как-то само собой всплыло имя поэта Вячеслава Ива́нова — родственника актрисы, потом Станиславского, и, наконец, любимого мужа Арсения Головко — адмирала, всю войну командовавшего Северным флотом. На вопрос «почему Вы не пишете мемуары?» Кира Николаевна ответила с некоторым кокетством: «Не хочу подчеркивать возраст». И все же пару недель спустя запись воспоминаний началась.

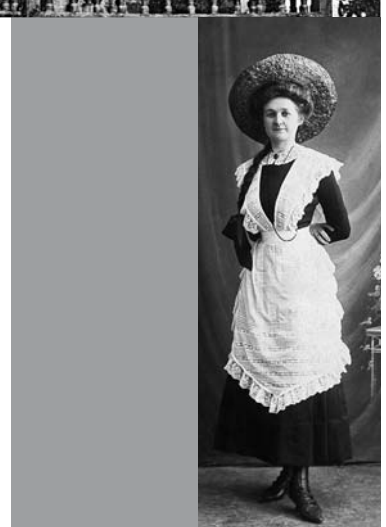
Автор-составитель этой книги сердечно благодарит всех, чья дружеская помощь оказалась неоценимой при работе над изданием: Алевтину Кузичеву, Ксению Ларину, Валерия Якова, Михаила Головко, Александра Акопова, Александра Хавчина, Зеева Бар-Селлу. Особая благодарность сотрудникам Музея МХАТ и Центральной научной библиотеки СТД.

Виктор Борзенко

ГЛАВА 1

РОДИТЬСЯ В 1919





МЕНЯ НИКОГДА НЕ БИЛИ РЕМНЁМ

Когда мама была на восьмом месяце беременности, папа заболел тифом, лежал с температурой под сорок. 11 марта 1919 года он в полубреду встал с кровати, споткнулся и случайно маму толкнул. Моментально начались схватки. Поднялся переполох — к акушерке ехать было уже поздно, поэтому роды принимались на месте — в доме, который снимала наша семья в Ессентуках.

В Ессентуках семья несколько раз меняла место жительства. Дольше всего арендовали второй этаж дома Фидлеров (Ермоловская улица, 6). Четверть века спустя художник-иллюстратор Николай Владимирович Фидлер (сын хозяина дома), который к тому времени будет работать в Москве, напишет портрет молодой артистки МХАТа Киры Ивановой.*

Для моего появления на свет ещё ничего не было приготовлено. В ход пошло то, что под рукой. Бабушка Катя (мамина мама Екатерина Александровна Лангваген, в девичестве Кобылина) сняла с себя бумазейную юбку и запеленала меня. А перед этим окунула в таз с подогретой колодезной водой, вымыла с мылом. Восьмимесячные дети тогда выживали редко. Принял роды мой дед, доктор медицины. Это была последняя операция в его жизни — в 1922 году он умер. Он же и выхаживал меня, обкладывая бутылочками с тёплой водой и подкармливая особыми смесями.

* Здесь и далее примечания издательства

Когда папе показали лысого младенца, покрытого красными пятнами, он произнёс лишь «какая гадость» и отвернулся к стене. А меня в пелёнках понесли в другую часть дома, чтобы я своими воплями не мешала папе уснуть.

Сначала в свидетельстве было записано, что родилась я в 1919 году. Но поскольку время было тяжёлое, денег не хватало, бабушки постарели и побаливали, мама отдала меня в школу на год раньше — в пять с половиной лет. Потом в школе возникли сложности — меня из-за возраста отказывались переводить в пятый класс. Мама не смирилась с таким положением дел и 1919-й год рождения в свидетельстве собственноручно исправила на 1918-й. Так и пошло с тех пор. Даже в актёрской карточке, хранящейся в музее МХАТа, записано, будто я 1918 года рождения.

Бабушка Лена (папина мама) была очень набожная и думала, что преждевременное появление ребёнка — дурное предзнаменование. Поэтому едва я немного окрепла, она повезла меня на санках в Пантелеимоновскую церковь. Видимо, это была осень или начало зимы 1919 года. Снег заметал дороги, сани подпрыгивали на ледяных буграх, и бабушка услышала вслед:

— Эй, женщина, вы ребёночка потеряли!

Самое удивительное, что я при этом продолжала сладко спать в сугробе. Бабушка испугалась, начала меня трясти, и я тут же заверещала на всю округу.

В этой же церкви меня крестили. Во время обряда я всё время плакала, а поскольку священник обучал своего сына, то в купель меня окунали дважды. Так что я дважды крещённая…

Маме в церкви находиться не полагалось (крёстной стала моя единоутробная сестра — мамина дочь от первого брака Ниночка Гаспарини), но даже на улице мама услышала мою истерику. Первый вопль ещё перенесла. А когда я взвыла снова, она не выдержала и вошла… Позже она рассказывала, что я, бледная от страха и холода, рыдала на руках священника. Видимо, тот случай вонзился в подсознание, поскольку в детстве священники наводили на меня панический страх.

…Эти истории я знаю со слов близких. Самое же первое воспоминание моей жизни относится к пятилетнему возрасту. Родители отдали меня в детский сад, я потянула веточку и сломала. В ту же секунду подлетела строгая женщина и стала меня распекать. Дома я закатила

истерику, что в садик больше не пойду. Родители надеялись, что эти капризы наутро забудутся, однако и утром я кричала, как резаная. Бабушки не могли выдержать такого насилия над ребёнком и решили воспитывать меня дома. Больше в детский сад я не ходила…

Помню, как папа наказал меня за враньё. Я дружила с девочкой из соседнего двора. Она росла в бедной семье. Холодильников не было ещё и в помине, так что в каждом дворе хозяева выкапывали погреба и хранили там продукты. Однажды эта подружка потащила меня в какой-то погреб и на моих глазах поела чужих котлет и хлеба. Конечно, я с восторгом рассказала об этом дома, чем разгневала родителей, и мне запретили встречаться с той девочкой. Несколько дней спустя родители уехали по делам, а когда вернулись, узнали, что я по-прежнему с ней общаюсь. Папа отвёл меня в маленькую комнатку, где стояла клеёнчатая кушетка, и сказал:

— Снимай трусики.

Я послушно легла, он стал отстёгивать ремень. В эту минуту открылась дверь, и бабушка Катя закричала:

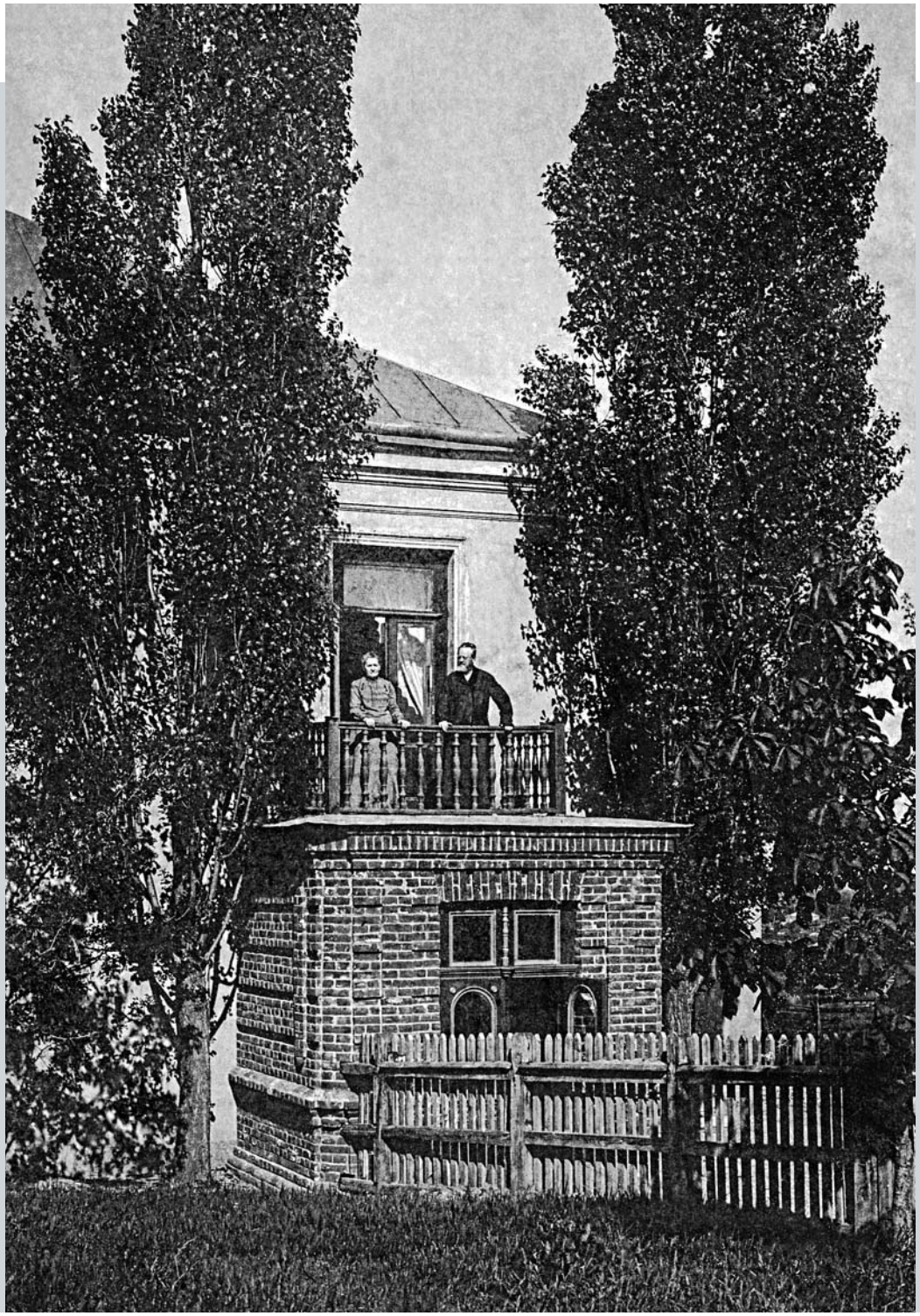
— Коля, не смей этого делать!

И рухнула в обморок. На меня плюнули и стали приводить бабушку в чувство. С тех пор никогда в жизни меня не били ремнём, разве что шлёпали иногда слегка.

До революции в дворянских семьях детей за проступки наказывали, но пороли в исключительных случаях. Порка считалась дурным тоном родителей и поступком, который плохо влияет на ребёнка. Бабушка Екатерина Кобылина окончила Смольный институт благородных девиц в начале 1860-х годов и отрицала любые наказания. Кира Головко вспоминает, что в детстве не раз слышала от неё фразу, которую та применяла в отношении к хамам: «Ну, о чём с ним говорить, его же в детстве секли?!»

КОРОБКА С КЛОУНАМИ

Бабушка Катя знала самые невероятные сказки. Время было тяжелое, семья переезжала с места на место, и в этих переездах затерялись детские книжки. Но каждый вечер при свете керосиновой лампы она рассказывала мне то про немецкую девочку, которая сражалась с драконом, то про итальянского мальчика, победившего смерть, то про мальчика Ваню, который в мороз отправился за новогодней ёлкой.



1 Дедушка и бабушка Киры по маминой линии жили в Ессентуках. Жаловались на скуку и отсутствие приличного театра, но гордились кавказским климатом

А когда у меня появились книжки, я прочла «Снегурочку» и полюбила её на всю жизнь — вплоть до того, что поступив во МХАТ, хотела сыграть эту роль в учебном порядке. В тот же день новость облетела весь театр. Так как я была высокой и достаточно крупной, моя внешность никак не клеилась с образом хрупкой Снегурочки. В буфете ко мне подошла травести Евгения Николаевна Морес и громко при всех спросила:

— Может быть, ты ещё и детей в «Синей птице» захочешь играть?

В общем, подняла меня на смех, поэтому о заветной мечте пришлось забыть.

В детстве игрушек мне почти не покупали. Главным развлечением были солдатики и клоуны, которых дедушка Вильгельм Лангваген вырезал из плотной бумаги, а затем рисовал им одежду, раскрашивал лица. У меня была большая коробка, в которой хранилось несколько сотен таких фигурок. Зимними вечерами я ставила их, как домино, чтобы, толкнув одну, упали все.

Мама и бабушка Катя требовали, чтобы в доме я отвечала по-французски, а о бытовых вещах мы старались говорить на немецком языке. Бабушка Катя была истинной дворянкой. Я не помню случая, чтобы она повысила голос, хотя поводов для этого я давала предостаточно. До сих пор с болью вспоминаю случай — бабушка вязала у окна, я бежала, ударилась об её локоть, и спица попала бабушке в глаз. Образовалось бельмо, которое до конца жизни так и не исчезло, сколько бы папа ни возил её по врачам. И вот за это происшествие она ни разу не упрекнула меня.

Другой характер был у бабушки Лены — очень верующей. С вечера она завивала седые локоны, чтобы на рассвете достойно выглядеть в Пантелеимоновской церкви, где не пропускала ни одной службы. Могла встать и в два часа ночи, если служба начиналась совсем рано, и считала, что за все земные мучения ей воздастся на том свете. В 1931 году бабушка узнала, что наш родственник архитектор Игорь Лапицкий (муж её сестры Елизаветы) участвовал во взрыве храма Христа Спасителя, и это стало для неё настоящей трагедией. Вся семья пыталась объяснить бабушке, что у Лапицкого не было другого выхода: за отказ его бы репрессировали. Но она твёрдо стояла на своём и отказалась признавать Игоря.

В детстве бабушка часто брала меня в церковь, разучивала молитвы, но вскоре наступили иные времена, и у нас в школе учителя, вздымая руки к красным флагам и портретам революционеров и наркомов, буквально принуждали учащихся вступать в Союз воинствующих безбожников, даже членские билеты нам выдали на торжественном собрании. Деваться было некуда — я в Союз вступила, но билет от бабушки прятала.

…В школу я пошла в 1925 году и была подготовлена к ней лучше многих сверстников. Никто из них не понимал по-французски, большинство не умело читать. Мама предчувствовала, что в силу своего домашнего воспитания я буду выглядеть белой вороной, поэтому не раз повторяла:

— Кира, только не высовывайся.

А ещё она опасалась, чтобы я не болтала лишнего.

В школе нам объясняли так: всё, что связано с царём — это плохо, всё, что связано с большевиками и революцией — хорошо. На протяжении всех лет обучения эта мысль преподносилась под разными соусами и звучала настолько убедительно, что я, как и множество советских детей, стала бояться нанести ущерб родной стране, которая сейчас строит новое государство и пытается вырваться из «ржавых клещей царизма». Любая оценка ниже пятёрки меня расстраивала: получалось, что я не оправдываю надежды родины, которая меня кормит и бесплатно учит.

ПАПА НЕ ЛЮБИЛ БОЛЬШЕВИКОВ

В начале тридцатых годов мама отнесла в Торгсин папины награды, которые он получил до революции за службу в армии. У него было три Георгиевских креста — два серебряных (солдатские) и один золотой (офицерский). Солдат большевики не трогали, но с офицерами могли расправиться без сожаления. Не думаю, чтобы об этом говорилось во всеуслышание, но мама, видимо, интуитивно чувствовала опасность и потому скрывала отцовское происхождение. Сначала сожгла военные документы, уничтожила фотографии и парадную форму, а чтобы отнести награды в Торгсин, отковыряла на золотом кресте белую эмаль и ночью (!) закопала в саду. В те годы так поступала не только она.

Мама нервничала, если отец выпивал рюмку. В жизни он был молчаливый, но под парами алкоголя начинал болтать. Не любил советскую власть и, бывало, не сдерживался. Помню такую картину: мама, услышав за столом его резкую фразу о большевиках, вскочила с табуретки:

— Коля, Коля, молчи!

Она прикрыла ему рот ладонью, а потом долго прислушивалась, дома ли соседи. Могли ведь и сообщить, куда следует.

Когда за столом обсуждалась запретная тема, отец мне говорил:

— Кира, ну, *в общем,* ты поняла.

Слово «в общем» означало, что об услышанном надо молчать. А молчать было о чём. Например, в 1920 году папе предлагали два места на пароходе, отплывающем за границу, но он отказался — не мог оставить бабушек и детей. Я думаю, что потом он не раз вспоминал об этом поступке — особенно, когда заболела мама и врачи не могли ей ничем помочь.

Это была удивительная пара. И сегодня на старых фотографиях видно, что до революции папа элегантно одевался и был красив. Познакомились родители на любительском концерте в городе Стародуб Черниговской губернии: мой будущий отец играл на скрипке, а мама пела — у неё было колоратурное сопрано. Там же они исполнили что-то дуэтом, и гости решили, что это заранее подготовленный номер. Оба получили приз за исполнение, а затем родители стали искать повод, чтобы увидеться снова. Осложняло ситуацию то обстоятельство, что мама была замужем за Леопольдом Леопольдовичем Гаспарини и у них было двое детей — Боря (1904 года рождения) и Нина (1906). Дело едва не дошло до дуэли, когда Гаспарини заподозрил неладное. Я не знаю деталей этой истории, но когда во время Первой мировой войны Леопольд Леопольдович умер, мой будущий отец окружил маму вниманием и нежностью. В 1918 году они поженились.

Моя мама Наталия Вильгельмовна Лангваген родилась по старому стилю 29 апреля 1879 года в Варшаве. Её отец Вильгельм Вильгельмович был военным медиком, доктором медицины, дослужился до титула статского советника, по «Табели о рангах» равного воинскому званию бригадира (военные медики в царской России имели чины гражданских ведомств). Мамин дед — Вильгельм Яковлевич — был архитектором. Знаю, что он строил дома в Петербурге.

Много раз мама переезжала из города в город, сначала с родителями, потом с первым мужем, потом войны и революции заставляли «сниматься с насиженных мест». Потому и получилось, что мама родилась, училась и окончила консерваторию в Варшаве, с моим отцом познакомилась в Стародубе, а я появилась на свет в Ессентуках.

2 Кира появилась на свет в Ессентуках — на втором этаже дома Фидлеров, где квартировала семья

3 Родители Киры Ивановой: мама Наталия Лангваген и отец Николай Иванов

О Леопольде Гаспарини (1876–1916) я знаю мало, за исключением того, что в нём были смешаны три национальности (русская, итальянская и польская) и что он был полковником царской армии. Во время Первой мировой войны был ранен, попал в плен, болел чахоткой и скончался в городе Брауншвейге в лагере. И хотя для немцев он был врагом, они во время похорон воздали ему все военные почести: в Первую мировую войну ещё соблюдались некоторые «приличия».

И ещё знаю о нём такую историю. Леопольд много времени проводил на службе, с детьми виделся редко. Его дочь Нина до четырех лет не говорила. Мама занималась с ней, возила к врачам

и к знахарям, но всё было напрасно. И вот однажды на Рождество раздался стук в дверь. Дети побежали открывать. На пороге в тяжёлой шубе стоял Дед Мороз. Он прошёл в коридор, а когда заговорил басом, Нина, перепугавшись, вдруг сказала:

— Папа сейчас плидёт.

Дед Мороз тут же отлепил бороду (им оказался, понятно, Леопольд) и от счастья стал целовать девочку. С тех пор в нашей семье верили, что в Рождество, и правда, происходят чудеса. И ещё могу добавить, что Гаспарини был красивым мужчиной. Мой сводный брат Боря был на него похож (к сожалению, он рано умер — в 1942 году). Нина тоже была красавицей — золотая блондинка — и прожила дольше. Я хоронила её в 1980 году.

Мама считала, что многому научилась у Гаспарини и особенно доброте. Наверное, это так. Лично я запомнила маму безгранично добрым человеком. Она помогала всем, кто к ней обращался. В 1920-е годы, в голод, отдала соседке последний кусок хлеба, хотя самой есть было нечего. А во время революции не запирала шкафов, от чего горничная Феня, почувствовав себя равноправной, унесла коробочку с фамильными драгоценностями. Но мама не стала жёстче. Она так боялась за папу, что готова была отдать последнее, лишь бы никто нас ни в чём не упрекнул.

В 1926 году она поступила в народную самодеятельность, которой руководил на Кавказе казак Шаховской. Начались выступления в санаториях, что давало некоторый приработок или продукты. Но из-за частых спектаклей мама надорвала голос, перестала петь, хотя и продолжала играть на пианино, которое, кстати, стоит в нашем доме по сей день.

ЗНАМЕНИТЫЙ РОДСТВЕННИК

В детстве я не раз слышала о поэте Вячеславе Ива́нове. Сегодня его творчество изучают в школах, он считается одним из ярких представителей Серебряного века. Но в ту пору я знала о нём лишь то, что он приходится моему папе двоюродным дядей и живёт в Риме. Попробую объяснить, в каком родстве он с ним состоял.

Папин дед Иван Евтихиевич был землемером, служащим Контрольной палаты в Санкт-Петербурге. Вот у этого землемера

от второго брака и родился Вячеслав Иванов. Мальчика воспитала мать (к нашей семье она кровного отношения не имеет), которая происходила из духовного рода и своей религиозностью оказала на сына заметное влияние. Дети Ивана Евтихиевича от первого брака (Евгений и Николай) были военными и умерли генералами. Сын Евгения — мой отец, Николай Евгеньевич Иванов.

Однажды о своём родстве с Ивановым я рассказала Анатолию Смелянскому, и тот воскликнул:

— Кира Николаевна, я и подумать не мог! Ведь это мой самый любимый поэт.

А поскольку такой реакции я никак не ожидала, то немного смутилась:

— Я так и не научилась молчать. Сейчас Анатолий Миронович попросит почитать стихи, а я не помню ни строчки.

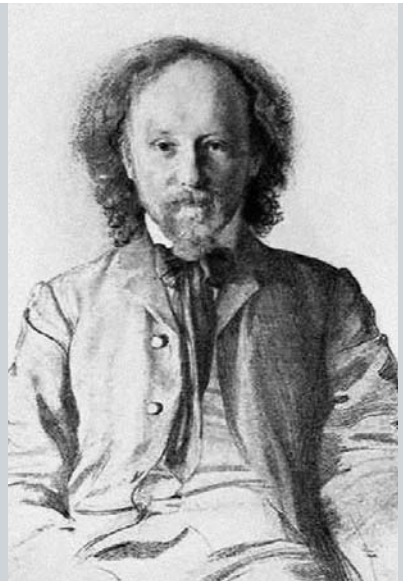
Но, к счастью, всё обошлось.

…После университета Вячеслав Иванов в 1886 году уехал в Берлин и занимался у знаменитого историка — специалиста по Древнему Риму Теодора Моммзена. Долго жил на Западе, преимущественно в Италии, приезжал в Россию в 1905 году. За границей он штудировал сочинения славянофилов, увлёкся философией Ницше и Владимира Соловьева, предопределивших мотивы его поэзии. Он дебютировал в литературе книгой «Кормчие звезды» в возрасте тридцати шести лет. Быстро стал видной фигурой в кругу символистов, заняв место рядом с Блоком, Андреем Белым и другими поэтами «второй волны» символизма.

К сожалению, я знаю о выдающемся поэте только из книг, которые нет смысла пересказывать. Папа общался с Ивановым совсем мало, но читал и любил его поэзию. Из разговоров родителей я запомнила лишь то, что поэт был удивительно артистичным.

МАМА НЕ ДОЖИЛА ДО ВОЙНЫ

Военную службу папа оставил ещё до революции. В период после гражданской войны он искал возможность заработка. Организовал агитационный кружок и подрабатывал артистом. Во всяком случае, в удостоверении 1923 года,



4 В 1911 году мама Киры сыграла гимназистку в любительском спектакле «Школьная парта». В ту пору у нее уже было двое детей

5 Поэт Вячеслав Ива́нов отличался артистизмом

выданном, видимо, как временный паспорт, в графе «род деятельности» папа указал «актёр».

Однако на театральном поприще заработать на сносную жизнь не смог и переквалифицировался в учителя математики. Время было такое: выживал тот, кто попадал в «красную струю». Большевики развивали просвещение, боролись с безграмотностью, открывали рабоче-крестьянские школы, и работа в этой отрасли давала новоиспечённым учителям социальные гарантии. В новую профессию отец вцепился зубами: преподавал в Ессентуках, заслужил признание, и его перевели в посёлок Иноземцево, но настоящий пик его преподавательской карьеры пришёлся на Москву, где папа стал завучем и получил казённую квартиру.

К середине тридцатых одиннадцатилетняя разница в возрасте родителей стала напоминать о себе. У мамы появились морщины, в то время как отец был ещё достаточно молодым человеком. И потому мама волновалась, если муж приходил домой поздно, накручивала себя и ближних, будто бы он завёл себе женщину. Даже написала в дневнике: «Кира мне не верит». А я и правда не верила в эти подозрения, но однажды мама обнаружила у отца

билеты в Большой театр. Он ходил в оперу с преподавательницей русского языка по фамилии Грунау. Конечно, обидно за маму, но можно было понять и отца: его жена больна, редко выходит из дому, плюс бесконечная усталость от быта: дом — работа, работа — дом… Крохотная, густонаселённая квартирка при школе. Всё на виду. Тут не просто захочешь сменить обстановку, но и взвоешь от рутины, а ведь папе тогда не было и пятидесяти. К тому же он любил музыку, и я утешала себя и маму, тем, что с Грунау отец пошел просто за компанию. Громкого скандала тогда не случилось, но в отношениях между родителями образовалась натянутость; за семейным ужином, например, стали проскакивать двусмысленные фразы, неприятные намёки. Уставшая от переживаний мама могла вдруг сказать:

— Конечно, будь я моложе, ты не пропадал бы в школе…

«Натянутость» продолжалась несколько лет — вплоть до маминой смерти. Она умерла 3 октября 1940 года после долгой, изнуряющей болезни сердца. В какие трудные годы ей пришлось тащить семью и стараться получить свою капельку счастья! Советская власть истребила её дворянскую породу, отняла возможность достойно работать, заставила приспосабливаться. Когда я стала служить во МХАТе, мама надевала на спектакли перчатки и шляпки, которые брала на время у приятельниц. Мы хоронили её в единственном праздничном, хотя и стареньком, платье. Кстати, с похоронами произошла тяжкая история. В те дни я была плотно занята на репетициях, а с местами на кладбище было туго: мы ничего не могли сделать, и несколько дней гроб с телом стоял в квартире. После одной из репетиций я не выдержала и разрыдалась за кулисами. Послышалась колкость в мой адрес: мол, чтобы не реветь, надо роли учить. Но вступился кто-то из наших женщин, поскольку за спиной я услышала:

— Да что вы издеваетесь? У Киры мама умерла, а похоронить не могут.

Через несколько минут передо мной стоял Фёдор Николаевич Михальский — легендарный мхатовский администратор. Он помог мне подняться и повёл к себе в администраторскую. Я просила прощения за свои слёзы, а он и слушать не хотел — упрекал, что не пришла к нему сразу, куда-то звонил и говорил в телефон:

— В Художественном театре горе, а вы помочь не хотите!

В тот же день мы получили место.

Все последующие месяцы папа напоминал мне одинокого льва, для которого радость жизни ушла вместе с женой. Он страдал, не находил себе места, стал угрюмым и тихим. Даже бельё не мог постирать: однажды я увидела, как он в нашем полуподвальчике развешивает вещи, не прополоскав их от мыла и не отжав. Когда он ушёл в комнату, я, заливаясь слезами, сама всё перестирала. Ужасно было его жалко. Какие там любовницы! Никого у него не было. Мы жили вдвоём, пока война не разлучила нас.

Кстати, Великую Отечественную войну папа воспринимал и как долг — защитить Родину, и как личное спасение — надеялся сбежать от своего одиночества. Он хотел уйти туда — в самое пекло, чтобы легче пережить мамину смерть, но в том же пекле встретил и свою собственную гибель. Хотя всё могло случиться иначе. Ведь сперва его даже не брали на фронт, но папа настойчиво ходил в военкомат, простаивал там дни напролёт, слышал от комиссаров, что в пятьдесят лет на войну не берут, всё время что-то доказывал, а потом узнал о народном ополчении и вместе с ополченцами ушёл из Москвы.

Наталья Вильгельмовна незадолго до смерти написала мужу письмо «о наболевшем» в надежде расставить акценты в их семейной жизни. Она знала, что жить ей осталось недолго. Николай Евгеньевич сохранил этот листок бумаги (на нём стоит дата 23 марта — 5 апреля 1938 года, то есть писалось–обдумывалось письмо 13 дней):

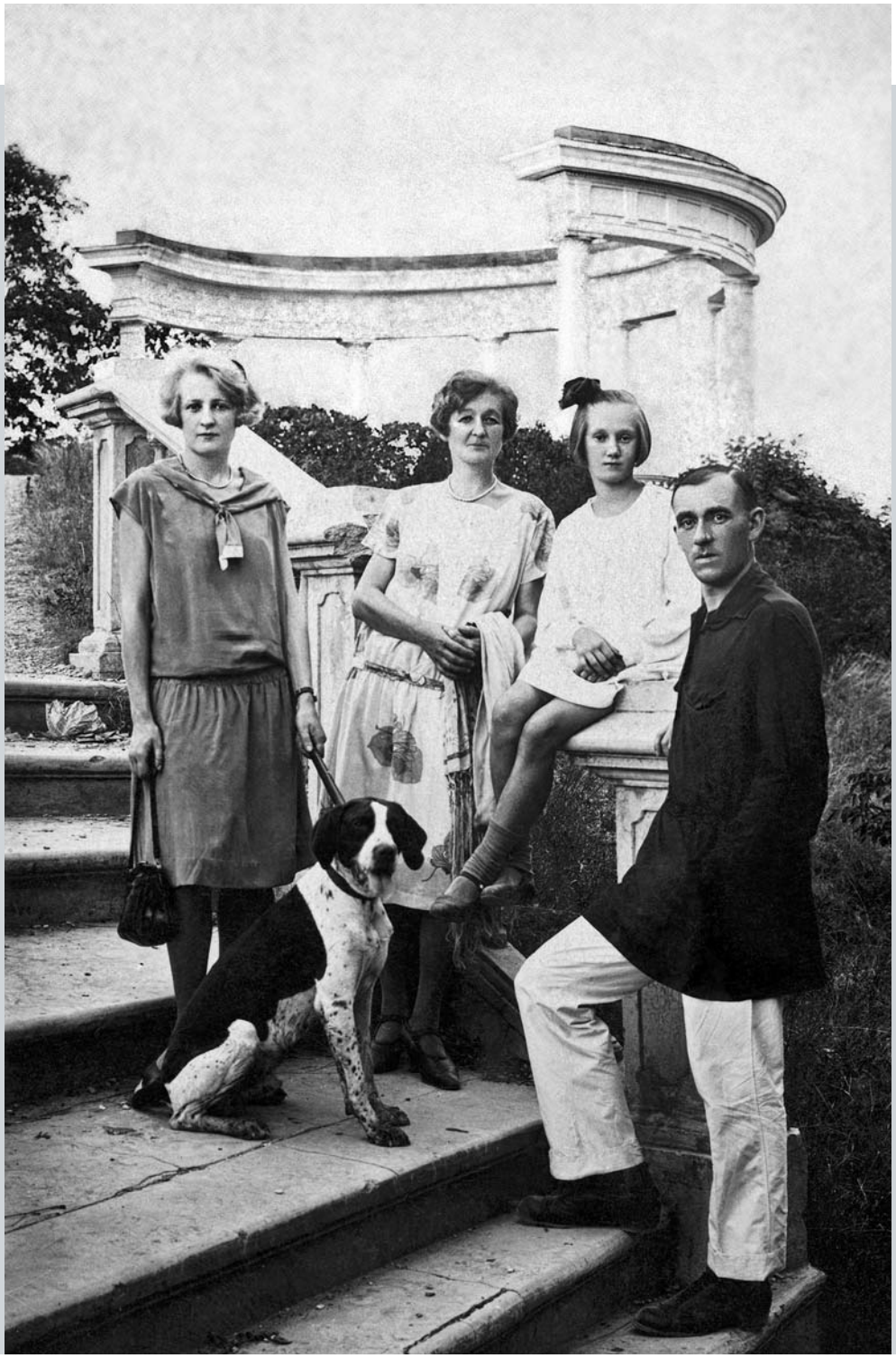
«Как-то хочется оттенить нашу с тобой, Колюша, официальную, совместную, двадцатилетнюю годовщину.

В таких случаях приветствие начинают обыкновенно со слова «поздравляю», но последнее не слетает у меня с уст. По-моему, поздравлять можно с крупным выигрышем, с успехом по службе, с удачным концом какого-нибудь судебного процесса, вообще со случайной удачей. В данном же случае можно только либо порадоваться сделанному выбору, либо пожалеть о неудачно сложившейся судьбе.

Твоё настоящее душевное состояние для меня загадка: продукт ли оно работы над собой, самообладания, силы воли или же искреннее протрезвление, сознание сделанных ошибок.

Про себя лично могу сказать искренно: полюбила тебя в 1910 году, и с тех пор ты один был мне близок, с одним тобой я могла связать свою судьбу, не разбираясь ни в тяжести, которую я на тебя навалила, ни в разнице нашего возраста.

18 лет, несмотря на многие шероховатости, без которых жизнь немыслима, я чувствовала себя героиней нашего романа, которая безболез-



6 «Последнее прости» Ессентукам. Сводная сестра Нина Гаспарини, мама, Кира и отец. 1930 г.

ненно и беззапретно могла копаться в твоей душе, в твоих карманах, и я благословляю эти годы.

Последние два года я теперь представляю себе, как прочитанную мною чужую повесть, где я не могла быть главным действующим лицом, повесть, мною не понятую, не разгаданную... Когда я ещё могла зачитываться романами, я никогда не довольствовалась прочтением их один раз — я читала до тех пор, пока не вникала во все детали, пока не переживала за каждого героя, ставя себя лично на место каждого из них. В этой же повести я так ничего и не разобрала, поведение героев мне не понятны, чужды, а моя роль в ней очень маленькая, жалкая.

Немного нам осталось прожить: нервы, сердце пошатнулись, устали и хочется только покоя, отдыха.

Жизнь же нашу с тобой есть чем вспомнить: много у нас было хорошего, светлого, яркого, нам завидовали, нас ставили в пример, и я могу сказать тебе честно: спасибо, Колюшечка, за всё хорошее, что ты мне давал, чем я живу сейчас и что поддержит меня до самой моей смерти.

Горячо любящая тебя Наташа.

P. S. Ввиду того, что я не доживу до серебряной свадьбы, да и средств не хватает для «серебряной» памяти о себе, а, главным образом, базируясь на русской пословице «не дорог подарок, дорога любовь», оставляю память этим письмом».

БРЮЛЛОВ ХВАЛИЛ ПОРТРЕТ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ

Теперь я должна рассказать о семье маминых предков, которые происходили из обрусевшей немецкой семьи Лангвагенов и жили в Петербурге.

5 февраля 1841 года мамин прадед 34-летний Вильгельм Яковлевич женился на 19-летней Розе Карловне Брейтфус (эти факты я знаю благодаря памятной книжке, которая в нашей семье ведётся с XIX века). Вскоре после свадьбы ученик Карла Брюллова — художник Григорий Михайлов — написал чудные портреты этой семейной пары. Когда работа была почти готова, Брюллов похвалил портрет Розы, но изображение Вильгельма Яковлевича ему не понравилось, поскольку у Вильгельма в руках был бокал красного вина.

— Ну, зачем же ты срамишь человека? — спросил Брюллов.

Взял растворитель, стёр бокал и вместо него нарисовал раскуренную сигару. Эти портреты я хранила, но в начале пятидесятых годов, когда мы с мужем и детьми несколько лет жили на Балтике, племянница вынула их из кладовки и продала. Мне говорили, что холсты видели на каких-то выставках, но следы отыскать так и не удалось…

Кстати, сын Розы Карловны и Вильгельма Яковлевича (Вильгельм Вильгельмович) родился, по сведениям той же книжки, 4 декабря 1841 года «под Петербургом в деревне купца Целибеева по Загородному проспекту». Затем закончил Военно-медицинскую академию, стал доктором медицины, ездил с воинскими частями, а последние годы жизни провёл в Ессентуках.

Ему, завсегдатаю столичных балов, любителю театрального искусства, было скучно в глубинке. Это видно из писем, которые он посылал своей внучке Нине Гаспарини, учившейся в ту пору в Киеве. В одном из них он пишет:

«Вот большое тебе распроперемерси, дорогая внучка, за милое поздравление меня со днём рождения и за добрые пожелания старому дедушке. <…> Очень мы все (бабушка, Яша, Боря, Василий, Стеша и я) завидуем тебе, что ты побывала в городском Киевском театре на прекрасной опере «Русалке». Хоть бы одним ушком послушать хорошее пение, хоть бы одним глазком взглянуть на чудесное действие этой оперы. Мы тут в глуши никаких таких развлечений не знаем. Одной ездой да горным воздухом наслаждаемся, одним спаньем и заманчивыми сновидениями пробавляемся. Вот наш театр! Вот наше животное прозябание! А ты ещё хочешь к нам! Стыдись! Плюнь ты на ессентукских тунеядцев, лентяев, которые ни к какой гимназии не готовятся, только едят, дышат горным воздухом и спят, как сурки и тому подобные несимпатичные твари. Я здесь приучился ложиться спать, как молокососный ребенок, в 10 ч. вечера. Зато, правда, не сплю уже с 4-х часов утра и мучительно дожидаюсь 6-ти часов, чтобы встать и приняться за писание, за чтение газеты (приносят уже в 7 ч. утра) и за чаепитие. С раннего утра жратва! За сим шлю тебе моё дедушкинское благословление на веки нерушимое, мой смачный поцелуй беззубого рта с мокрым вечно носом, моё пожелание не очень усердно готовиться к экзаменам, чтобы не нажить мигрени, геморроя (есть такая прелестная болезнь на седалищном месте) и прочих гадостей <…>».

Сколько лет прошло, но и сегодня в этих строчках слышна живая речь.

Я ВПЕРВЫЕ ВЛЮБИЛАСЬ

Школа, в которой я училась, до революции была женской прогимназией Шидловской. Потом здание национализировали, у Шидловской отобрали роскошную квартиру, но она не эмигрировала, а осталась преподавать. Жила недалеко — на Базарной площади, в крохотной комнатке на втором этаже двухэтажного дома. Формально она приняла революцию, но как на самом деле относилась к большевикам, остаётся догадываться. Кстати, на память я сохранила характеристику, которую в четвёртом классе мне выдала директриса: «Иванова Кира принимала самое живейшее участие во всех спектаклях и утренниках, устраиваемых в школе, участвовала в самоуправлении, обучила неграмотную».

Тогда же я впервые влюбилась. Это произошло как-то само собой, вроде из-за пустяка: я вдруг получила записку от Коли Кудрявцева. На тетрадном листе он написал: «Любить тебя есть цель моя, // Забыть тебя не в силах я, // Люби меня, как я тебя, // И будем вечные друзья». Я почувствовала себя взрослой и решила, что Коля имеет право провожать меня домой. Правда, было одно препятствие: я боялась, что мой брат Боря на него нападёт.

…В следующем, 1930-м году нас с папой стала трепать тропическая малярия. Лекарства не помогали, но врачи сказали, что если переехать на несколько километров от Ессентуков, то болезнь, возможно, отступит. Так мы и сделали — малярия действительно прошла, но год я жила в Иноземцево (папа преподавал там физику и математику), а на занятия в пятый класс ездила в Пятигорск. Видимо, дату рождения в свидетельстве мама поменяла как раз в это время, поскольку меня по возрасту не хотели брать именно в пятый класс.

Здесь я хочу отвлечься и сказать несколько слов о быте тех лет, поскольку именно тогда постепенно стали проявляться черты нэпа. Например, по улицам с рассвета до глубокой ночи гремели ломовые подводы — гружёные ехали шагом, а порожние возчики

7 На промысел в Москву. Казанский вокзал. 1930 г. *Фото А. Шайхета*

пускали вскачь, погоняя кнутом своих коней, запряжённых в одиночку или парой. Особенно много ломовиков гремело на привокзальной площади, возле рынка и на улицах, идущих от застав. Кованые железные ободья колёс создавали шум невообразимый, удушливая пыль висела в воздухе. Грузы перевозились также вручную на двухколёсных тележках. «Рикши», обливаясь потом, шагали быстро, чтобы успеть сделать лишнюю ездку. Грузовиков было мало, и лошади испуганно от них шарахались. В Пятигорске были предприятия, которые содержали собственный конный парк. Казённых лошадей сразу можно было отличить по худобе и плохонькой сбруе. У извозчиков лошади были покрепче — конечно, они старались своих лошадок не морить голодом, но и цены за проезд у них были не низкие.

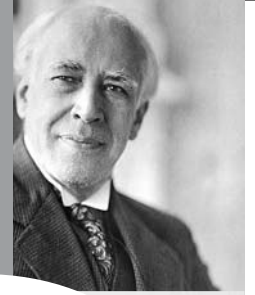
Тогда повсеместно открывались учебные заведения, и многие шли учиться, чтобы устроиться на работу. Боря с Ниной уже работали, но не в Пятигорске, а в Ленинграде. Боря устроился на завод «Красная Заря», Нина — на кондитерскую фабрику. А в начале тридцатых годов семья Нины переехала в ближний пригород Москвы — в район железнодорожной станции Лосиноостровская.

В 1932 году мы получили от неё трагическое известие: умер её муж Никифоровский. В одиночку заниматься воспитанием ребёнка Нине было трудно, она просила совета. И родители решили, что единственная возможность ей помочь, — переселить меня в Москву. Правда, у них едва хватило денег, чтобы купить мне билет в общий вагон. Внутри дурно пахло, а для сна были только жёсткие деревянные скамейки. Нашли знакомого, который тоже ехал в Москву, и он всю дорогу за мной присматривал. Больше всего боялись грабителей, по вагонам разгуливал «пролетарский элемент», но мы были бдительны, и потому вещи остались целы.

Нина встретила меня на Курском вокзале. От столичного размаха сразу закружилась голова. Десятки извозчиков, люди с чемоданами, проводники в униформе, важные служители вокзальных буфетов, но особенно на этом фоне выделялись иностранцы. Я узнавала их по очкам в круглой оправе и ботинкам на толстой, ярко-рыжей подошве. Одевались они куда элегантнее москвичей и вид имели своенравный. Бесконечным потоком шли рабочие, крестьяне и служащие. С первых минут Москва показалась мне городом, где страшно оказаться одной…

Бесконечным потоком шли рабочие, крестьяне и служащие. Легче всего было узнать крестьян — на них были обноски, я видела нескольких человек в лаптях.

Население Москвы с каждым днём стремительно увеличивалось. Прописывали граждан безоговорочно, лишь бы куда прописать. Позже в архивах вскрылись следы этого массового переселения: люди были прописаны и в чуланах, и в ванных комнатах, и на чердаках. Возвращались москвичи, когда-то покинувшие свой город из-за безработицы и голода. Ленинградцы, не смирившиеся с тем, что столицей стала Москва. Юноши и девушки ехали учиться и завоёвывать славу. Ехали дельцы, познавшие, что в Москве можно хорошо устроиться и заработать денег. У многих с собой был товар – «на первое время». Его можно было сдать на рынок, ведь основная московская торговля тогда и осуществлялась через рынки.



ГЛАВА 2

В МОСКВУ! В МОСКВУ!..

«КИРАСИН», КИТАЙЦЫ И ТРАМВАИ

Нина вместе с сыном и Марусей жила в комнатке на первом этаже двухэтажного дома. Там же поселилась и я. Маруся была няней ребенка, её нанял за год до своей скоропостижной смерти муж Нины. Теперь Маруся стала фактически приживалкой, поскольку денег, чтобы ей платить, не было. На втором этаже жил врач и двое его сыновей. В ту пору, когда я приехала, в этом семействе разгорелся конфликт. Дело в том, что один из сыновей согрешил с Марусей. Она забеременела, но страшно боялась лишиться работы. В какой-то мере её спасала собственная полнота и широкая одежда, так что «интересное положение» не заметил никто. А когда пришло время рожать, она сделала страшное. Закрылась в дворовом туалете и, перевязав себе рот, родила. Куда дела младенца — догадаться несложно. Отдышавшись, открыла дверцу — постаралась идти в дом, но упала от слабости. Не знаю деталей, но видимо её обступили, увидели кровь — всё и прояснилось. К счастью, младенца удалось спасти, его достали из ямы и выходили. Потом Маруся увезла его к родственникам. Эта история буквально сразила Нину. Она недоумевала:

— Почему нельзя было сказать о беременности, неужели я такая тиранша?

Жизнь моя тогда проходила в основном в Лосинке. Нина старалась не перегружать меня заботами о своем ребенке: видимо, боялась, что это отвлечёт меня от школы, ведь в сентябре я пошла в шестой класс. В общем, я присматривала за ним, но и уроки делала исправно. В центре Москвы бывала нечасто, но каждая поездка оставляла яркое впечатление. Я мечтала о модных туфлях, бегала смотреть витрины, но, конечно, донашивала обувь и одежду, которую мне отдавала Нина.

В новом большом городе всё мне было интересно. Наверное, поэтому мне запомнился колорит московских улиц, их ароматы и звуки. На перекрестках сидели мальчишки и старухи, торговавшие яблоками или дынями. Яблоки закупались для прогулок: молодые люди угощали ими своих подруг. Ещё одним лакомством были жареные семечки. В детстве меня приучали, что грызть семечки в общественных местах неприлично. В Москве же семечки грызли повсеместно — на улице, в кино, в школе, в трамвае, в гостях и дома. Ни урн, ни запрещающих сорить надписей я не помню. На улицах продавали мороженое: подешевле — маленькими шариками, подороже — лепёшкой, зажатой между двумя вафельками.

А ещё было много татар в тюбетейках, которые ходили по дворам и кричали:

— Старьё берём!

Видела я и старичков со слесарным инструментом:

— Паяем примусы, починяем бритвы!

С бидонами ходили молочницы:

— Молоко, свежее молоко!

У многих была своя клиентура — они ходили от подъезда к подъезду, к ним спускались хозяйки. Я различала тех молочниц, которые приехали из деревни: они не продавали молоко, а меняли его на хлеб, поскольку у деревенских была своя беда — у них всё зерно забирали для нужд города.

По многим улицам и переулкам пролегала булыжная мостовая, сложенная из округлых, не очень ровных камней (разве что на Красной и Театральной площадях, а также в Театральном проезде была брусчатка). У многих вызывал удивление асфальт, которым покрывалась одна улица за другой. В центре города стояли котлы, в которых варили гудрон. Возможно, я не придала бы этому

значения, но по вечерам мы старались обходить их стороной, поскольку в теплых котлах часто ночевали беспризорники.

Сейчас принято сетовать: вот, мол, нашествие китайцев. Но мало кто помнит, что нечто подобное было и в тридцатые годы. Причём вели они себя достаточно смело. В частности, я помню, как китайцы показывали на рынке фокусы с яблоками, а ещё у них были прачечные в Москве и лавочки на всех рынках, где мне довелось побывать. Они торговали галантереей и у памятника первопечатнику Ивану Фёдорову — у Китайгородской стены, поэтому долгое время в Москве бытовало поверье, будто бы Китай-город своё название получил от китайцев.

И ещё одна черта тех лет — переполненные трамваи. По Бульварному кольцу можно было прокатиться на трамвае «А», который москвичи ласково называли Аннушкой. По Садовому ходил трамвай «Б», который называли Букашкой. Рассказывали, что в прежние времена пассажиров в них было немного. А в начале тридцатых годов даже влезть в трамвай было непросто, а уж проехаться с развлекательной целью мне так ни разу и не удалось. И, кстати, плотно набитые трамваи были особой радостью карманников.

8 По Бульварному кольцу можно было прокатиться на трамвае А — «Аннушке»... *Фото М. Грачева*

9 ...Но в начале тридцатых годов влезть в трамвай было непросто

…Родителям понадобился почти год, чтобы собрать денег и переехать в Москву. К тому времени я приноровилась хозяйничать и помогала Нине в быту. На керосинке, в основном, подогревали еду, а на примусе её готовили. До сих пор помню едкий запах керосина, который заполонял всю комнату. Раз в месяц мы с Ниной, вооружившись бидонами, шли в Ростокино в специальную лавку, где разливали керосин. Трамваи туда не ходили, и путь наш был долгим. Над входом была укреплена «неграмотная» картонная табличка с надписью: КИРАСИН

После этого Нина с подружками стали меня так дразнить.

«ВЫ НЕСПРАВЕДЛИВЫ К СВОЕЙ ДОЧЕРИ»

Папа устроился на работу в лосиноостровскую школу железнодорожников № 83, преподавал математику и физику. В школе было много пролетарских ребят, но они меня поначалу не интересовали, поскольку объектом моей симпатии стал Ваня Румянцев, с которым я виделась в музыкальной школе. Он был на несколько лет старше, не обращал на меня внимания, и тогда я написала любовную записку. Ваня не заставил себя долго ждать и уже на следующий день протянул мне письмо:

— Дома прочтёшь.

Волнуясь как сумасшедшая, я ждала удобного момента, чтобы раскрыть конверт, и, наконец, прочла: «Дорогая Кира, наша весна ещё не наступила и нескоро наступит». Господи! Я ведь в любви призналась, а мне такие глупости сообщают в ответ. Думала, что страданиям не будет конца, но оказалось — всё проходит на этом свете, и любовь тоже: уже через неделю я о Ваньке не вспоминала, поскольку обратила внимание на другого мальчика.

В те годы я почувствовала в себе тягу к актёрству. Любила читать стихи, участвовала в школьных спектаклях и пела. А потом и учитель музыки Никодим Александрович Потёмкин сказал, что у меня есть способности, которые следует развивать. Увы, Никодим Александрович так ни разу и не увидел меня на сцене, поскольку был сослан. Видимо, не последнюю роль в этом деле сыграло то,

что его жена происходила из дворян и не сумела этого скрыть. Однажды, классе в десятом, Никодим Александрович пригласил меня в консерваторию на концерт пианиста Льва Оборина. Мы сидели рядом, и он слегка поглаживал мне руки, а я краснела — не знала, как реагировать. Как-то неловко в семнадцать лет, когда руки тебе гладит взрослый мужчина. Но всё же я отнеслась к его чувствам с пониманием и не стала конфликтовать. Мы продолжали общаться, переписываться, а потом он перестал мне отвечать. Я думала, что он обиделся, и только потом выяснилось, что Никодим Александрович арестован, сослан в какой-то Кривой Лог. Это был 1937 год.

Кстати, нашим родственникам тоже пришлось пострадать за «некрестьянское происхождение». Нина как-то летом повезла меня на Беломоро-Балтийский канал, где отбывала наказание наша тётя Таля (Наталья). Она обитала в землянке, которая внутри была устлана персидскими коврами и заставлена очень даже неплохой мебелью. Просто нелепая картина по тем временам: тётя Таля ведь на Беломоро-Балтийский канал не отдыхать поехала, а находилась там в ссылке, равно как и тысячи таких же, как она. Несколько лет для меня оставалось загадкой, откуда эти ковры, но потом мама шепнула, что Таля была в любовной связи с одним из главных тамошних энкавэдэшников.

Когда я в 1934 году окончила седьмой класс, папа выхлопотал себе место в школе № 5 на Красной Пресне — там я и проучилась до окончания школы. Жили в казённой квартирке — здесь же, в Шмитовском проезде, в здании школы. Полуподвальный этаж, из окон видны только ноги прохожих. Но мы радовались и таким условиям, потому что после Нининой комнатёнки здесь можно было развернуться.

Отец целыми днями был на работе. Коллеги его уважали, а школьники боялись — педагог он был строгий. Во всяком случае, мне всегда занижал оценки. Мама просила, чтобы я не придавала этому значения, и помогала мне сглаживать острые углы. Когда однажды папа в очередной раз влепил мне трояк, не выдержала даже староста класса Клава Кузина — она поднялась с места и сказала:

— Николай Евгеньевич, вы несправедливы к своей дочери. Исправьте, пожалуйста, оценку.

Я очень удивилась такому поступку, поскольку считала, что Клава меня терпеть не может из-за Игоря Разорёнова — одноклассника, который нам обеим нравился. Дело в том, что на уроках физкультуры мы выстраивали «пирамиду», и он просил, чтобы именно я стояла у него на плечах. Я охотно это делала, а Клавка ревновала.

10 Традиционная школьная фотография. Вторая слева в первом ряду — Кира Иванова. 1934 г.

Удивительно, что в годы массовых чисток (о них мы, конечно, не знали) школьная жизнь была какой-то празднично-насыщенной. Выпускались пафосные стенгазеты, торжественно проводился приём в пионеры (причём форма заявления писалась на доске — даже заучивать ничего не нужно было).

Эти гимнастические «пирамиды» мы часто включали в театрализованные шествия, которые устраивались как антирелигиозные праздники по борьбе с мракобесием. Нас заставляли писать плакаты, и мы участвовали в митингах. Один из ярких праздников отмечался 18 марта — День Парижской коммуны. Меня часто выдвигали от класса выступать на школьных вечерах,

но помню только, как я с надрывом читала стихотворение, в котором была строчка: «Там нужны и эти руки, // Матери твоей». Однажды я протянула руки к зрителям и увидела, как учительница истории смахнула со щеки слезу. На неё это произвело впечатление.

Следы стихотворения обнаружились и в переписке Киры Головко с мужем. Оказывается, будущая актриса декламировала его не только в школе… «Когда мне было лет десять, — пишет она 3 декабря 1949 года, — я разучила стихотворение, которое называлось “Колыбельная песня”. Декламировала его под музыку — играла мама. Я вспомнила начало и ещё несколько строк:

“Не пугайся, мальчик, тише!
Это за окном
Рухнул сумрачный, прогнивший,
Старый, старый дом!
(подразумевается революционный переворот)
Этот дом заплесневелый почти был темницей…”
и т.д.

А потом были строчки:
“На постройке слышны стуки
(это уже строительство социализма),
Ну, усни скорей!
Там нужны и эти руки,
Матери твоей”.

И я прекрасно помню, что вот на этих строчках у папы всегда появлялись слёзы на глазах. Он в этом смысле был похож на тебя: это был сильный, мужественный, выдержанный человек, но в трогательные моменты его глаза легко наполнялись слезами. И помню, мне было ужасно страшно, что мой строгий папка, которого я очень боялась, вдруг плачет, когда я потрясаю своими руками, произнося: “Там нужны и эти руки, Матери твоей”. Кстати говоря, после декламации в школе этого стихотворения мне стали пророчить будущность драматической актрисы».

Классная руководительница Елена Генриховна Лисина водила нас в Театр революции, в Театр имени МОСП (ныне Театр Моссовета) и в Малый. Значительно больше воспоминаний связано со МХАТом, спектакли которого я уже самостоятельно пересматривала по несколько раз. А поскольку в печати то и дело устраивались дискуссии об актёрском мастерстве, то я готова была встать на защиту МХАТа, если вдруг кто-то усомнится в его творческих методах. Однажды я просто возомнила себя мхатовкой и, наверное, неделю твердила всем о вопиющем недоразумении, которое случилось на моих глазах: после спектакля «Царь Фёдор

Иоаннович» Николай Хмелёв не раз выходил на поклоны и, видимо, от усталости стал тут же снимать перстни. Как и положено выражаться в мемуарах, «в груди моей разгорелся пожар»! Ведь Станиславский писал, что артисту категорически запрещено разгримировываться на публике: теряется правда образа! Я немного гордилась своим наблюдением: видите ли, лучше Хмелёва знаю, что можно артисту, а чего нельзя!

«КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ! В ЭТОМ ПИСЬМЕ СОВЕРШЕННО НЕТ ЛЖИ»

Как только я прочла в старших классах «Мою жизнь в искусстве», поняла, что непременно должна увидеть Станиславского — это ведь чудо-человек, чудо–режиссёр, который сумел отразить в книжке многие мои чувства о театре. Точнее, чувства-то были не мои, но мне казалось (снова — юношеский максимализм!), что книжка написана как бы про меня. И своей радостью хотела поделиться с Константином Сергеевичем. Для начала выбрала традиционный способ — дождаться его у служебного входа. Но оказалось, что Константин Сергеевич болен и не выходит из дому. И ещё оказалось, что я далеко не первая девушка, которая приходит «поджидать» Станиславского…

Родители не сразу смирились с моей влюблённостью в театр. Первой вмешалась мама. Она понимала, что поступить в театр мне почти невозможно. А папа даже боялся слышать о моих театральных намерениях, надеясь, что я всё же пойду по его стопам и стану математиком. Но свои чувства держать при себе я не могла. Единственный, кто мог понять меня в ту минуту (как мне казалось), был сам Станиславский. Тогда я своими каракулями нацарапала письмо и бросила в почтовый ящик его дома в Леонтьевском переулке. Своё послание я заканчивала вопросом «какими качествами нужно обладать, чтобы стать актрисой МХАТа?» Ответа, разумеется, не последовало. Константин Сергеевич получал в день десятки подобных писем. Да и зачем отвечать школьнице? Хотя не скрою — через много лет было

приятно узнать, что письмо моё он сохранил и даже подчеркнул в нём карандашом какие-то строчки. Однажды Фёдор Николаевич Михальский показал мне его в музее театра. Боже, каким наивным оно мне показалось!

Впрочем, спустя еще много лет, когда шла работа над этой книгой, письмо вновь отыскалось. Привожу его полностью:

Дорогой Константин Сергеевич!

Я прекрасно сознаю, какую беру на себя смелость, когда решаюсь писать Вам это письмо. Заранее прошу простить меня за причинённое беспокойство, потому что уже сейчас мне делается ужасно стыдно при мысли, что я своим глупым письмом буду отнимать у Вас время и затруднять Вас.

Я бы никогда не посмела написать Вам, если бы не то безграничное уважение и любовь, которые я испытываю к Вам, которую мне сумели привить знавшие Вас люди. Вините их, — я тут, право, не при чём. Я Вас никогда не видела, знаю (увы!) только по портретам, книгам, отзывам, но когда я смотрю на Ваш портрет, висящий над моей кроватью, мне кажется, что Вы единственный человек, любимый мною всем сердцем, человек, который один может разрешить все мои сомненья, которому я могу спокойно доверить самые сокровенные переживания моей души… И всё равно, всё равно я знаю, что несмотря на всё то, что я написала, писать Вам не имею никакого права!

Но я долго удерживала себя, а сейчас не смогу. Дорогой Константин Сергеевич! Отругайте меня непременно за мою невоспитанность, излишнюю смелость, если найдёте нужным, но я не могу, честное слово, не могу не написать Вам…

Обращаюсь я к Вам с огромной просьбой помочь мне разрешить очень волнующие меня вопросы.

Я девушка. Мне восемнадцать лет. В этом году я заканчиваю десятилетку (уже сдала три экзамена). Я обожаю театр и… (я знаю, Вы уже догадываетесь, о чём я буду писать, и, наверное, сердитесь на меня, возможно, что я вполне заслуживаю этого) я хочу попробовать отдать свои, пусть маленькие, силы театру.

О театре я мечтаю с самого раннего детства. (Константин Сергеевич! В этом письме совершенно нет лжи. Всё это я рассказываю только Вам, по секрету, только Вам одному!)

Мама была одно время актрисой. Папа поёт и играет на скрипке, мама играет на рояле — одним словом, домашняя обстановка вполне способствовала тому, что уже в детских своих играх я больше всего любила «представлять» (публикой бывала бабушка), затем в школе принимала участие во всех спектаклях: пела, декламировала, исполняла роли в пьесах.

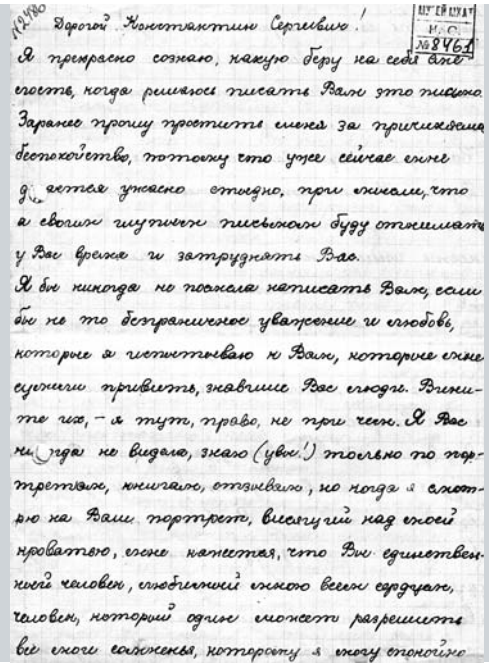
В этом году мне предстоит выбирать профессию. Все мечты мои, конечно, о театре. Все мечты! — это правда. Я пробовала открыть у себя склонности к чему-нибудь иному. Учиться мне легко. Папа мечтал одно время, что я, пойдя по его стопам, посвящу себя изучению математики, в которой отец мой способен чувствовать своеобразную музыку (последнюю также страстно любит). Я испытываю огромное уважение к математике, к другим наукам, я читала научные книги по различным отраслям науки, но способную воодушевить меня «музыку» я не нашла: я не могу полюбить что-нибудь больше театра, больше сцены.

Сейчас семейный совет мирно пришел к решению, что я попробую свои силы на театральном поприще. Сердце замирает, когда я пишу это роковое слово — «попробую». Ведь может оказаться, что я вовсе не пригодна, не нужна для сцены, что мои способности, если правда, что они есть у меня, окажутся вовсе недостаточными, чтобы стать актрисой… Но ведь я не смогу вычислить это иначе, чем испробовав свои силы, чем попробовав поступить учиться играть. Правда?

Многие меня отговаривают, многие стараются испугать неудачами некоторых артистов, говорят: рутина, богема, интриги… Стоило мне, заполняя анкету, написать, что я собираюсь посвятить себя театральной деятельности, как классный руководитель, вызвав меня к себе, прочитала мне целую лекцию, мучительную для меня, о том, что я хочу погубить себя, свою карьеру, свои способности, что мой отличный аттестат даст мне возможность поступить в любой вуз, а я буду им пренебрегать и т.д. Я знаю одно: они жалеют меня, не хотят, чтобы я рисковала…

Но я вовсе не воображаю, что жизнь расстелется передо мной ровной дороженькой и будет меня только гладить по головке; но неужели я должна направить все свои усилия на то, чтобы найти в жизни спокойное, укромное местечко? Рисковать? Но если этот риск самый дорогой для меня на свете…

11



Дорогой Константин Сергеевич!
Я прекрасно сознаю, какую беру на себя смелость, когда решаюсь писать Вам это письмо. Заранее прошу простить меня за причиняемое беспокойство, потому что уже сейчас мне делается ужасно стыдно, при мысли, что я своими глупыми письмами буду отнимать у Вас время и затруднять Вас.
Я бы никогда не посмела написать Вам, если бы не то безграничное уважение и любовь, которые я испытываю к Вам, которые мне сумели привить, знавшие Вас люди. Вспомните их, – я тут, право, не при чем. Я Вас никогда не видела, знаю (увы!) только по портретам, книгам, отзывам, но когда я смотрю на Ваш портрет, висящий над моей кроватью, мне кажется, что Вы единственный человек, любящий мною всем сердцем, человек, который один может разрешить все мои сомнения, которому я могу спокойно

12

11 Константин Сергеевич Станиславский

12 Письмо Киры Ивановой хранится в музее театра

Простите мне, Константин Сергеевич, мою болтливость! Я уже давно утомила Вас, но эти мысли так измучили меня, что сами льются на бумагу. Итак, я хочу поступить в студию (здесь и далее Станиславский подчеркнул красным карандашом. — *В.Б.). Но тут самый главный вопрос. Я прекрасно понимаю, что даже хорошо закончив среднее образование, мои знания и мой кругозор далеко недостаточны, чтобы успокаиваться на достигнутом. Тем более артист, артист должен быть всесторонне развитым человеком. Так, может быть, мне рано ещё идти в студию? Что даст мне студия? Сумею ли я, не заканчивая специального высшего образования и будучи в студии, добиться должного уровня культуры? Может быть, необходимо пойти в вуз? А если необходимо, то какой же вуз может помочь мне воспитать в себе культурную актрису? Сколько я ни пытаюсь найти ответы на эти вопросы, не могу. Приходится обращаться к Вам, беспокоить Вас, дорогой Константин Сергеевич! Ещё один маленький вопрос: а если найдется такой вуз, и я пойду в него, то сложно ли мне будет его совмещать с работой в студии?*

Возможно ли это? Мне страшно хочется скорее учиться играть; только подумать, как много ещё придётся учиться; но пусть всю жизнь учиться, только бы скорее!

Последнее время я стала останавливать свой выбор на студии Н. П. Хмелёва. Но выбор мой отчасти почти интуитивный: я ещё не знаю, какие цели ставит перед собой студия, по какой системе она работает, каких принципов придерживается. Но всё это я собиралась узнать за лето, что и сделаю, в зависимости от Ваших советов.

Ещё и ещё раз прошу извинить меня! Любящая и глубоко уважающая Вас

Кира Иванова

29/V — 37 г.
Москва

P. S.

Мне всегда было совершенно безразлично, какой у меня почерк, а сейчас я проклинаю себя за то, что буду заставлять Вас читать мои безобразные каракули.

В Музее МХАТ не содержится сведений, какого числа Константин Сергеевич Станиславский получил это письмо. Но очевидно, в начале июня. В те дни он занимался с учениками оперного отделения студии — разбирал постановку оперы Пуччини «Чио-Чио-сан», репетировал «Тартюфа», проверял состояние работы над «Гамлетом». Не исключено, что Константин Сергеевич зачитал письмо своим ученикам, как делал это не раз.

ПУШКИН КАК РЕВОЛЮЦИОНЕР

В страшный год репрессий я оканчивала школу. По улицам уже ездили душегубки, но кто обращал на них внимание? С виду это были обычные хлебные фургоны, и лишь много лет спустя мы узнали, что именно в них возили арестованных. В газетах всё активнее сообщалось об изменниках родины, на уроках нам твердили о сложной ситуации в стране. Да что там в стране! Якобы весь мир завидовал победе социализма в СССР. Помню, как учительница поставила на стол портрет Сталина (хотя на стене его видно было ничуть не хуже) и долго читала нотацию,

что идейный враг не дремлет и предателем может оказаться любой человек. Самое интересное, что в это многие верили: все мы с юных лет мечтали скорее вырасти только для того, чтобы стать комсомольцами и бороться «за укрепление страны Советов», завидовали тем, кто уже устроился в молодёжные строительные бригады. Таков был дух времени, и все мы жили в твёрдой уверенности в «светлом будущем».

В 1937 году, в разгар сталинских репрессий, в Москве с размахом праздновался Пушкинский юбилей. И в этом было что-то дьявольское — ведь отмечали не день рожденья поэта, а сто лет со дня его гибели.

Пушкинские комитеты были созданы в союзных республиках и множестве городов СССР. Подготовка к пушкинским дням развернулась в партийных и комсомольских организациях, на заводах, в колхозах, в Красной Армии, в школах и вызвала творческие соревнования писателей и художников, учёных и музыкантов, артистов и педагогов. В числе множества мероприятий в феврале 1937 года прошло заседание и в Ленинграде, где среди выступавших был академик В.Л. Комаров, сказавший с трибуны: «И прав поэт Безыменский, когда он цитату из Пушкина превращает в боевой клич нашего времени:

Да здравствует Ленин!
Да здравствует Сталин!
Да здравствует солнце,
Да скроется тьма!»

Это была, конечно, полнейшая глупость — только ущербным людям могло прийти в голову торжественно отмечать день смерти Пушкина, но я по молодости ещё не понимала этого. Словосочетание «Пушкинский юбилей» стало массово тиражироваться в газетах, писаться на огромных плакатах, звучать из приёмников, как предвестник «светлого будущего»: я тоже с нетерпением ждала, когда вся страна окунётся во всеобщий праздник. А получилось, что он начался значительно раньше: в школах прошли пушкинские вечера, а вскоре страну накрыла волна торжественных митингов, где говорилось, что Пушкин — «крупнейший революционный поэт», поскольку «боролся с царским режимом». Вот так. Ни больше и ни меньше.

Сейчас мне кажется, что делалось это для того, чтобы целый пласт культуры минувших столетий перенести в наши дни, ведь незадолго до этого большевики перечеркнули и уничтожили колоссальное духовное наследие страны. А здесь вроде как был найден

повод, чтобы осовременить Пушкина. Я помню глупейшие статьи, в которых подчёркивалось: Пушкин стал бы революционером, если бы дожил до наших дней. Кроме того, диктовалась стилистика эпохи: мол, поэт о многом не знал, где-то ошибался, но мы-то, советские люди, понимаем, что истинная жизнь начинается сейчас — в эпоху Ленина–Сталина.

Необразованных и неграмотных людей было еще много, и потому вся эта ахинея принималась ими за чистую монету. Даже выпускались специальные стенгазеты и ликбезовские брошюры, в которых описывалась жизнь поэта. И чем ближе к празднику, тем больше в этих газетах было надуманных фактов. Подавались они, разумеется, в таком свете, чтобы у каждого рабочего или крестьянина имя великого поэта ассоциировалось только с революцией.

> В частности, в передовице «Правды» говорилось: «Прошло 100 лет с тех пор, как рукой иноземного аристократического прохвоста, наёмника царизма, был застрелен величайший русский поэт. Пушкин целиком наш, советский, ибо советская власть унаследовала всё, что есть лучшего в нашем народе. В конечном счёте творчество Пушкина слилось с Октябрьской социалистической революцией, как река вливается в океан».

Говорят, был грандиозный митинг, на котором звучало много стихов, и многие выступавшие норовили закончить свой спич словами: «И на обломках самовластья напишут наши имена!» Там, где теперь кинотеатр «Россия», располагался Страстной женский монастырь, и на его колокольне укрепили огромный плакат, на котором был изображен Александр Сергеевич, читающий по бумажке стихи. Мне картина не нравилась: великий поэт был похож на артиста самодеятельности, забывшего текст.

У нас в школе тоже прошёл пушкинский вечер, к которому я очень долго готовилась, ведь предстояло выходить на сцену, а провал мог навредить моим мечтам о театре. Страшно волновалась, но «Барышню-крестьянку», которую мы разыграли в сценках, я исполнила хорошо, а вот арию Лизы из «Пиковой дамы» мне петь не следовало, поскольку накануне я простыла и голосок охрип. Но всё же я вышла к роялю и спела, как смогла. А потом несколько «доброжелателей» подошли ко мне и сказали, что лучше бы я ограничилась только стихами. Я знала, что причина в простуде, но всё равно чувство неуверенности глубоко засело мне в душу.

ЦЕРЕТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЛ ОБ ОПАСНОСТИ

В 1937 году я окончила школу с золотой медалью. Правда, медаль в ту пору не давали (стране трудно), но я считалась медалисткой. 7 июля 1937 года я должна была держать речь от имени отличников на вечере, устроенном в саду «Эрмитаж». Рядом со мной за столиком сидел ответственный редактор «Комсомольской правды» Владимир Михайлович Бубекин и секретарь Краснопресненского райкома Пётр Ильич Пенкин. Они угощали меня вкусным лимонадом, шутили, мы много смеялись. Пенкина я замечала и раньше на комсомольских активах. Он был обаятельный и нравился мне. Я даже чуть-чуть влюбилась в него, мне хотелось с ним общаться. Через третьих лиц я навела справки — узнала, что он женат. Не знаю, как дальше сложились бы наши отношения, но спустя пару недель газеты сообщили, что Бубекин и Пенкин — враги народа. Что это значит? Пётр Ильич — верный сталинист, приверженец коммунизма, остроумный рассказчик и милейший человек. Ну, какой же он враг, когда так замечательно говорил о Сталине?! В октябре Пенкин был расстрелян. Свои ощущения описать не могу. Я не верила, что он враг, но в то же время, как не поверить, когда об этом написано в «Правде»? Это был, повторю, 1937 год. Разве могла у меня, выпускницы советской школы, комсомолки-активистки, закрасться мысль о сталинском терроре и энкавэдэшных чистках? Мы даже о ГУЛАГе ничего не знали, поскольку в кинохронике о Соловках была показана совсем иная жизнь, проникнутая, как тогда говорили, самоотверженным трудом во имя победы социализма.

Помимо Пенкина и Бубекина под арест попали отцы нескольких моих сверстников. Их называли предателями. К 1938 году страна уже захлёбывалась в поисках замаскированных вредителей. Газеты то и дело печатали сводки об очередных врагах народа. «Предателей» обнаруживали повсюду: на рабфаках и в санаториях, на фабриках и заводах, среди шоферов и строителей, музыкантов и писателей, врачей и связистов, спортсменов и, конечно, политических деятелей… Даже в глухих деревнях находились «троцкисты», которые якобы готовили покушение

13 Весенний базар в Верхних торговых рядах. 1936 г.

на Сталина. Их клеймили позором. Устраивали показательные суды. Этих фактов было достаточно, чтобы догадаться: если все предали одного (т.е. Сталина), не значит ли это, что один — предал всех? Но я, дурёха, слилась с общим потоком. Верила, что газеты пишут правду (это позже уже появилась поговорка: в «Правде» нет известий, а в «Известиях» нет правды»). В январе 1937 года начался показательный процесс, на котором перед судом предстали ближайшие соратники Ленина — Бухарин, Рыков и другие. Они посыпали голову пеплом, признавались в антисоветской деятельности и в сотрудничестве с иностранной разведкой. И тут бы мне догадаться, что это чрезмерно странно, когда первые революционеры страны сознаются в предательстве собственного же дела. Это ведь абсурд: с какой бы стати им предавать революцию и государство, за благо которого они проливали кровь? Но я не подумала об этом. Не меньше я верила и решениям нашего школьного комитета комсомола. Типичная картина для 1937 года: ночью у тебя арестовывают кого-либо из родителей. На следующий же день в школе проводится собрание: если хочешь остаться в комсомоле (а жизнь за пределами комсомола трудна и опасна), то должен, во-первых, отречься от папы или мамы, а, во-вторых, покаяться в том, что не разоблачил их шпионскую деятельность раньше, чем это было сделано НКВД. Таким образом всех нас призывали доносить на собственных родителей. А ещё характерная картина тех лет: в школьном коридоре стоят дети и ревут. Сколько раз я это наблюдала! Это означало, что их родителей арестовали, а самих учащихся объявили детьми врагов народа. Это был настоящий бал у Сатаны, но, к счастью, моих ближайших родных репрессии не коснулись. Я ходила по лезвию ножа: никто не был застрахован от ареста, и все на полном серьёзе верили, что страна буквально напичкана шпионами и прочими врагами.

Парадоксальной чертой тех лет было то, что бытовая жизнь страны понемногу стала меняться. На улицах появлялось всё больше прилично одетых людей, подзабывались последствия страшного голода и прочих бед недавнего времени. В кино стали выходить музыкальные комедии, чаще звучала оперетта. В парках и на улицах появились раструбы репродукторов, и над бульварами зазвучали песни Утёсова, Юрьевой, Лемешева, Козина. Мы верили, что Сталин искренне говорит: жить стало лучше, жить стало веселее. Народ как

будто расслабился, воздух был наполнен атмосферой праздника, и потому мне не хотелось слушать папиного приятеля (бывшего белого офицера) по имени Лонгий Лаврентьевич Церетели, который предупреждал родителей об опасности. К тому же, папа просил меня не болтать про реальную историю нашей семьи и, как обычно, добавлял:

— Кира, ну, *в общем*, ты поняла.

Как и в детстве, это означало, что нужно молчать.

«КТО БЫВАЕТ У ВАС ДОМА?»

В 1937 году не было набора ни в студию Хмелёва, ни в студию Рубена Симонова, ни в театральный институт (нынешний Российский университет театрального искусства — ГИТИС). Родители, узнав об этом, настояли, чтобы я шла в «серьёзный вуз», а параллельно, если мне так уж хочется, поступила в самодеятельность. К вузам особой симпатии не питала, чем щекотала нервы родителям. У меня был отличный аттестат, и потому они, конечно, боялись, что я после блестящей учёбы получу лишь среднее образование (к слову скажу, что высшего образования я так и не получила). Со своим отличным аттестатом поступила без экзаменов в Институт философии, литературы и истории на русское отделение. Он год, как открылся в Сокольниках, и успел уже стать престижным заведением, поскольку главную ставку руководящие органы сделали на то, что ИФЛИ должен выпускать хорошо образованных профессионалов, способных достойно представлять СССР на международном уровне, что многих и привлекало. Тогда ещё мало кто догадывался о «железном занавесе», постепенно опускавшемся на нашу страну. Иными словами, если твою семью не коснулись аресты, а тебя не вербовали на Лубянке, то можно было и впрямь поверить, что страна Советов — лучшее государство в мире. Это нам доказывали повсеместно, и многие шли в ИФЛИ с искренним желанием проводить идеи социализма на Западе.

Конкурс был сложный: предстояло сдать всю школьную программу. Причём такое множество экзаменов никого не пугало: в год, когда я поступала, конкурс составлял десять человек на

место, на следующий год он возрос уже до шестнадцати. Меня Бог миловал, поскольку с отличным аттестатом принимали по собеседованию. Я как-то чрезвычайно легко оказалась студенткой. Единственное, что меня интересовало, почему собеседование проводит не профессор, а весьма неприметный молодой человек. Вторым удивлением стали вопросы. Я-то думала, он будет проверять мои знания, но его интересовало другое: «Почему вы поступаете в ИФЛИ?»; «Откуда вы знаете иностранные языки?»; «С кем общаетесь?»; «О чём говорите с друзьями?»; «Кто бывает у вас дома?» Ничего не подозревая, я отвечала искренне, говорила всё подряд. Сказала даже, что хочу стать актрисой, но молодого человека это мало заинтересовало. Явный интерес у него возник, когда я вдруг ляпнула, что языки знаю с детства, поскольку в доме говорили по-французски.

— Так, так, — оживился он. — А кто у вас говорил по-французски?

И вдруг в голове словно молния:

— Кира, молчи!

Я, видимо, покраснела, но с наигранной уверенностью стала лепетать что-то про рабоче-крестьянское происхождение, придумала, что языки знал папа, поскольку с гражданской войны работает учителем в школе и знает их только в рамках школьной программы. Молодой человек напирал, но я чувствовала, *что именно* его интересует, и тщательно увиливала. Беседа не имела никаких страшных последствий, но год спустя от подруг я узнала, что экзаменатор действительно был ставленником НКВД — работником по идеологии, за которым была закреплена должность в ИФЛИ.

В то время у нас очень популярны были диспуты на самые широкие темы — обсуждались нравственные, политические, литературные, общественные коллизии. К 1938 году добровольные диспуты переросли уже в обыденное явление. На плакатах всё чаще писалось: «Явка обязательна». Темы обсуждений становились более строгими. И сколько позора было на этих, якобы добровольных, собраниях! Выступали профессора, выступали студенты — посыпали голову пеплом, каялись перед партией в том, что не разоблачили вовремя того или иного внутреннего врага, не раскрыли шпионаж, не заметили антисоветский уклон в лекциях своего коллеги. Заканчивались эти «добровольные» собрания

жуткими сценами. Весь зал должен был единогласно проголосовать против той «гадости», которая обсуждалась на встрече. И вот все как один поднимали руку, например, за исключение какого-нибудь профессора из партии, поскольку в лекциях о барокко он воодушевлённо рассказывал о ранней европейской культуре. А ещё, бывало, поднимались на трибуну студентки и принародно каялись в том, что слушали его. Потом некоторые из них стали известными театральными критикессами — ну да Бог им судья. Мне каким-то чудом удалось избежать участия в этом позоре, поскольку к тому времени уже служила во МХАТе, а о собраниях в ИФЛИ знаю, преимущественно, со слов своих подруг.

Однажды возвращаясь из института домой, мы с подружками обратили внимание на молодого человека. Он шёл впереди, и вдруг у него из заднего кармана выпал большой металлический ключ. Парень пропажи не заметил и шёл дальше. Я подняла ключ и побежала за ним. Он поблагодарил, но через несколько шагов ключ выпал снова. Я снова его догнала. В общем, этот ключ падал у него из кармана раз пять. В ИФЛИ я, конечно, рассказала сокурсникам эту историю. А на следующий день во время лекции Геннадий Николаевич Поспелов обратился к аудитории:

— Я вчера проходил по коридору и слышал, как одна наша студентка рассказывала про потерянный ключ. И повторяла: «Мы так ржали, так ржали». Запомните, что ржут только лошади, а воспитанные люди — смеются.

Однокурсники Киры Ивановой в ИФЛИ — поэты Великой Отечественной

14 Павел Коган 15 Борис Слуцкий

16 Николай Майоров 17 Давид Самойлов

Господи, как мне было стыдно — я покрылась багровыми пятнами от смущения.

Кира Головко в ИФЛИ подружилась с Верой Плотниковой (в замужестве — Робинсон), будущим доктором наук, профессором филологии. Этому знакомству предшествовал общий выпускной вечер.

«Наши школы были в одном районе, — вспоминает Робинсон. — В июне всех отличников собрал нарком просвещения Бубнов, и была Надежда Константиновна Крупская. Она сидела за столом. Это была пожилая женщина. С болезненным лицом желтоватого цвета и выпученными глазами. Бубнов обратился к нам с речью, и потом нам выдали подарки. Каждый получил трёхтомник статей Ленина, Сталина и двухтомный роман «Консуэлло». Сразу же мы разошлись. Но я обратила внимание на Киру: на её манеру себя держать. Через несколько дней я увидела её в саду «Эрмитаж» на вечере медалистов, где она читала стихотворение. Несмотря на явную красоту (высокий рост; овал лица, похожий на итальянских мадонн), Кира одевалась достаточно скромно. У неё была простая причёска: на пробор волосы и две косички вокруг головы. На сцену она вышла в сереньком платьице, схваченном поясом на талии. И широкий воротник лежал на плечах.

А потом произошла встреча в коридоре ИФЛИ. Абитуриенты сдавали 16 предметов. Факультет имел несколько отделений: русское, западное и античное, куда принимали всего пять человек. Самым большим было наше русское отделение (120 человек). Кира училась на русском, но мы были разделены по группам — в зависимости от того, какой язык избирался — немецкий, французский или английский. Кира оказалась в группе французского языка (и была сильнее всех, поскольку знала французский язык ещё с детства), а я была в группе немецкого.

В ту пору нас с Кирой сблизила общая дорога. Автобус из Серебряного бора, где я жила, довозил только до Пресни, а от Пресни шёл трамвай 4-й номер. И постепенно он заполнялся нашими студентами. Мы несколько раз встретились в этом трамвае, поэтому договорились, что будем каждый раз садиться во второй вагон. И вот всю эту дорогу (она тянулась 40 минут) общались.

Осенью Кира держала экзамены во вспомогательный состав МХАТа, но сказала мне об этом много позже, когда я поинтересовалась, почему она редко посещает занятия. С апреля 1938 года она больше не ходила в ИФЛИ, потому что в сентябре должна была стать актрисой МХАТа».

Помимо Веры Робинсон сокурсниками Киры Головко были поэты Павел Коган, Николай Майоров, Михаил Кульчицкий, Семён Гудзенко, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Юрий Левитанский и другие.

ГЛАВА 3

ТЕБЯ ПРИНЯЛИ!

БАСНЯ «ЛИСА И ГРЕНАДА»

Осенью того же года я из окна трамвая увидела объявление о наборе во МХАТ — во вспомогательный состав. Выскочила на остановке и перечитала пять раз, потому что от волнения не могла ничего понять. Говорилось, что в Художественном театре пройдёт смотр молодых артистов. Позже выяснилось, что объявления были расклеены по всему городу, и МХАТу требовалось всего четыре человека (одна женщина и трое мужчин), чтобы дать им роли в массовке.

Для того чтобы набрать этих четырёх человек, в просмотре участвовало всё руководство театра, кроме Станиславского, который болел и не выходил из дому. Объявления вызвали невероятный ажиотаж — 637 человек на место.

Вся улица перед МХАТом была наполнена людьми. Запомнились очень красивые женщины, среди них было много актрис, которых я знала по ролям в кино (например, рядом со мной стояла артистка Антонина Максимова, только что сыгравшая в фильме «Зори Парижа»). Я смотрела на них, как заворожённая и понимала, что на их фоне я просто серая мышь. Кстати, среди первых красавиц была и внучатая племянница Станиславского Лёля Алексеева. Рассказывали, что время от времени Константин Сергеевич звонил в приёмную комиссию — интересовался, как её дела. Но дела были неважны. Брать девушку не хотели, хотя в то же время боялись обидеть Станиславского.

Наконец этот круг разорвал Иван Михайлович Москвин. Когда Станиславский в очередной раз позвонил в театр, Москвин ему сказал:

— Мы закрепили за труппой Киру Николаевну Иванову.

Конечно, я не была свидетельницей того телефонного разговора, но много позже эту историю рассказал мне артист Иван Кудрявцев.

Батюшки, как я волновалась при поступлении! Решила читать монолог Катерины из «Грозы», басню Крылова «Лиса и виноград» и стихотворение Светлова «Гренада». Накануне экзамена подошла к Массальскому и поинтересовалась, правильно ли подобрала репертуар. Павел Владимирович выкатил глаза:

— Вашего Светлова никто не знает. Вместо «Гренады» читать нужно классику.

Но что-то менять было уже поздно. И перед входом в аудиторию у меня задрожали коленки:

— Я прочту монолог Катерины, басню Крылова «Лиса» и… «Гренаду».

Наступила мёртвая тишина. И легендарный мхатовский педагог Василий Григорьевич Сахновский, обращаясь к Топоркову, сказал:

— Васька, ты знаешь такую басню Крылова «Лиса и Гренада»?

Приёмная комиссия рассмеялась, и мне стало не так страшно. Успела прочитать только половину, и услышала:

— Достаточно. Вы свободны.

Что значит «свободны»? Вовсе я не свободна без своего МХАТа! Но улыбнулась и постаралась без лишних движений, степенно пройти к двери. Так же степенно я прошла мимо огромной очереди претендентов, спустилась в переулок, дошла до Тверской и тут мне сделалось плохо. Всё кончено: они даже басню не послушали. Не помню, как вернулась домой. Ревела сутки напролёт, ничего не ела…

Мама, которая в ту пору из-за болезни сердца уже не работала, не могла спокойно смотреть на мои страдания. На третий день она попросила у знакомой модные шляпку, перчатки и поехала в театр — узнать, будет ли набор в следующем году. А когда вернулась, швырнула шляпку в угол и сказала:

— Дура ты, дура, чего ревёшь? Тебя приняли!

Оказывается, мама встретила Массальского — подошла к нему поинтересоваться, есть ли смысл пытаться поступать в театральный институт, а он у неё спросил:

— Как зовут вашу дочь?

— Кира Иванова…

— Так мы ведь приняли вашу Киру. Кстати, куда она пропала?

Вскоре я получила письмо от заведующего молодёжной секцией МХАТа Василия Александровича Орлова. Он писал, что на работу во МХАТ я должна прийти 8 сентября 1938 года. До назначенного срока оставалось около десяти месяцев. И я решила закончить первый курс ИФЛИ, а параллельно стала ещё чаще ходить на спектакли во МХАТ, читать театральную прессу, покупать книги — присматриваться к будущей жизни.

ОСИРОТЕВШИЙ ТЕАТР

7 августа 1938 года (ровно за месяц до начала моей работы в театре) Москву облетела трагическая весть: великий реформатор сцены скончался.

Я шла к его дому в Леонтьевский переулок, утирая слёзы. Это были слёзы отчаяния. Конечно, мне жалко было и Константина Сергеевича, и осиротевший театр, однако невольно жалела я и свою мечту, ведь никогда уже не побываю на репетициях у Станиславского.

Буквально за час двор наполнился людьми. Конечно, это были почитатели таланта, поскольку друзья и ученики прямиком поднимались в квартиру. Возможно, и меня пустили бы (я могла попросить об этом тех, кто принимал меня в труппу), но считала, что не имею права подходить даже к двери. Стояла молча, как все. Помню романтичного юношу, который пришёл к дому с книгой Станиславского. Видимо, это была единственная его связь с великим режиссёром, и этой связью он дорожил, поскольку книга была напичкана закладками.

Толпа периодически пополнялась слухами. Часа через два я узнала, что Книппер-Чехова пытается уехать из Ялты в надежде успеть на похороны. А ещё через час кто-то сказал, что утром получена телеграмма от Немировича-Данченко, который досрочно

18

19

20

18 Павел Массальский

19 Иван Москвин

20 Дом К.С. Станиславского в Леонтьевском переулке

прерывает лечение и выезжает в Москву. Ещё светило солнце, день был в разгаре, но мне казалось, что улица и здания окрасились в какой-то новый оттенок. Это ощущение трудно описать: светло, но день какой-то странный — как будто тебе сообщили, что это последний день и ты навсегда прощаешься с солнцем. В квартиру Константина Сергеевича я так и не поднялась. Впервые порог этого дома я переступила лишь десять лет спустя — в 1948-м году, когда там сделали музей, и Кира Константиновна (Алексеева-Фальк, дочь Станиславского. — *В.Б.*) стала приглашать всех, кто имел отношение к довоенному МХАТу. На тех музейных вечерах мне тоже давали слово. И я старалась рассказать о той удивительной атмосфере, которая ещё царила в театре тридцатых годов. А кое-что я знала о Станиславском и от старших товарищей.

Например, была у него такая привычка: перед спектаклем, чтобы сосредоточиться, он сидел, зажав руками уши. К нему подходил Николай Александров (он был помощником режиссёра), опускал руки и сопровождал на сцену. И вот однажды Константин Сергеевич играл Шуйского в «Царе Фёдоре». Александров подошёл, успел опустить лишь одну руку и вдруг его срочно куда-то позвали… Станиславский остался один. На сцене его ждал Качалов (царь Фёдор), который сидел в кресле, боком к зрительному залу. И тут

появился Станиславский: в одной руке посох, другая — зажимает ухо. Качалов был ужасно смешлив и в голос захохотал. Суфлёр высунулся из будки по пояс и прошипел:

— Выньте руку из уха!

Не знаю, насколько правдива эта история, но говорили, что К. С. в жизни порою был как дитя и только сцена меняла его до неузнаваемости. Например, звоня вождю, он мог сказать:

— Товарищ Сталин! Простите, я никак не могу запомнить ваше отчество…

Другой бедой для него стали советские слова и вся система взаимоотношений театра и госорганов. Подавая гостям фрукты из «закрытого распределителя», говорил, что они из «секретного закрепителя», а на вопрос Сталина, почему в репертуаре давно нет «Дней Турбиных», наивно отвечал:

— Так ведь репертком запретил…

— Рэ-пэрт-ком? — переспрашивал Сталин. — Кто это такой?

Сталин, ясное дело, прикидывался, будто не от него зависит репертуар Художественного театра.

Вся мхатовская гвардия тех лет буквально жила легендами. Некоторые артисты умышленно распускали о себе слухи — ведь когда о тебе говорят (не важно, хорошо или плохо), означает, что ты имеешь успех. Во МХАТе служил артист Владимир Фёдорович Грибунин, который страшно выпивал, а Станиславский пьяных терпеть не мог. Чтобы не попасться К. С. на глаза, Грибунин однажды решил пойти через двор театра, где было всего лишь одно «препятствие» — окна гримуборной Станиславского. И вот Грибунин, дойдя до окон, встал на четвереньки и пополз, чтобы его никто не заметил. Но он забыл, что у Станиславского есть привычка выходить на крыльцо подышать. И вот он ползёт на карачках, а с крыльца за ним наблюдает Станиславский, который в ту минуту решил, что артист тяжело болен…

«Я репетировал — оправдывался Грибунин — входил в образ…»

В общем, на встречах в музее я рассказывала всё, что слышала когда-либо о Станиславском, но видела его только лишь на похоронах, когда пошла на гражданскую панихиду. Гроб с телом доставили в театр. На главном входе Фёдор Николаевич Михальский сортировал пришедших по ярусам и рядам. На сцене у гроба сидели родственники и корифеи театра. Конечно, многие плакали. Между

собой многие шептались, что наступил конец великой театральной эпохи, но официально, перед публикой, никто ничего подобного, конечно, не произносил. В те годы уже руководствовались лозунгом: «незаменимых у нас нет», провозглашённым Сталиным.

Массальский вышел к микрофону и сказал:

— Не надо грустить.

Он пытался вспомнить что-то радостное из жизни Константина Сергеевича, но не сдержался и достал платок.

После мучительно долгой панихиды гроб вынесли под звуки оркестра. У подъезда ждала грузовая машина, на которую положили венки, поставили гроб, а вся публика просто выстроилась длинным хвостом и пошла за машиной следом (так же будут хоронить и Немировича-Данченко, и Москвина, и Качалова). Первыми за гробом шли сёстры Константина Сергеевича, его брат Владимир Сергеевич, племянники, родные и двоюродные, за ними — Москвин, Тарханов, Качалов, Хмелёв, Андровская, Тарасова, Степанова… Похоронная процессия растянулась, наверное, на километр. Во избежание давки по обе стороны от грузовика плотными рядами двигались милиционеры в белых мундирах. Фактически они образовывали строгую шеренгу. Мхатовцы и родственники находились внутри этой шеренги, а зрители и просто любопытствующие не могли таким образом подойти ближе к знаменитостям.

Шли до Новодевичьего кладбища. И на всём протяжении пути по тротуарам стояли люди. Кажется, Немирович-Данченко прибыл только на кладбище. Он первым обратился к публике, но его слышали немногие — протиснуться к гробу было почти невозможно, а чтобы не началась давка, милиционеры и дружинники ограждали проход. Я ничего не услышала, тихонько постояла, утёрла слезы и пошла домой.

…В 1963 году к 100-летию со дня рождения Константина Сергеевича на кладбище решено было установить мраморную плиту с позолоченной надписью. Многих тогда удивило, что плиту предполагается положить плашмя. Но в этом был сакральный смысл: каждый, кто подходил к могиле, должен был неизбежно склонить голову перед великим реформатором театра, чтобы прочитать надпись. На панихиде рядом со мной стояла Анастасия Платоновна Зуева и комментировала:

21 Через три года после смерти Станиславского Кира Иванова сыграла Молоко в его «Синей птице»

— Неудачно как придумали. Ведь не увидит никто. На попа́ надо поставить…

Плиту, как и предполагалось, положили плашмя. Но вскоре зарядили дожди, и в две недели оказалась смыта вся позолота. В 1995 году памятник поменяли…

Как летит время! Теперь я уже одна из очень немногих, кто может рассказать про август 1938 года…

А НАВСТРЕЧУ МНЕ ШЁЛ КАЧАЛОВ…

После того, как я поступила во МХАТ, оставалось подождать несколько месяцев…

И вот накануне долгожданного дня я никак не могла уснуть: мысль о том, что утром я войду в Художественный театр через служебный вход, не давала покоя. Мне представлялось, как подхожу я к театру, меня догоняет Качалов и элегантно открывает дверь, пропуская вперёд. А там внутри ходят великие мхатовцы, все озираются, шепчутся:

— Кто эта девушка?

Им говорят:

— Ну, как же — это ведь Кира Иванова.

К трём часам ночи радужная картина сменилась страшными опасениями. Вот подхожу я к театру, а мне грозный охранник говорит, что пускать не велено, ибо уже нашли другую девушку.

Когда я приехала в театр, то не подтвердилась ни одна из моих версий, потому что на проходной охранник, не глядя в бумаги, сказал мне:

— Проходите.

Так я оказалась в лабиринте театральных коридоров. В поисках кабинета Орлова поднялась на второй этаж. Мы немного поговорили. Он сообщил, что через два дня мне нужно быть на репетиции «Горя от ума», постепенно начнутся и занятия, а Вацлав Викентьевич Протасевич (администратор художественной части) проведёт для меня экскурсию по театру. Через десять минут я была уже свободна, но решила побродить по дневному МХАТу. И вдруг — чудо! — поднимаюсь на третий этаж в репертуарную часть, а мне навстречу

по узенькой лесенке спускается Василий Иванович Качалов. Меня охватила оторопь, я деликатно поздоровалась… Качалов остановился, оглядел меня и с восторженно-удивлённой интонацией произнёс:

— Кира Николаевна И-ва̀-но-ва!

Мою фамилию он растянул по слогам, как бы подчёркивая своё восхищение. Я покраснела от неожиданности и чуть не вскрикнула:

— Я думала о вас полночи!

22 Такой Киру Иванову впервые увидел Качалов

23 Василий Качалов. 1940 г.
Фото Н. Свищова-Паолы

Но сдержалась. Сказала что-то нейтральное: мол, буду работать в театре.

И мы разошлись. Но откуда Качалов знает меня? Этот вопрос не давал мне покоя. На вступительных испытаниях Василия Ивановича, кажется, не было, а если от волнения я не заметила его, то всё равно не мог он так долго помнить мои имя, отчество и фамилию. Лишь спустя несколько лет мне кто-то рассказал, что Качалов специально узнавал в дирекции имена новых артистов, чтобы приветствовать таким вот образом — как старых знакомых.

О встрече с Качаловым я первым делом рассказала дома. Родители послушали, но восторга не выразили — волновались, как сложится моя актёрская судьба. Вскоре оказалось, что их опасения не напрасны: на меня опять никто не обращал внимания. Определили почти во все народные сцены, на том дело и кончилось.

ГЛАВА 4

ЗА СЦЕНОЙ И НА СЦЕНЕ

В РОЛИ ШУМА И ПОЖАРА

Народных сцен было много. И буквально с первых дней меня стали к ним готовить. Во «Врагах» я за кулисами молилась за упокой души. В «Трёх сёстрах» щебетала птичкой в одном акте, в другом устраивала шум в печке и выходила в сцене с ряжеными, а в третьем — имитировала шум пожара. Вешался специальный диск, обмотанный мягкой тряпкой, и нужно было в определённый момент спектакля его вращать — казалось, что к горящему дому подъезжает пожарная дружина. Тяжело давалась сцена с ряжеными, мы очень тщательно её репетировали. Немирович-Данченко говорил:

— Надо не выпячивать себя на фоне толпы, а искать праздник друг в друге. Подумайте, что вы ждёте от Рождества, и старайтесь проживать эти чувства в данный момент на сцене.

Наконец, в четвёртом акте я залезала на колосники, чтобы над сценой имитировать шум пролетающей стаи. Это было в тот момент, когда Маша говорила:

— Летят перелётные птицы… Лебеди, или гуси… Милые мои, счастливые мои…

В руках я держала два фарфоровых блюдечка, которые нужно было ухватить и двигать особым образом — при этом получался звук, похожий на шум крыльев. Этим приёмам учил нас Владимир Александрович Попов — не только замечательный актёр, педагог, но и специалист в области звукового оформления спектаклей.

В «Воскресении» я никаких звуков не издавала, а только участвовала в массовых сценах. Спектакль шёл в очаровательных декорациях Владимира Дмитриева. Мне кто-то рассказывал, что когда были репетиции, Дмитриев в сельской сцене повесил валенок на плетень.

— Отлично! — восхитился Немирович-Данченко.

Валенок передавал колорит местечковости. Тогда художник решил повесить ещё один валенок, но Немировичу это не понравилось, потому что один валенок — образ, а два — это уже обувь. В том же спектакле роль «От автора» бесподобно играл Василий Иванович Качалов. Мне и сейчас кажется, что это была самая сложная роль, спектакля. Он комментировал действие, обсуждал со зрителями поступки героев, как бы со стороны наблюдал за персонажами… Орлов рассказывал мне, что у Качалова долго не складывалась роль и, наконец, Немирович-Данченко попросил, чтобы тот взял в руки карандаш. Так была найдена отправная точка образа.

Вспоминается и такой эпизод: в «Грозе» я была занята в народной сцене. Помрежем спектакля был Сергей Петрович Успенский, который сильно картавил. Однажды он подошёл к Борису Добронравову, игравшему роль Тихона, и со всеми особенностями собственной дикции произнёс:

— Бор-рис Геор-ргиевич, там до вашей р-реплички тр-ри р-реплички осталось.

Добронравов кивнул, но был увлечён каким-то рассказом и не следил за спектаклем. Помреж появился снова:

— Там до вашей р-реплички одна р-репличка осталась.

А тот по-прежнему не реагировал. Наконец, пошёл на сцену, но помреж преградил дорогу:

— Бор-рис Геор-ргиевич, за вас вашу р-репличку уже Мор-рдвинов сказал…

В «Любови Яровой» я тоже была занята в народной сцене. Играла фабричную девчонку, и Добронравов, идя к кулисе, должен был через меня перешагнуть. Я, конечно, пялилась на него, а он перешагивал и говорил:

— Эта девка в меня влюблена, — и раскатисто смеялся.

Ну, а как не влюбиться: у него такие удивительные глаза были, я просто таяла. Жаль, что он рано умер. Произошло это 27 октября 1949 года — после шестой картины «Царя Фёдора»…

Актёр Владлен Давыдов в деталях описал, как это было: «Я второй сезон работал в театре и стоял в массовке охранником. Борис Георгиевич отыграл шестую картину, ту, где он гневался. “Пусть посадят в тюрьму!” — кричал и бил рукой по столу. Отыграл, ушёл со сцены. Он должен был переодеться в гримуборной, чтобы выйти на восьмую, финальную — “Архангельский собор”. Уходил всегда со свечой в руках. В тот день свеча плохо “горела”, то есть контакт от лампочки отходил. Он ворчал и на ходу бросил помрежу: “Больше я при таких свечах играть не буду!” Эту ничего не значащую фразу через несколько минут будут толковать в театре как роковую или провидческую. Затем Добронравов подошёл к двери, ведущей в уборные, толкнул её и… рухнул. До приезда “скорой” Бориса Георгиевича положили в аванложу на тот самый диван, где умирал Хмелёв. Там он и скончался».

Еще одно яркое впечатление — красота мхатовских актрис разных поколений: Клавдия Еланская, Алла Тарасова, Ангелина Степанова, Ольга Андровская, Софья Пилявская — этот ряд можно продолжать бесконечно... Все эти женщины отличались необыкновенной привлекательностью. При этом наряды их не были ни пышными, ни богатыми. Но строгая, точно выверенная элегантность только подчеркивала их вкус и умение держаться. На их фоне я была одета неважно, но чувствовала себя уютно — мне казалось, что так на меня меньше обратят внимание, поскольку я всячески пыталась скрыть собственную зажатость. Во всём МХАТе только Любовь Варзер, которая играла светских дам, в том числе Бетси в «Анне Карениной», выделялась особыми нарядами: она одевалась у дорогого портного, и у неё были замечательные, порой вычурные костюмы.

Много лет я сидела в большой гримёрке. Моими соседками были Женя Петрова, Тамара Михеева и острая на язык Галина Шостко, которая всю жизнь играла в эпизодах и народных сценах. Не могу, например, забыть её старуху с ребёнком в «Кремлёвских курантах». Шостко я побаивалась — очень уж прямолинейный был у неё характер.

…Только много позже, в шестидесятых, у меня установились с ней хорошие отношения. Когда у меня подросли дети, и я во МХАТе раздавала их вещи, она всем говорила:

— Только Кирка может такими подарками швыряться…

Но вернёмся к началу моей службы во МХАТе. Школы-студии ещё не существовало, она появилась только в 1943 году, однако

обучением и воспитанием артистов корифеи труппы занимались постоянно. Мне кажется, эта традиция существовала во МХАТе со дня основания. В перерывах между репетициями у нас, молодых артистов, были занятия. Иванов преподавал сценическое движение, Шаломытова — танец, Саричева — речь, Киппервар ставила голос.

По понедельникам, когда в театрах выходной день, во МХАТе устраивались концерты и творческие встречи. В зале собирались вся труппа и друзья театра, чтобы послушать Ойстраха, Гольденвейзера, Рихтера, Оборина. Во время таких закрытых концертов бывали и лекции, на которых Сахновский рассуждал об истории русской литературы, Лилина — о творческом методе Станиславского, Качалов — о природе актёрского мастерства.

«КОГДА ВЫ СТАНЕТЕ БОЛЬШОЙ АКТРИСОЙ…»

О первой встрече с Немировичем-Данченко рассказано в самом начале этих мемуаров. Но всё же хочу описать эту историю во всех подробностях. Итак, весной 1939 года мне поручили создавать в «Трёх сёстрах» закулисные шумы. А когда состоялась премьера и спектакль прочно вошёл в репертуар, за кулисами однажды появился Немирович-Данченко: заканчивался антракт, и он со своей бессменной секретаршей Ольгой Сергеевной Бокшанской спешил в зал. Вдруг Владимир Иванович остановился напротив меня и спросил:

— Вы кто?

Я растерялась и сказала:

— Я по… пожар, Владимир Иванович.

Бокшанская вмешалась в разговор:

— Это Кира — Кира Иванова, молодая артистка. Идёмте, Владимир Иванович, иначе я не успею усадить вас, как следует.

Немирович-Данченко засмеялся, погладил бороду и сказал:

— Как занятно. Когда вы станете большой актрисой, обязательно напишите в мемуарах о нашей встрече и главное, что вы в моём спектакле «Три сестры» играли Пожар.

Бокшанская не унималась:

— Ну, идёмте же скорее, Владимир Иванович.

И они ушли… Это было единственное моё личное общение с великим стариком. Хотя я несколько раз бывала на собраниях труппы, когда выступал Немирович-Данченко. В частности, в январе 1939 года он встречался с молодёжью, отвечал на вопросы. Я помню, что эти беседы были очень интересными. Вроде бы шла речь о сложных вещах, но всё воспринималось легко. Возвращалась домой и перечитывала классику, о которой так глубоко и свободно рассуждал Немирович-Данченко. Прошло 70 лет, и сегодня я, разумеется, не вспомню, что именно говорил Владимир Иванович. Лентяйка, надо было записи делать! Но помню, для меня стали открытием его рассуждения о свободном отношении к пьесе и роли. Долгое время я ими руководствовалась.

Когда шли репетиции, прямых указаний Владимир Иванович мне, конечно, не давал, а лишь говорил своему ассистенту Иосифу Моисеевичу Раевскому:

— Здесь хорошо бы дать звук летящих журавлей.

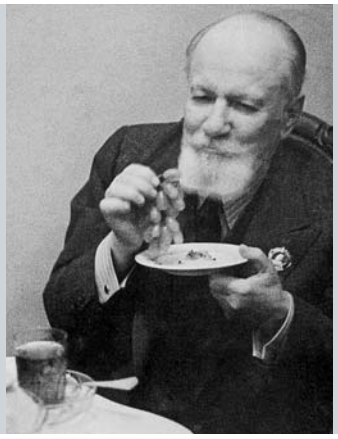
И дальше Раевский обращался к Попову, а тот занимался со мной. В сценах, где звуки не требовались, я тихонько спускалась в зал и смотрела, как Владимир Иванович работает над спектаклем. Каждый раз я боялась, что он спросит, почему в зале посторонние.

Поэтому, едва объявляли перерыв, я выбегала в туалет и запиралась там до начала репетиции. Потом я ужасно жалела, что застенчивость и робость не позволили мне садиться ближе к режиссёрскому столику, поскольку свои замечания Владимир Иванович делал тихо, и я с трудом могла их расслышать. Но тем не менее, на моих глазах рождалась, например, роль Тузенбаха у Хмелёва, когда репетиции спектакля шли уже в декорациях. Николай Павлович работал с мучительным напряжением. Был недоволен собой, часто прекращал играть, подходил к рампе и долго слушал, присев на корточки, то, что терпеливо и подробно говорил ему Немирович-Данченко. Например, трудно выстраивалась сцена четвёртого акта перед уходом Тузенбаха на дуэль. Хотя мне, наблюдавшей за этим из зрительного зала и с колосников, казалось, что всё уже сделано, что Хмелёв напрасно мучает Ангелину Степанову (Ирину) и Немировича-Данченко. Но теперь я понимаю, что Хмелёв просто выверял свой актёрский

путь к «чуду». Никогда не забуду, как уходил Тузенбах по берёзовой аллее и, главное, его медленный поворот головы и негромкий трагический зов:

— Ирина!

Это и было чудо…



24 Здание МХАТа в Камергерском переулке. Начало XX века

25 Владимир Иванович Немирович-Данченко *Фото 1941 г.*

Вскоре я стала свидетельницей одной забавной истории. На генеральную репетицию Владимир Иванович пришёл с больным зубом, поднялась температура, но прекращать работу он не стал. Наш знаменитый доктор Алексей Люцианович Иверов (с 1923 по 1967 год — заведующий медицинской частью МХАТа. — *В.Б.*) принёс ему лекарственный раствор и ватную палочку, чтобы Немирович-Данченко макал ватку в раствор и прикладывал к зубу. Так он и делал на протяжении действия, а когда зажёгся свет, оказалось, что вместо баночки с лекарством он макал ватку в стоявшую рядом чернильницу. Борода стала лиловой. Владимир Иванович расхохотался, прибежал парикмахер и во время перерыва пытался чернила смыть, но поскольку следы ещё оставались, часть бороды пришлось выстричь.

В 1940 году на гастроли в Москву приехал Ленинградский театр комедии под руководством Николая Акимова. Особенно известны были тогда имена Елены Юнгер, Лидии Сухаревской, Ирины Гошевой. Когда Немирович-Данченко увидел Гошеву, он сразу стал

переманивать её во МХАТ. Не знаю, трудно ли это было, но совсем скоро Ирина Гошева стала мхатовской актрисой и работала с нами три десятка лет. В молодости она была очень хороша собой, эффектна, с лёгким говорком. Она скрадывала гласные, и получалось прелестно, например:

— Он сказал “спсибо” вам за это.

Немирович-Данченко сразу же ввёл её в «Три сестры», забрав роль у Степановой.

Нина Николаевна Литовцева настаивала на том, что произношение Гошевой нужно исправлять, но Немирович-Данченко каждый раз её одёргивал:

— Оставьте актрису в покое, как говорит, пусть так и говорит.

Я была свидетельницей и ещё одной истории, в которой фигурирует Немирович-Данченко. Произошло это за несколько месяцев до его смерти. Шли репетиции пьесы Булгакова «Последние дни», посвящённой Пушкину. Роль Натали играла Ангелина Степанова, а Немирович-Данченко репетировал момент, когда Натали сообщают, что Пушкин ранен. Репетиции проходили в фойе, там же стояла старинная мебель. Владимир Иванович хотел, чтобы Степанова очень реалистично теряла сознание. Она должна была как бы сползать, а потом — раз! — и тело лежит на полу.

Степанова падает — не годится. Падает снова — Немирович-Данченко недоволен.

— Стоп! Я плохо показал вам, давайте покажу ещё раз, — говорит он, поднимаясь с места.

И показывает! Я даже не могу передать, как это было бесподобно точно и по-женски! Какой он великолепный был актёр! Хотя казалось, что внешних данных у него нет: небольшого роста, почти квадратный, с неправильной дикцией. Но как талантливо играл! Всем показалось, что у Владимира Ивановича в этот момент действительно немеют руки и мутнеет взор — просто мёртвыми стали глаза. Ангелина Иосифовна старалась повторить падение, но получалось все же не так убедительно.

— Ладно, — сказал Немирович-Данченко. — Отработаем потом.

Репетиция закончилась, я была под впечатлением увиденного и решила: когда все разойдутся — пойду тоже попробую повторить это падение. Прошло четверть часа, возвращаюсь к репетиционному помосту и вижу: развалившись на скамеечке

сидит Немирович-Данченко в пальто и шапке, тяжело дышит, а Бокшанская натягивает ему сапоги. У неё был паралич век, и, чтобы видеть ногу, она придерживает веко свободной рукой. Владимир Иванович постанывает от усталости, и невозможно поверить, что сорок минут назад он порхал по сцене. В ту пору ему было больше восьмидесяти лет.

«ПРЕКРАТИТЕ БЕЗОБРАЗИЕ, НЕ ТО Я ВАС МАТОМ ПОКРОЮ!»

Поначалу я не очень комфортно чувствовала себя в лучшем театре страны. Замечала и косые взгляды, слышала про себя сплетни, а однажды девки зло подшутили надо мной, поссорив с Хмелёвым, о чём расскажу отдельно. И всё же обиды быстро забывались, поскольку было море других впечатлений.

Например, с удивлением узнала, что во МХАТе есть суфлёр и что он выручает артистов, которые порой забывают слова. Суфлёра звали Алексей Касаткин. До революции он работал в провинции, видел многих самобытных актёров и многому научился у них. Он всегда точно знал: держит артист паузу или забыл текст. Мог подать всего одно слово, но так, что вспоминался весь текст. В общем, он чувствовал состояние другого человека. И, кстати, Хмелёв, работая над ролью Ивана Грозного, просил именно Касаткина, чтобы тот читал ему список изменников, а сам тем временем пытался определить состояние своего героя — как поджимаются у него сухие губы и как смотрят уставшие от бессонницы глаза.

Однажды Алексей Иванович появился в театре с перемотанной щекой, у него был флюс. При этом он стал шепелявить. Поначалу артисты не обращали на это внимание, но во время спектакля, как известно, любая мелочь воспринимается особо остро, и то, что в закулисной жизни не вызовет никакого интереса, — на сцене может показаться жутко смешным. Так произошло и с беднягой Касаткиным. Он занял своё место в суфлёрской будке, начал подавать реплики (лицо у него было сосредоточено — МХАТ играет драму), но вдруг кто-то из артистов так же шепеляво произнёс свои фразы… Ну что вам сказать? Конечно,

спектакль пошёл в другом темпоритме: серьёзная драма о гражданской войне вдруг обрела ироническую окраску. Вот-вот и собьются на стилистику капустника. Тогда Алексей Иванович зашипел из своей будки:

— Прекратите безобразие, не то я вас матом покрою.

А они не могли сдержать смех, потому что действительно шепелявил он смешно.

Я помню, когда Москвин заболел, вместо него на сцену вышел Касаткин. И как он играл свою роль! Мы с девчонками рыдали, наблюдая за ним из-за кулис. Но кто сегодня помнит Касаткина? Очень много на совести Москвы загубленных чудесных актёров. Для памяти потомков мало быть талантливым. Сколько блестящих артистов незаслуженно забыто в нашей театральной Мекке?! Никакие мемуары и никакие, даже очень громкие спектакли, не принесут тебе такой громкой славы, как телевидение и кинематограф. Но во времена, о которых я вспоминаю, телевидение только зарождалось, а в кино стремился далеко не каждый артист. В итоге, удивительные артисты остались в моей памяти, но молодому поколению эти имена не скажут ничего.

Естественно, что Москва концентрировала и концентрирует лучшие актёрские силы страны. Всегда помогали ей традиции театральной провинции — как вливание здоровой крови. Леонидов, Тарханов, Качалов начинали далеко на периферии. Но кто теперь об этом знает? Качалов навсегда связан со МХАТом. Кстати, и у него не всё шло гладко. Говорили, что он хотел играть Вершинина в «Трёх сёстрах» и царя Николая в «Последних днях», просил у Немировича-Данченко эти роли, но тот не давал согласия и после очередной просьбы Качалова ответил:

— Нет, эти роли я дам другим — в вас много пафоса. А вы сыграете Чацкого.

Качалов всплеснул руками:

— Чацкого? Мне шестьдесят три года!

Но вскоре Василий Иванович увидел свою фамилию в распределении ролей. Играл блестяще! После премьеры — каждый раз, когда шёл спектакль — мы, девочки, ждали его в кулисах, чтобы поцеловать полу фрака. На зрителей безотказно действовала абсолютная естественность актёра. Он никогда не демонстрировал своего внутреннего ремесла, а вёл роли, как дышал: свободно,

непринуждённо, искренне. Ему невозможно было не верить. И это был пример такого высокого мастерства, что, наверное, за всю жизнь мне не удалось к нему приблизиться.

Зато я научилась неплохо гримироваться. Уроки нам давал Яков Иванович Гремиславский — гримёр, которого ещё в дачном театре в Любимовке приметил Станиславский, а когда образовался Художественный театр, Гремиславский был приглашён в труппу и работал до конца жизни. Человек он был самоуверенный — мог войти в гримуборную в самый неподходящий момент, когда я была не одета. Я хватала свои тряпки, чтобы прикрыться, но Гремиславский как ни в чём ни бывало даже не думал выходить:

— Ничего, деточка, ничего, — говорил он неспешно, — одевайся спокойно, я не гляжу.

И действительно не глядел на нас. Кончики его пальцев всегда были мягкие, как подушечки. И он учил меня, что в гриме самое важное — правильно наложить тон. Кстати, об этом потом говорила и Тарасова. Нужно класть тон не жирно и не слабо, а ровно настолько, чтобы закрыть изъяны лица. В 1943 году мы выпускали спектакль «Последние дни», где я играла Натали Пушкину. Теперь уже за дело взялся его сын — Иван Яковлевич. И был недоволен несовершенством моего лица. Потому что у красивых женщин расстояние от носа до губы действительно больше, чем у меня. С помощью грима он затемнял мне бороздки под носом, и лицо казалось удлинённым. Конечно, был и другой грим: Гремиславский пририсовывал мне брови, стягивал щёки, но никогда не трогал лоб. Природа наградила меня высоким лбом, что выгодно для ролей светских дам.

Это была удивительная эпоха. У каждого были свои «особенности». Говорили, что во время болезни Немирович-Данченко лежит в постели в крахмальной рубашке и галстуке. А Станиславский, приходя в театр, производил впечатление своей монументальной красотой и возмущался, когда однажды в окне фотомастерской увидел голые плечи актрисы своей труппы.

— Разве это стиль Художественного театра? — говорил он, наводя ужас на окружающих. — Разве это наша марка?

На собственном стиле был помешан каждый крупный театральный деятель. Мейерхольд, например, добивался, чтобы артисты его театра отличались энергичностью и спортивным телосложением,

а Рубен Николаевич Симонов — юмором и умением необычно смотреть на традиционные вещи.

В театральной программке моё имя появилось впервые осенью 1939 года. Меня ввели на роль Кельнерши в спектакль «Пиквикский клуб» Диккенса. Текст моей первой роли был чрезвычайно «трудный». Когда Джингль (Павел Массальский) вставал, чтобы уйти из кафе, я должна была сказать:

26 Артисты МХАТа перед отъездом на гастроли: (*слева направо*) Михаил Тарханов, Илья Судаков, Клавдия Еланская и др. 1937 г. *Фото В. Гребнева*

27 Художник-гримёр Яков Иванович Гремиславский

— Вы забыли заплатить, сэр.

И всё. Но я и представить себе не могла, какая огромная работа предстоит над этой репликой. Саричева бесконечно требовала, чтобы слово *сэр* я произносила с английским акцентом. Я произносила, но Елизавета Фёдоровна не унималась:

— Кира, произношение верное, но как вы смотрите на Джингля? Ощущение, что вы уже виделись утром в троллейбусе. А вы должны на него смотреть, как истинная англичанка. Покажите мне английский взгляд!

У меня, конечно, дрожали коленки. И всё же сцену отрепетировали, но перед спектаклем возник страх, что я в нужный момент забуду эту простенькую фразу, а потому за кулисами я постоянно твердила:

— Вы забыли заплатить, сэр.

Наверное, на меня смотрели, как на чокнутую. Так продолжалось несколько спектаклей подряд, но однажды после моей реплики Павел Массальский вдруг приостановился, посмотрел на меня, незаметно для зрителей влез рукою под юбки и ущипнул за мягкое место. От неожиданности я взвизгнула и в ту же секунду меня охватило ощущение ужаса! Своим визгом я сорвала спектакль! Меня больше никогда не выпустят на сцену! Но вдруг раздался смех и аплодисменты. Публика поняла, что Джингль каким-то образом поддел Кельнершу.

Прошёл месяц — и снова ввод в спектакль. На этот раз я играла Служанку в доме Оргона (в «Тартюфе» Мольера). Роль была бессловесной. Я только появлялась на сцене с фонарём в руках на несколько секунд. Но для родителей это уже что-то значило. И папа даже посвятил мне стихи. А потом была народная сцена в «Горе от ума».

— Иванова, почему вы прячетесь? Вам сшили красивое платье, сделали причёску, грим — пусть вас видят! — услышала я как-то голос второго режиссёра Елизаветы Телешевой.

Я засмущалась и сказала:

— Меня щиплет Лидия Михайловна Коренева.

— Что, что? — удивилась Телешева.

— Меня щиплет Лидия Михайловна, — повторила я в гробовой тишине.

В самом деле, у Кореневой был тот ещё характер, она недолюбливала многих артистов (особенно молодёжь) и очень оберегала свои костюмы, которые ей обшивали марлей, чтоб не пачкались до спектакля. После моих слов на сцену поднялся элегантный Виктор Яковлевич Станицын и поцеловал руку:

— Кира, поздравляю, вы нажили первого официального врага.

У меня затряслись коленки. Я чувствовала на себе взгляд Кореневой. Не помню, как закончилась репетиция — думала лишь о том, как теперь буду служить в театре. «Надо её избегать», — решила я, но на следующий же день лицом к лицу столкнулась в коридоре.

Сейчас мне кажется, что эту встречу Коренева специально подстроила.

— Вы молодая актриса, многого в театре не знаете, и потому я должна с вами поговорить, — сказала она, указав на дверь своей гримёрки.

Как двоечница, я поплелась следом. А в гримёрке она устроила мне допрос — какие спектакли я смотрела и, главное, что думаю об игре того или иного артиста. К счастью, к тому времени я пересмотрела уже весь репертуар по нескольку раз, поэтому от волнения стала заговаривать ей зубы, но вдруг почувствовала, что она радуется, если наши мнения совпадают. Даже сама принялась о чём-то рассказывать, но я не помню ни единого слова, поскольку в напряжении ждала, что Коренева вот-вот примется отчитывать меня за вчерашнее. От этой встречи я ждала чего угодно, но то, что мы с ней найдём общий язык — никак не ожидала.

После этого она стала внимательнее следить за мной — я уже не боялась встретить её в коридоре, но главное — она перестала меня щипать. Именно меня. Кстати, в её гримёрке с тех пор я побывала не раз. Она любила дореволюционный МХАТ, вспоминала ранние годы. Но, повторю, характер у неё был сложным, и свои выходки Коренева проделывала уже с другими артистами. Дошло до того, что участники спектакля «Синяя птица», где я с 1940 года играла Молоко, решили её проучить. Коренева была бессменной исполнительницей роли Феи, артисты в темноте должны были вывести (или вынести — я уже не помню) её из-за кулис на середину сцены. Здесь Лидия Михайловна щипалась, сколько хватало сил. Наконец ребятам это надоело, и однажды, когда вспыхнул свет, Коренева обнаружила, что находится по другую сторону декораций. Уже начинается её сцена, а Коренева стоит в этом лабиринте и не может пробраться к зрителям…

О Лидии Михайловне во МХАТе ходили легенды. Она была близким человеком для семьи Станиславского, но не дружила с Немировичем-Данченко. Впрочем, и сам Владимир Иванович якобы говорил, что не доверяет ей. Сложно сказать, какие между ними были отношения, но Коренева и правда многим собеседникам внушала трепет: её высокая стройная фигура, холодный взгляд, уверенный резковатый голос. Это она стала прототипом скандальной актрисы Людмилы Сильвестровны Пряхиной в «Театральном романе» Булгакова. И, насколько я знаю, сам Булгаков недолюбливал её, но теперь уже трудно об этом судить: живых свидетелей не осталось.

…Умирала Коренева в нищете. О её последних годах жизни я знаю со слов нашей театральной педикюрши Марьи Николаевны,

которая ходила к ней, а больше никого Коренева к себе и не пускала. Педикюрша была исключением, видимо, потому, что у Лидии Михайловны болели ноги, и массаж на время снимал боль. Марья Николаевна говорила, что в квартире ужасная грязь, клопы и мыши. Вернувшись домой, наша педикюрша снимала одежду и застирывала её, чтобы не занести к себе клопов.

Картины Добужинского и Бакста (когда-то Коренева была лично знакома с художниками) ещё украшали стены, но на фоне общей грязи уже не смотрелись так торжественно. Говорили, что большую часть вещей Коренева сама продала и что это составило основную статью её дохода в старости. А когда она умерла, оказалось, что все ценные вещи из дома пропали. Кто приложил к этому руку, так и осталось загадкой.

«РАСПУТСТВО И ПЬЯНСТВО НАДО ВЫЖИГАТЬ»

Летом 1939 года меня послали старшей вожатой в пионерский лагерь на севере от Москвы, где отдыхали мхатовские дети. И там я сорвала голос, потому что они лезли в воду, а я не знала, как их остановить. Боялась, что кто-нибудь утонет… Когда после третьей смены я вернулась в Москву и приступила к репетициям, то надеялась, что моя хрипота будет незаметна, но едва я раскрыла рот, как Нина Николаевна Литовцева прервала репетицию:

— У Ивановой хриплый голос.

Недовольна была и Телешева.

— Кира, что произошло? Почему вы хрипите?

В общем, меня направили к врачу, и тот обнаружил три узла на связках. Стал говорить об операции, но, к счастью, помогло прижигание серебром.

У нас в пионерлагере начальником был Агафонов — очень простой дядька, член партии, который всё время хотел казаться политически грамотным. И чем больше он этого хотел, тем более нелепыми были его фразы и поступки. Он бесконечно повторял слово «буржузия». И непонятно зачем стращал пионеров лозунгом: «Распутство и пьянство на советских курортах надо выжигать калёным железом». До пьянства, слава Богу, дело не доходило, но распутство однажды случилось.

Была у Агафонова породистая сучка Веста. А у меня жил огромный водолаз Грозный, которого я подобрала в лесу. И однажды они на глазах у всего лагеря спарились у кромки воды.

Если бы Агафонов с перепугу не загородил это место заборчиком, то никто не обратил бы внимания. А так все пионеры собрались возле этого заборчика, и я не знала, как их разогнать. Но дольше всех не отлипал от ограждения сам Агафонов: он буквально дрожал над своей Вестой и не нашёл ничего лучшего, как жаловаться, что его Весту лохматый водолаз буквально изнасиловал.

28 Труд вожатой считался почетным. Лето 1939 года Кира Иванова провела в пионерском лагере

29 Художник-модельер Надежда Петровна Ламанова

«УБЕРИТЕ ОТ МЕНЯ ЭТУ ДЕВКУ!»

Константин Сергеевич Станиславский собирал мхатовскую «коллекцию» не только из удивительных актёров. В 1901 году он пригласил в театр Надежду Петровну Ламанову — знаменитую и очень богатую портниху, которую теперь называют первой российской модельершей. Говорят, она в своё время одевала царскую семью, за что в 1919 году её и посадили в Бутырскую тюрьму. Оттуда она вышла нищей: советская власть отобрала всё — деньги, имение, модельный дом. Не было

рядом и тех замечательных портних-помощниц, которые знали секреты мастерства. Если бы не заступничество целого ряда бывших клиентов, Надежда Петровна осталась бы и без театра. Начинала свой путь в мастерской госпожи Войткевич, и о ней вскоре заговорили: «Шить теперь надо только у мадам Войткевич: там есть одна новенькая закройщица — мадемуазель Ламанова, которая истиранит вас примеркой, но зато платье получится, как из Парижа». Я готова подписаться под этой фразой, поскольку свой талант Ламанова сохранила на всю жизнь, и в советское время её уникальные платья нельзя было спутать ни с чем. Порой она напоминала живописца, ведь прежде чем начать работу, долго изучала «натуру», а потом творила из тканей, как художник красками. Шила методом «наколки», долго прикладывая ткани к фигуре модели, вдохновенно её обволакивая, драпируя складками, закалывая булавками…

Я познакомилась с ней в 1939 году, когда мне шили костюм для «Горя от ума». Ламановой было 78 лет, во что невозможно было поверить: она ходила на высоких каблуках, голос её был моложаво звонкий, не постаревший, а про манеры можно целую книгу написать — во всём читались непростой характер и, конечно же, порода.

Для спектакля я должна была влезть в корсет. И по наивности стала командовать одевальщицам:

— Тяните за шнурки, мне не туго. Ну, тяните же…

А Ламанову бесконечно отвлекали, поэтому она сказала:

— Тяните, сколько она скажет….

И меня «затянули» так, что в глазах потемнело, и я в крахмальных юбках опустилась без сознания на пол… Когда очнулась, то увидела, что все толпятся над Ламановой, которая кричит:

— Уберите от меня эту девку, чтобы я до конца своей жизни её не видела. Уберите, уберите!

А как они «уберут»? Сперва нужно снять с меня корсет. Оказалось, что и Ламанову пришлось приводить в чувство. В общем, пока все суетились, прошло минут десять. Тогда Ламанова успокоилась и сказала:

— Ну, идём, я закончу примерку…

Потом я «с гордостью» думала, как хорошо, что меня не стошнило от защемления, как случилось однажды с одной великой мхатовской актрисой.

30 В ту пору любой ввод во МХАТе считался событием, поэтому даже на примерку костюма Аксюши пригласили фотографа

Рассказывали, что в первые дни Великой Отечественной войны Ламанова жаловалась своей подруге — скульптору Вере Мухиной:

— Я скоро умру.

— Почему?

— У меня осталось всего две капли «Коти».

Без французских духов Надежда Петровна свою жизнь не мыслила. Слова оказались пророческими. В том же году, когда Художественный театр уезжал в эвакуацию, Надежда Петровна из-за болезни младшей сестры опоздала на сборный пункт. Расстроенная, спустилась к Большому театру (наверное, надеялась уехать с его артистами), но в скверике ей стало плохо, и на скамейке она умерла.

…Сегодня её имя, увы, почти забыто, хотя она достойна памяти: в страшное, голодное время Ламанова шила потрясающие по красоте туалеты для вахтанговских спектаклей «Принцесса Турандот», «Зойкина квартира», «Егор Булычов и другие», для той самой Вассы Железновой, которую играла Фаина Раневская в театре Красной армии. У нас в театре она сотворила настоящие шедевры для «Женитьбы Фигаро». Её таланта хватало на всех, ведь помимо театра, помимо бесчисленных частных заказов она создала костюмы и для первых советских фильмов — «Аэлита», «Поколение победителей», «Цирк», «Александр Невский» и многих других.

ЗАЧЕМ Я ПОНАДОБИЛАСЬ ВЕЛИКОЙ АКТРИСЕ?

Премьеру «Трёх сестёр» Немирович-Данченко назначил на апрель 1940 года. На этот спектакль он возлагал особые надежды. Это действительно был последний взлёт его творчества, но такой мощный, что «Три сестры» стали легендарной постановкой и объехали с триумфальными гастролями полсвета. Как я уже говорила, моя роль была совсем крошечной: я выходила с ряжеными во втором акте, а в других создавала закулисные шумы. Каждый раз, сымитировав крик перелётных птиц, я кубарем слетала с колосников, бежала в бельэтаж смотреть финальную сцену и каждый раз не могла сдержать слёз.

Незадолго до премьеры артистка нашего театра Софья Пилявская, с которой я к этому времени уже была дружна и которую близкие называли Зосей, сказала, что Ольга Леонардовна Книппер-Чехова хочет со мной поговорить. Я оторопела. Зачем я понадобилась великой актрисе? Мы ведь совсем незнакомы. О чём я буду говорить? Но Зося успокоила:

— Ты, главное, молчи. Говорить будут с тобой.

Как теперь я понимаю, повод придумала сама Зося, она просто хотела познакомить меня с Книппер-Чеховой, поскольку давно уже стала членом её семьи. Жила Ольга Леонардовна в Глинищевском переулке — в знаменитом актёрском доме, фасад которого теперь увешан мемориальными досками.

…Дверь нам открыла Софья Ивановна Бакланова.

Софья Ивановна Бакланова была ближайшей приятельницей Книппер-Чеховой. Вместе они жили с 1938 года. До революции Софья Ивановна была очень богатым человеком, в гражданскую войну могла эмигрировать, но осталась в России и потеряла своё состояние. Работала в Академии наук и очень дружила с Адой Книппер, которая её и познакомила со своей тётей Ольгой Леонардовной. В доме Книппер-Чеховой Бакланова вела домашнее хозяйство, сопровождала в поездках — иными словами, полностью посвятила ей свою жизнь. После смерти актрисы Софья Ивановна занималась архивом Книппер-Чеховой. Правда, долго жить одной в столь просторной квартире ей не позволили и подселили в столовую артиста МХАТа Леонида Губанова с супругой.

Когда мы прошли в комнату, Ольга Леонардовна поднялась навстречу. Держалась она искренне, и про неё уж точно нельзя было сказать, что это — вдова великого писателя. Ни капли высокомерия.

На столе были фрукты, водочка, бутерброды и шампанское без газа. Позже я узнала, что за несколько часов до прихода гостей Софья Ивановна разливает напиток в открытые чаши, газ уходит, и образуется белое вино, которое потом она охлаждает и подаёт к столу. Впрочем, шампанскому Ольга Леонардовна предпочитала коньячок. У неё была серебряная стопочка, которой она всегда чокалась с гостями…

Вскоре эти встречи стали регулярными: в доме Ольги Леонардовны молодые мхатовцы могли ближе познакомиться с корифеями сцены, почаёвничать, поговорить о наболевшем. А ещё мы встречались несколько раз в санатории в Барвихе, где отдыхали мхатовцы, и Юра Леонидов (сын обожаемого мною

Леонида Мироновича Леонидова) периодически возил нас туда на машине. Однажды в Барвихе мы застали не только Ольгу Леонардонву, но и Качалова. Они пригласили нас в свою компанию, и после чаепития Василий Иванович прочёл рассказ Горького. Самое интересное, что рассказ я совершенно не помню, но навсегда остался в памяти взгляд Книппер-Чеховой. Я четко запомнила, что Бакланова гладила ей руки, как бы успокаивая. Почему? Теперь на этот вопрос не ответит уже никто.

Вечером Василий Иванович провожал нас к машине, а когда дверцы захлопнулись, Петя мне сказал:

— Качалов съедал тебя взглядом. Как он смотрел на тебя, вернее, на твою задницу…

Я покраснела, почему-то мне стало неловко. И вообще я часто краснела по пустякам. Даже в школе говорили:

— Кто-нибудь соврёт — Кирка обязательно покраснеет.

«Я ЗА ВСЁ УПЛАЧУ»

Сегодня имя Ивана Михайловича Кудрявцева (служил во МХАТе с 1924 по 1966 год. — *В.Б.*), к сожалению, почти забыто. Немногочисленные фильмы с его участием редко транслируются по телевидению, но, конечно, главные роли своей жизни он сыграл на мхатовской сцене, никогда не изменяя своему театру. Любил всё, что связано со МХАТом, наверное, поэтому много и не жалея себя преподавал. Учил студентов выносливости. Его ученик — превосходный артист Игорь Дмитриев — вспоминал такую заповедь Кудрявцева:

— Актёр обязан воспринимать удары судьбы, как боксёр на ринге. Получив по физиономии, вы будете в шоке, а для боксёра это — норма жизни.

Кудрявцев интересный был человек и талантливый артист. Это читалось даже в немногословных ролях. Сколько он переиграл советских рабочих, матросов и лейтенантов! А как неподражаем был в классических постановках. Его старца Зосиму из «Братьев Карамазовых» (постановка 1960 года. — *В.Б.*) забыть не могу по сей день. Это был священник до мозга костей: видимо, здесь Ивану Михайловичу помогли юношеские впечатления — то ли

31

31 В последние годы жизни Книппер-Чехова в театре появлялась редко. Но когда это случалось, то был настоящий праздник. *Фото из Музея МХАТ*

дед, то ли отец его был священником. Он появлялся на сцене, и у меня не оставалось сомнений, что перед нами человек «оттуда». Причем не только Зосима был «оттуда», но и, конечно, трогательный Николка в «Днях Турбиных», и профессор Серебряков в «Дяде Ване», и интеллигентный Мелузов в «Талантах и поклонниках», да мало ли кто ещё.

Кудрявцев отличался прекрасным чувством юмора, а в молодости был просто хулиганом. И массу всего интересного мне рассказывал про такую же хулиганскую молодость мхатовцев. Например, при нэпе Кудрявцев увлекал после спектакля артистов на прогулку. Однажды вышли на Театральную площадь, где была ярмарка и стоял продавец с целой тучей шаров, надутых газом. Кудрявцев подкрался и на глазах Бориса Ливанова, Василия Орлова и других достал из кармана ножик, в секунду перерезал ленточку, и шары взмыли в небо к изумлению друзей и прохожих. Продавщик побагровел:

— Что вы сделали! — вздымал он руки к нему. — Да вы же меня разорили!…

— Я за всё заплачу, — хладнокровно отвечал Кудрявцев. — Я посчитал, сколько у вас шариков…

— Сколько?! — орал потерпевший.

Здесь Иван Михайлович делал паузу, окидывал взглядом толпу, называл точное количество шаров и на глазах у изумлённой публики протягивал деньги.

Бывали и ночные прогулки. Так, после одного из спектаклей Кудрявцев с компанией вышли на Манежную площадь, где стоял извозчик. Тёплая ночь, извозчик спит на облучке. Молодёжь тихонько отвязывает лошадь, запрягает её задом наперёд, а потом, отойдя подальше, будит криками несчастного дядьку. Тот продирает глаза и ничего не может понять: там, где обычно круп, торчит голова лошади.

А дальше нужно было смотреть на Кудрявцева — он показывал, как извозчик испуганно крестится, потом сползает с облучка, обходит кругом свой экипаж и начинает материться.

Но самая занятная история с участием Кудрявцева произошла в годы войны. Ливанов и Кудрявцев заспорили, кого из них больше любил Станиславский.

— Ну, конечно, меня! — без тени смущения сказал Иван Михайлович.

— Не смей так говорить! — возмутился Ливанов.

В общем, заспорили. И то ли в шутку, то ли всерьёз Ливанов намеревался треснуть Кудрявцева по физиономии, но, как назло, в этот момент между ними оказался Грибов, у которого от удара из губы брызнула кровь. Ливанов не мог выдержать такой несправедливости и в ту же секунду побежал топиться в Москва-реку. Дело было на Ленинских горах, где отдыхали артисты, поэтому не ручаюсь, что всё происходило на трезвую голову. В итоге, Ливанов не утопился, но сломал ногу, а у Грибова распухло лицо… Потом Ливанов лежал в больнице с переломом, Грибов собрался его навестить, приехал, но в палату так и не вошёл — передал записочку:

— Боря, хотел тебя навестить, но в коридоре почувствовал, что мне не только смеяться трудно, но и улыбаться я не могу: болит щека. А если тебя увижу — непременно рассмеюсь…

Замечательные актёры Кудрявцев, Грибков, Орлов, Дорохин, Блинников, Муравьёв так и не обрели громкой славы и были оттеснены теми, кто считался во МХАТе величиной номер один. Но в то же время на счету театра сотни историй, когда артист второго плана вдруг обретал успех благодаря какому-то пресловутому случаю. Например, актриса Елена Санаева вспоминает: «Во МХАТе служила Татьяна Ленникова, у которой был готов весь женский репертуар. И когда кто-то ломал ногу, попадал в больницу, рожал, она немедленно вводилась в постановки и таким образом переиграла огромное количество ролей, стала народной артисткой РСФСР. Мог бы в безвестности погибнуть и Всеволод Санаев, если бы не покинул вовремя МХАТ. Он верно служил театру, но роли первого плана играли, в основном, другие. Однажды он встретил у подъезда (жили в одном доме) Аллу Константиновну Тарасову, которая была в ту пору директором театра. А поскольку накануне он не получил разрешения на очередные киносъёмки, то сказал: «Алла Константиновна, я решил уйти из театра». — «Севочка, почему? К вам все хорошо относятся в труппе». — «Да, но это не увеличивает мой репертуар». — «Ну, вообще вы правы, потому что, пока они живы (имелись в виду Белокуров, Ливанов, Грибов, Яншин), они вам играть не дадут». И спасение Санаева было в том, что он ушёл в кино».

«МНЕ НЕЧЕГО С ВАМИ ДЕЛАТЬ!»

Я бесконечно отвлекалась на всякую чепуху. То мне казалось, что Качалов на поклонах послал воздушный поцелуй именно мне, то мерещилось, будто Добронравов на репетиции поглядывает в мою сторону… У меня уже был составлен список кумиров. В него вошли Вадим Шверубович (сын Качалова и Литовцевой), Леонид Князев, Борис Ливанов, Борис Добронравов и мой ровесник Миша Верёвкин.

Помню, как завязались отношения со Шверубовичем. Репетировали с ним «Горе от ума». Слово за слово. И уже через несколько дней он стал провожать меня домой. Вадим был форсистый, говорил громко, чем страшно не нравился моим родителям. А мне нравился. Поначалу мы прогуливались вечером, а потом в спортивном зале (я ведь по-прежнему жила при школе) он показывал мне на кольцах упражнения, кувыркался и чёрт-те что вытворял. Несколько раз оставался ужинать с нами и однажды сказал:

— Сейчас у меня комната у папы, а вот получу я свою квартиру, и Кира войдёт туда хозяйкой.

А довольно скоро отношения прекратились. Он просто вычеркнул меня из жизни. Тогда я написала записку:

— Дорогой беленький! (у него были светлые волосы). Я не могу понять, почему вы изменили отношение ко мне. Может, я в чём-то виновата? Скажите мне. Мне больно оттого, что вы замолчали, забыв про нашу хорошую дружбу.

32

33

34

35

32 Борис Добронравов
33 Василий Орлов
34 Иван Кудрявцев
35 Борис Ливанов

И так далее. Но он ничего не ответил. Разве что при встрече раскланивался со мной:

— А-а-а, как живёте, караси?

Я отвечала привычной рифмой:

— Ничего себе, мерси.

И вдруг через несколько дней узнаю, что мою записку он показал чуть ли не всей труппе. В особенности девчонкам, чтобы посмеяться надо мной. И мне захотелось свести счёты с жизнью, дурацкие мысли лезли в голову. Но вдруг своё мужское плечо мне подставил Василий Александрович Орлов, который рассказал, что в театре случается и не такое. Нашёл какие-то правильные слова. И тоже стал провожать меня домой. На родителей он произвёл более приятное впечатление: Орлов действительно отличался хорошим воспитанием. Интересно говорил и о театре, и о себе, и о работе над ролью. Я приносила все эти рассказы домой. Например, из-за него

однажды Немирович-Данченко отменил репетицию «Трёх сестёр», где Орлов играл Кулыгина. Накануне всё складывалось благополучно: Василий Александрович выслушал замечания режиссёра, повторил мизансцены, пришёл на утро — играет то же самое. Владимир Иванович говорит:

— Что вы играете?

— Как «что»? — удивился Орлов. — Всё, как вы говорили — повторил точь-в-точь.

— Повторили?! — вскипел Немирович. — Вы в театр ходите не затем, чтобы повторять вслед за мной. Что вы добавили в образ? Что развили? Какие мысли появились у вас?

Орлов не успел ничего ответить, поскольку Немирович-Данченко уже встал и пошёл к выходу.

— Мне нечего с вами делать, — сказал он артистам. — Готовьтесь к завтрашней репетиции.

У Орлова карманы всегда были наполнены черносливом, и он меня угощал. Вечерами мы прогуливались, и не только в Москве, но и на гастролях, где ни от кого не скрыться, поэтому о нашей взаимной симпатии довольно скоро узнала вся труппа. Впрочем, тревожило лишь одно обстоятельство: Василий Александрович был женат и разводиться не спешил. Папа мне говорил:

— Вася твой симпатичный, но он женат. На своём горьком опыте могу тебе сказать, что развод в таких случаях делается или сразу, или никогда.

Папа оказался прав, хотя убедилась я в этом много позже и всё время надеялась, что Орлов сделает, наконец, мне предложение.

Был и другой ухажёр — Миша Верёвкин, но вскоре оказалось, что воспитан он плохо. Например, однажды стал трясти за столом деньгами:

— Я одену вашу дочь, как куколку!

Он был единственным, кто сделал мне предложение. Я, разумеется, отказала. Тогда он женился на Зинаиде Баталовой, а мне показывал, какие плащи ей покупает. Хотел, чтобы я ревновала, но мне было всё равно…

ГЛАВА 5

В ГОДЫ ВОЙНЫ

ГАСТРОЛИ ПОД БОМБАМИ

Наташу в спектакле «На дне», поставленном Немировичем-Данченко и Станиславским, я репетировала чуть ли не с 1939 года. Но ввели меня в постановку только в 1942 году. Прежде эту роль играла Мария Титова, которая была старше, но очень следила за собой и, видимо, не хотела с кем-то делить эту роль.

В биографии Киры Головко роль Наташи стала, безусловно, знаковой. Благодаря ей актриса из вспомогательного состава перешла в основной. После войны «На дне» периодически транслировали по радио (репродукторы висели на столбах по всей Москве). Во время одной из этих трансляций Кира Николаевна встретила замечательных артистов, супругов Бориса Тенина и Лидию Сухаревскую. Из рупора как раз доносился монолог, в котором Наташа разоблачает Василису. Увидев актрису, Тенин и Сухаревская бросились её обнимать и осыпать комплиментами. Сухаревская воскликнула: «Эх, дура ты, я по лицу вижу, что не понимаешь, как гениально играешь!» Тенин торопил жену: мол, пора идти, но она продолжала: «Погоди, я эту девочку хочу ещё потрогать».

Возможно, поэтому и на гастроли в Минск, которые МХАТ начал 17 июня 1941 года, я не поехала — меня оставили в Москве, где я и встретила войну.

Вернувшиеся рассказывали, что бомбёжки в Минске начались 23 июня. Были взорваны склады с декорациями, загублено оформление наших спектаклей. Артисты хотели вернуться в Москву, но оттуда пришла нелепая телеграмма: «Продолжать

гастроли». Это было невозможно, и Москвин взял ответственность на себя. Как депутат Верховного Совета он имел право на некоторые вольности.

— МХАТ возвращается в Москву, — сообщил он в ответ.

Перечить начальству было рискованно, но вскоре в Москве поняли, что положение серьезное и выслали за мхатовцами какой-то транспорт. Пока он двигался к Минску, артисты пешком двинулись навстречу. За этот героический выход из-под бомб Москвина прозвали «маршалом МХАТа». Вообще же он и до этого случая был и символом, и совестью Художественного театра.

Сердце разрывалось слушать про Бориса Добронравова, поскольку блестящий актер, сыгравший множество смелых мужчин на сцене, патологически боялся бомбёжки. Останавливал машины, чтобы вопреки совести бросить коллег и уехать одному… Рассказы были всякие. Кто-то говорил, что в дороге Лидия Михайловна Коренева молилась. В это легко можно поверить, если вспомнить, что фашисты в первые годы войны для устрашения использовали бомбы, которые жутко ревели в полёте. Это был психологический приём, от которого действительно становилось страшно. Мне кажется, страх от бомбёжки можно описать таким штрихом: летом 1941 года я жила в пригороде, у школьной подруги Тани Меркуловой, и, когда фашисты сбрасывали бомбы, мы прятались в так называемую щель — маленький окопчик, вырытый рядом почти с каждым домом. У Тани была собачка, которая ныряла в щель первой, вся тряслась и от страха ужасно портила воздух. Мы прыгали вслед за ней и дрожали, конечно, не меньше.

…Как я уже говорила, до войны мы жили в Шмитовском проезде, около Трёхгорки. После первых бомбёжек в доме появились трещины, и нас переселили в квартиру у Никитских ворот — прямо на углу улицы Герцена (ныне Большая Никитская) и Качалова (Малая Никитская). Папе было пятьдесят лет, в армию его не брали, и он пошёл в ополченцы. 6 августа 1941 года в 6 часов утра мы вышли с ним из подъезда. Я, утирая слёзы, посадила его в трамвай, двери закрылись, и папа поехал к месту сбора ополченцев. Больше мы никогда не виделись.

Несколько месяцев переписывались, а 28 октября 1941 года я получила последнее письмо. Он благодарил меня за посылку

и особенно за водку: она помогала сплотить бойцов. Как потом я узнала, папа погиб под Вязьмой, хотя некоторые мои родственники надеялись, что он попал в плен и оказался где-то за границей. Когда в 1957 году я вместе со МХАТом ехала на гастроли за рубеж, эти же родственники советовали:

— Кира, спрашивай у всех, не знают ли что-то про папу.

Но я не спрашивала. Точно знаю, что он сражался до последнего патрона. Ведь война была для него поводом достойно и с честью уйти из жизни — настолько ему было плохо без жены.

Осенью 1941 года МХАТ стал готовиться к эвакуации. Причём так называемый «золотой фонд» театра, куда входили многие корифеи, в том числе Книппер-Чехова, был отправлен в Тбилиси, а остальные получили приказ готовиться к переезду в Саратов (театр там пробыл с 11 ноября 1941 по 15 июля 1942 года, занимал здание ТЮЗа. — *В.Б.*). Немирович-Данченко назначил Хмелёва заведующим труппой, а Москвин стал директором театра.

На вокзале артистов встречало всё городское начальство. Местные чиновники особенно хотели послушать Москвина, чьи депутатские речи в то время были широко известны. Но поскольку Москвин задерживался в Тбилиси, то в Саратове вместо него выступал Тарханов (его родной брат). И вот встречать артистов вышла пионерка, читала стихи, говорила:

— Какое счастье, что вы приехали! Мы знаем все фильмы, в которых вы снимались.

Она-то думала, что обращается к Москвину. В итоге, Тарханову это надоело, он подошёл ближе и — батюшки! — задрав юбку, ущипнул за мягкое место. Пионерка вскрикнула и убежала. Все зашипели на Тарханова. А он сделал безобидное лицо и сказал:

— Она же всем будет рассказывать, что её Москвин ущипнул.

В Саратове нас поселили в гостинице «Европа». Мест, разумеется, не хватало, поэтому двухместный номер я делила с Владимиром Александровичем Поповым и его супругой, которые бесконечно ссорились. Когда не было репетиций, жизнь шла, в основном, вокруг громкоговорителей. Чёрные тарелки висели повсюду: в театре, в коридоре гостиницы. Особенно Александр Чебан не мог без репродуктора. Всякую свободную минуту бежал к нему — узнать ситуацию на фронтах. Казалось, он так и не верит, что кто-то пошёл войной против России.

— Сказали, что гитлеровские войска уничтожили тысячи советских людей, — удивлённо говорил он. — Получается, что Гитлер против нас?!

В плане жилищных условий труднее всего приходилось артистам массовки. В гостинице для них мест не было, и они спали

36 «Последние дни» Михаила Булгакова. Натали — Кира Иванова, Дантес — Павел Массальский

37 В эвакуации актёры МХАТа часто встречались со зрителями. Алла Тарасова (*вторая слева*), Кира Иванова (*вверху справа*)

на полу в костюмерных или в гримёрках. Меня же поселили в гостинице, потому что я шла уже на заслуженную артистку и играла Наташу в «На дне». Позже я получила роль Натали Пушкиной в «Последних днях».

В июле 1942 года, когда стали бомбить Саратов, Алла Константиновна Тарасова всех взбудоражила и добилась, чтобы МХАТ покинул город. Нам выписали билеты на пароход, и мы со своими пожитками потащились к набережной. На палубе всех встречал актёр Сергей Капитонович Блинников с огромным чайником в руках, из которого наливал спирт. Я тоже протянула кружечку, но он хлопнул меня по руке и сказал:

— Пошла вон, идиотка!

У меня брызнули слёзы, а потом я поняла, что спирт на баб не полагался, поскольку его с трудом хватало на мужиков. Иван

Михайлович Москвин, заметив, что Блинников разливает горячительное, был в гневе, поскольку с утра и без того от многих артистов пахло выпивкой. Один из рабочих сцены, побоявшись вступать в конфликт с руководством, схватил чайник и побежал с ним по палубе к каютам, но Москвин его окликнул:

— А ну-ка стой, вернись!

Тот остановился, и тогда к чайнику подбежал Блинников со словами:

— Иван Михайлович, вы напрасно нервничаете, это же вода.

Открыл рот, выпил всё содержимое, утёрся и сказал:

— Чего ты испугался, дурачок? Говорю же — вода.

Эту историю потом долго пересказывали — провести Москвина на глазах у всей труппы не удавалось ещё никому.

Мы шли Волгой, потом Камой до Урала, а там нас перебросили железной дорогой в Свердловск, где бытовые условия были чуточку лучше. Жили в гостинице «Урал». Я — в номере с Ниной Сергеевной Лебедевой, которую прочили на Александрину в «Последних днях», — и она неплохо её репетировала. Но как только прошла сдача спектакля, Немирович-Данченко сделал перестановки, и Лебедеву сняли. Впрочем, о «Последних днях» я расскажу отдельно. У Нинки был своеобразный характер, не все её любили в театре. И чем больше она попадала в передряги, тем больше я её жалела. Мне казалось, что судьба безжалостно прошлась по её жизни, ведь большевики расстреляли родителей прямо у неё на глазах, может быть поэтому её лицо всегда было слегка перекошено.

В Свердловске нам выдавали хлеб по карточкам, и мы приноровились с Лебедевой продавать то, что не съедали. И по незнанию, делали это возле здания НКВД, которое располагалось рядом с рынком! К счастью, нас ни разу не застукали за этим занятием. И зрители не узнавали, хотя рынок работал на полную катушку.

В войну многие ходили в церковь — молились за победу и, как ни странно, за здоровье Сталина. Мы же собирались в номере у артистки Валерии Дементьевой и занимались спиритизмом. Вызывали дух Наполеона, Суворова, Кутузова… Когда блюдце начинало дрожать, все тихонечко задавали свои личные вопросы. Однажды у духа Станиславского я спросила, жив ли мой папа. Константин Сергеевич ничего не ответил — видимо, держал паузу…

При МХАТе создавались фронтовые театральные бригады. Участвовать в них было почетно. Однако на моё место Тарасова определила свою племянницу Галю Калиновскую, с которой они то враждовали, то были неразлучны, и, в итоге, я осталась за бортом.

ЛЕГЕНДАРНАЯ КУНЯ

В декабре 1941 года я сыграла в «Школе злословия» одновременно две роли — бессловесную Модистку и горничную леди Тизл (спектакль поставили несколькими годами ранее, но у меня и ещё нескольких актрис был ввод). Сперва нам сшили костюмы, а затем сказали, что предстоят танцевальные репетиции, которые будет вести Ольга Всеволодовна. Особого значения этому я не придала: мало ли во МХАТе педагогов. И вдруг на следующий день к нам в репетиционный зал вошла дама невероятной красоты. Я смотрела на неё как заворожённая и понимала, что родилась глубоко несчастным человеком, поскольку никогда в жизни не смогу не то что выглядеть как она, но и повторить её чудесные танцевальные движения. Позже оказалось, что в её судьбе буквально всё было необычно, начиная с тройной фамилии (Всеволодская-Гернгросс-Голушкевич) и заканчивая происхождением (урождённая баронесса старинного немецкого остзейского, то есть прибалтийского рода), не говоря уже о совершенно нездешних манерах. Например, она часто курила грубые мужские папиросы, непринуждённо затягиваясь едким дымом. А ещё она была невероятная модница (что по тем временам давалось не просто) — в её гардеробе не было ни одного наряда, сшитого собственными руками, но все фасоны, вплоть до деталей, она придумывала сама. Рассказывали, как однажды её ограбил бывший муж — унёс коллекцию драгоценностей. Ольга Всеволодовна бросилась в милицию, стянула с рук лайковые перчатки, и милиционер увидел на пальцах множество бриллиантовых колец.

— Товарищ лейтенант! — восклицала она, — ну, посмотрите, какое безобразие: это же всё, что у меня осталось!

Шла война, мы порой голодали, недосыпали, но во время репетиций об этом забывалось, потому что была какая-то

неповторимая атмосфера: казалось, что Ольга Всеволодовна из другого столетия (хотя на деле она была всего лишь на пару лет меня старше): она знала значение каждого жеста, и любой фрагмент её танцев был наделён двойным, тройным смыслом. Мы были влюблены именно в эти сцены, но их, к сожалению, вычеркнули режиссёры Горчаков и Ларгин. Зато осталась очаровательная сцена в «Школе злословия», где Андровская играет на арфе, а Яншин — на флейте.

МЕЖДУ ПУШКИНЫМ И БУЛГАКОВЫМ

В конце 1942 года мы вернулись из Свердловска в Москву, где и возобновились репетиции «Последних дней». Изначально пьеса называлась «Александр Пушкин», и Булгаков писал её для Вахтанговского театра, где читка прошла на ура: вахтанговцы буквально вцепились в произведение, считали настоящей победой драматурга (надо признать, что писал он «Пушкина» совместно с Вересаевым, но позже между ними произошёл конфликт и официальным автором стал считаться Михаил Афанасьевич). Наверное, пьеса так и была бы поставлена на вахтанговской сцене, если бы в 1936 году в «Правде» не появилась разгромная статья, в которой страшно критиковался булгаковский «Мольер». Стало понятно, что вслед за «Мольером» пресса набросится и на другие произведения. В театре затаились, а через неделю статьи о «Пушкине» действительно были напечатаны, и от постановки пришлось отказаться.

У Михаила Афанасьевича началась депрессия. Он был загнан в угол нашими чиновниками от культуры, которые (если позволительно перефразировать известное изречение) были бóльшими сталинистами, чем сам Сталин. Кое-как удалось поправить положение, пойдя на сделку с совестью: Булгаков объявил, что приступает к пьесе о Сталине для Художественного театра. Благодаря этому Репертком разрешил МХАТу поставить «Пушкина» (правда, теперь пьеса называлась «Последние дни»). Таким образом пьеса попала к нам, но приступили мы к репетициям только в 1942 году, когда Булгакова уже не было в живых.

О том, что мне суждено сыграть Натали, я узнала из директорского приказа. Подошла к доске объявлений и сначала не нашла своей фамилии в списке, поскольку привыкла читать распределения снизу вверх. Сколько раз я находила свою фамилию среди статистов, горничных и прочих бессловесных персонажей! И вдруг удивилась, увидев в самом верху списка строку: «Пушкина — К. Иванова». Прочитала и замерла. Неужели мне дали главную роль? От такого события голова пошла кругом, но, оказалось, я рано радовалась. Как только наш спектакль был готов (режиссёры Станицын и Топорков), его посмотрел Немирович-Данченко и объявил, что нужно встряхнуть постановку, а точнее — перераспределить роли. В первом варианте Жуковского играл Станицын. Николая I хотел играть Качалов, но роль дали Ершову. Воронцовой была Морес, Долгорукого играл Кторов, Дантеса — Массальский, Биткова — Топорков, Александрину — Лебедева, Натали — я.

И вот когда Немирович-Данченко посмотрел нашу работу, было решено заменить 18 человек. Дубельта стал репетировать Хмелёв, Никиту — Орлов, Александрину — Пилявская, Воронцову — Андровская. Разве что Станицын, Топорков и Ершов остались на своих местах. На этот огромный ввод давалось мало времени. Я же попала во второй состав, поскольку на мою роль ввели Ангелину Степанову.

Немирович-Данченко интересовался у Ольги Бокшанской, как идёт работа над первым вариантом спектакля. Отдельные места их переписки посвящены совсем ещё юной актрисе. Сначала разговор о ней заводит Ольга Сергеевна в письме от 13 июня 1941 года: «Вчера был просмотрен “Пушкин”. В декорациях, иногда не полных (бал), с не найденным ещё светом, без гримов и костюмов. Двери в зал не были закрыты, и народу интересующегося набралось много. <...> Обаяние темы и пьесы доходит сильно. Из исполнителей никто не был замечен каким-нибудь “ах!”, никто не был и сильно изруган. Вас[илий] Г[ригорьевич] <Сахновский> дал очень одобрительные отзывы и даже принял обеих молодых актрис (Иванову и Лебедеву) в центральных ролях, которые были больше других раскритикованы, особенно смотревшими актрисами».

Спустя несколько месяцев Немирович-Данченко сам интересуется Кирой Николаевной: «Как проходит в “Пушкине” Иванова — Наталья? Это же особенно интересно».

10 октября 1941 года Бокшанская ему отвечает: «Про Иванову — Наталью... Участники спектакля оценили её очень тепло, останавливаясь на особенно им заметных моментах, ей удающихся. У нас наверху, в худ.-лит. кругах, говорилось, что это ученическое исполнение... Впечатление, что она никак не может целиком отдаться чувству, всё время старательно контролирует себя, так ли повернулась, так ли пошла, понесла свечу... Местами манерна, местами суетлива. Боится упреков в отсутствии светскости».

Несмотря на достаточно объективные письма Бокшанской, Немирович-Данченко не сразу переместил актрису во второй состав. Как вспоминает Головко, сначала Владимир Иванович подробнейшим образом ознакомился с деталями спектакля, словно проверял всё, о чём сложилось у него впечатление по письмам. Мудрость Немировича-Данченко заключалась ещё и в том, что он слегка иронично относился к письмам, в которых одна женщина пишет про другую.

38 Бессменный хореограф Ольга Всеволодская-Голушкевич. 1953 г.

39 Урок танца: Ольга Всеволодская-Голушкевич, Галина Стецюк (Киндинова), Борис Чунаев, Николай Караченцов

Я понимала, что моей вины нет — ведь заменили многих, но всё равно ощущение собственной второсортности было неприятно. Как ты докажешь, что достойна, что хорошо подготовилась к роли, когда мимо тебя по коридору проходит Степанова в гриме Натали? В общем, ревела в подушку, как вдруг оказалось, что сынишка Степановой заболел корью. А поскольку в театре очень берегли здоровье Немировича-Данченко и его семьи, то Ангелина Иосифовна была немедленно отстранена от роли, ведь могла заразить Немировича. Я понимала, что этот шанс упускать

нельзя. Но походив в предвкушении по театру, узнаю вдруг, что Натали будет играть Алла Константиновна. Как же так? Никто ничего конкретного мне не говорит. Снова бессонные ночи, снова тревоги и несбывшиеся надежды! Специально для Тарасовой шьются костюмы, она играет спектакль и вдруг через пару дней заявляет, что больше играть не будет, поскольку, видите ли, роль не получила должного отклика в прессе. На этот раз никого искать не стали, и меня вернули в спектакль.

На репетициях бесконечно вносились какие-то поправки. Массальскому, например, очень трудно давалась роль убийцы Пушкина — ему трудно было переступить через себя. Постепенно он стал даже выпивать с Ершовым и однажды так напился, что Ершов с трудом дотащил Павла Владимировича в театр. Репетиция была сорвана, вызвали жену Массальского, указали на пьяного, она глянула в его сторону и заявила:

— К этому куску мяса я не имею никакого отношения.

Я её возненавидела.

…По замыслу режиссёров, спектакль должен был напоминать ожившее полотно пушкинской поры, написанное в пастельных тонах, поэтому действие происходило за тюлем — лёгкой занавеской, которая придавала изображению графичность. И только на поклонах тюль поднимался. Много времени уходило на грим — Станицын и Топорков добивались портретного сходства героев. Гремиславский, когда меня гримировал, ставил перед собою на столике знаменитую акварель Натали Пушкиной кисти Карла Брюллова.

«ГДЕ СПАЛА ВАША ГЕРОИНЯ?»

Натали в «Последних днях» произносила несколько французских фраз, поэтому Саричева определила меня к внучке Константина Сергеевича, которая занималась с артистами. В своё время она воспитывалась в Париже и свободно говорила по-французски. Внучку звали Кирилла, но в семье с лёгкой подачи К. С., чаще употребляли другое имя — Киляля. Ей позвонили, сказали, что нужна помощь, и Киляля вызвала меня к себе — в двухъярусную квартиру в Брюсовом переулке.

Просторный холл, шкафы с книгами. На стене, разумеется, портрет Константина Сергеевича. В такой обстановке трудно сосредоточиться. Передо мной сидела внучка великого режиссёра, меня окружали его личные вещи… И я тихонечко пыталась подсмотреть, какие книги стоят на полках, чьи фотографии висят на стенах. Радовалась, если видела книгу, которая есть и в моей скромной библиотечке. Мы немного позанимались, и я, конечно, не выдержала — завела разговор о МХАТе.

Вдруг на втором ярусе раздался тихий стук костылей. Кто-то подошёл ближе к лестнице, и я услышала оттуда голос Марии Петровны Лилиной:

— Киляля, приведи её ко мне. Немедленно приведи!

Мария Петровна опиралась на костыли, потому что у неё была ампутирована нога. Какие страшные боли она испытывала… Говорила, что в чём-то виновата перед Константином Сергеевичем. Позже я узнала, что ей одно время нравился Качалов, и вроде романа не было, но сам факт вызывал у неё беспокойство. Невыносимые боли Мария Петровна считала наказанием за это. Она говорила:

— Я приду к Косте очищенной.

И верила, что страдания очищают душу.

Несмотря на болезнь, Мария Петровна выглядела очень по-светски. Припудрена, с хорошей причёской, взбитые волосы, в элегантном наряде. Она усадила меня в кресло и по-барски сказала внучке:

— Ты свободна.

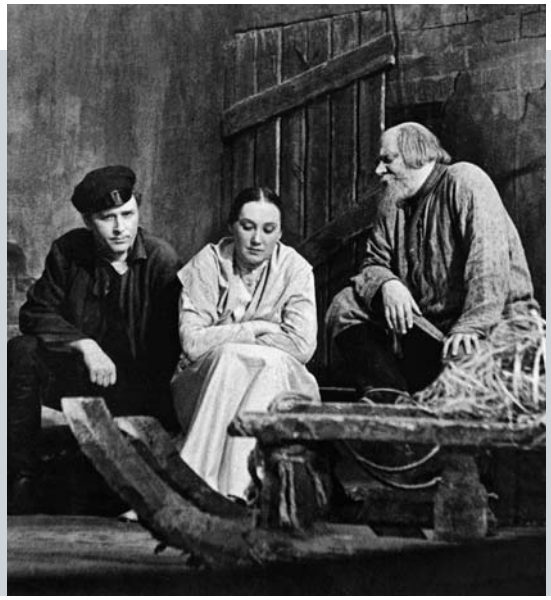
— Ну, деточка, расскажите подробнее о вашей героине, — эти слова обращены уже ко мне.

Я словно оцепенела. Что рассказывать? Наговорю сейчас глупостей, а потом век не прощу себе этого.

— Ну что же вы молчите? — продолжала Лилина.

Передо мной сидела любимая актриса. Школьницей, я видела её в «Анне Карениной» (замечательно играла Вронскую) и на всю жизнь запомнила её Карпухину в «Дядюшкином сне». Поговаривали, что если бы Константин Сергеевич давал ей роли, соответствующие таланту, то именно она была бы ведущей актрисой раннего МХАТа, а вовсе не Книппер-Чехова.

Она, несомненно, бросила свою жизнь под ноги Станиславскому, хотя это была чудесная пара. Неспроста в тридцатые годы в театре



40 Кира Иванова в роли Наташи. Спектакль по пьесе М. Горького «На дне». 1939 г.

41 Мария Петровна Лилина. *Фото А. Горштейна*

ходила байка о верности Константина Сергеевича своей жене: когда Айседора Дункан пыталась его соблазнить, в самый решительный момент он сказал:

— Я должен посоветоваться с Марией Петровной.

С Лилиной мы встречались два или три месяца. Она разбирала со мной роли, причём так интересно и дотошно, что я не хотела уходить. Прежде всего требовала не ограничивать фантазию в ролях.

— Что ваша героиня сегодня ела? А где спала? О чём она сейчас думает? — в общем, задавала самые невероятные вопросы.

Когда обсуждали Наташу из спектакля «На дне», Мария Петровна попросила меня принести из кухни посуду и показать, как Наташа ест. Я села, склонилась над пустой миской, будто бы в ней горячая каша, и стала смотреть на воображаемую еду голодными глазами, затем схватила ложку и жадно заскрежетала ею по металлической посуде. Мария Петровна не знала, что в ту минуту я действительно очень голодна. И моё внутреннее состояние полностью совпадает с поставленной задачей. Лилина молчит, а, значит, я играю блестяще. Дай-ка, думаю, ещё больше её удивлю и оближу ложку. Но вдруг слышу:

— Кира, что вы делаете? Смотрю я на вас уже несколько минут, и у меня не возникает впечатления, будто вы голодны. Что вы

сделали с ложкой?! Вы же размахиваете ей, как будто объелись и на еду уже смотреть не можете.

Такое вот голодное творчество… И виной тому — пустая миска. Но ведь Мария Петровна очень точно определила моё состояние — я действительно думала не о Наташе, склонившейся над едой, а о том чувстве голода, которое мучает лично меня в данную минуту. Если разобраться: я сидела так же, как и Наташа, молчала так же, как и Наташа, жевала, как жуют все… Но это не годилось для сцены. Лилина чувствовала фальшь.

— Не верю, — сказала я в шутку. Но Лилина промолчала.

Мне даже стало на мгновение не по себе, так бывает, когда собеседник видит тебя насквозь.

— А чем Наташа набивает подушки? — неожиданно спросила она.

Так началось следующее упражнение, однако отвечать на вопросы порой было мучительно. Чем больше я старалась не ударить в грязь лицом, тем более нелепые ответы у меня получались. Лилина цеплялась за них и задавала следующий вопрос. Здесь я уж не знала, куда деваться.

— Откуда вы взяли, что Наташа спит на такой постели? — продолжала она. — У Наташи не могло быть таких одеял. Наташа не повернулась бы так.

Я что-то лепетала в ответ, а у Лилиной уже готов был следующий вопрос:

— В каком платье вы себя видите?

Я пыталась описать фасон…

— Нет, нет, так не подходит, — говорила Мария Петровна. — Я хочу, чтобы вы подробно рассказали, из какой ткани, какого цвета, как надевается. В актёрском деле не может быть случайных деталей.

Она подарила мне несколько книг. И на одной из них написала: «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве. И учитесь фантазировать в ролях — тогда из вас получится хорошая актриса».

Когда театр был в эвакуации, из всей труппы в Москве осталась лишь одна Лидия Михайловна Коренева: не могла бросить больную Лилину, с которой её связывали долгие годы общения и дружбы. Вообще Коренева всегда считалась приближённой семьи Станиславского. Ей же выпала участь хоронить Лилину в августе 1943 года.

ГЕРОЙ «ТЕАТРАЛЬНОГО РОМАНА»

Когда МХАТ вернулся из Свердловска, я ходила по разрушенному городу и не узнавала улиц. Бомба попала и в наш дом у Никитских ворот, где памятник Тимирязеву (здание не сохранилось). За время моего отсутствия комната в коммунальной квартире, ясное дело, пришла в запустение, и меня стали одолевать крысы и мыши. Ночью они прыгали на постель, я визжала, вскакивала и отгоняла их палкой. Конечно, это не помогало. К тому же, мой визг мешал бесчисленным соседям, которые ночевали в коридоре. А с ними у меня и без того были сложные отношения. Например, когда я возвращалась домой после спектаклей и обходила раскладушку, на которой спала уборщица из редакции «Правды», мне вслед непременно доносилось:

— Шмонаются тут всякие бл…и.

Из-за крыс и мышей я не высыпалась и стала худеть. Наконец, кто-то в театре принёс мне кота Яшку, который оказался прекрасным охотником, но вскоре у него стал расти живот, и оказалось, что Яшка женского пола… В годы войны котят в Москве разбирали со скоростью звука, поскольку мыши тогда были у всех. Ещё одной приметой стали бесконечные переезды. В наш подъезд вселялся старик, который увидев, в каком состоянии дом, упал на колени и стал умолять рабочих не тащить пианино на второй этаж, поскольку обрушится перекрытие. И оно вскоре действительно обрушилось, правда, не от рояля, а от бомбы. Из этих руин в конце 1942 года я и переселилась к Фёдору Николаевичу Михальскому, который приютил меня в своей просторной квартире на Тверской, недалеко от театра.

Фёдор Николаевич — не только блестящий администратор, но и на редкость остроумный, добрый человек. О его готовности помогать в трудную минуту можно рассказывать бесконечно. Вот и я благодаря ему не осталась на улице. Как раз освободилась комната, где раньше жила актриса Мария Григорьева (Николаева). Фёдор Николаевич опасался, что к нему подселят кого-нибудь шумного или скандального, поэтому поспешил пригласить меня. Он знал, что я не стану выносить сор из избы. Отдавая мне ключи от соседней комнаты, сказал:

— Живи, не обращай на моих гостей внимания, и главное — никаких Лебедевых.

Лебедева — это артистка, о которой я уже рассказывала. Михальский её считал сплетницей, но это не мешало мне дружить с ней. Сегодня, наверное, её никто уже не помнит — артистка она была так себе. Например, в одном из спектаклей ей предстояло играть сумасшедшую, но ничего не получалось. И постановщик Сахновский кричал главному режиссёру Раевскому:

— Иосиф, она выздоровела!

В том смысле, что сумасшедшая из неё никакая.

Михальский мне доверял, и я этим дорожила, так что особо и не рассматривала, кто к нему ходит и зачем. Но помимо встреч тет-а-тет Фёдор Николаевич устраивал и большие театральные посиделки. Тогда квартира превращалась в театральный клуб — здесь можно было увидеть самых знаменитых композиторов, актёров, писателей.

Вскоре на эти посиделки была допущена и я, так что теперь могла приглашать своих приятелей — Петю Чернова и Юру Леонидова, а потом к нашей компании присоединился сам Хмелёв. Разговоры об искусстве перерастали в споры, анекдоты сменялись музыкальными экспромтами. Так могло продолжаться до утра… Помню, как однажды Москвин взял гитару и замечательно спел дуэтом с Тарасовой, а я при этом сидела в уголке и старалась помалкивать.

Фёдор Николаевич пользовался беспрекословным авторитетом, даже люди из других театров шли к нему за советом, потому что он был в курсе всех дел. А ещё он был одним из первых в Москве, кто читал «Мастера и Маргариту» задолго до того, как рукопись напечатали (текст ему давала Елена Сергеевна), а «Театральный роман» знал, наверное, наизусть. Кажется, от Михальского я и узнала о непростых взаимоотношениях Булгакова с Художественным театром и о том, что в своём романе тот описал мхатовскую закулисную жизнь. В 1965 году сын моей подруги Антонины Чайковской Володя Лакшин (замечательный литературовед и критик) опубликовал это произведение в «Новом мире». И, конечно, многие мхатовские старожилы

приняли произведение в штыки. Например, Лидия Михайловна Коренева, описанная как скандалистка Пряхина, первая позвонила Елене Сергеевне Булгаковой и наговорила грубостей…

Комнату Фёдора Николаевича украшал изысканный фарфор, но много было и стеллажей с книгами. Он изучал театр, мировое искусство — не зря Немирович-Данченко прозвал его «талантливым администратором» и на склоне лет советовался, нужно ли реорганизовать труппу.

Пожалуй, более дисциплинированного человека, чем Михальский, в театре не существовало. Он бесконечно всё проверял. Рассказывали, как однажды на спектакль пришёл председатель правительства Алексей Рыков, и в гардеробе у него пропали калоши. Хватились после спектакля — нет калош. Ну, нет так нет. Рыков человек не бедный, махнул рукой и пошёл к выходу, но уже на улице под проливным дождём его настиг Михальский. Рыков, стоя в луже, сказал:

— Да, Боже мой, забудьте про них — ничего страшного. Кому калоши нужны? Видимо, гардеробщик по ошибке отдал их другому зрителю.

Сел в машину и уехал. Но Фёдор Николаевич, вернувшись в театр, построил гардеробщиков и капельдинеров в шеренгу:

— У председателя — хотел сказать *РСФСР*, но понял, что не выговорит или ошибётся в аббревиатуре, и сказал — *почти всей России* украли калоши! И главное — где?! В нашем театре! Это такой позор! Такой стыд! Завтра же всех уволю, если калоши не найдутся.

Тогда один из капельдинеров упал на колени:

— Батюшка Фёдор Николаич, храни тебя Господь! Это мы виноваты! Ты не виноват…

Чем закончился инцидент, история умалчивает. Но, говорят, на следующий день несколько человек принесли из дома собственные галоши, чтобы загладить вину — тогда это было в правилах МХАТа.

К окошку Фёдора Николаевича всегда выстраивалась очередь. Бесплатные билеты хотели получить все — от бедных студентов до кремлевских чиновников. И если для голодного студента это была, пожалуй, единственная возможность попасть в театр, то для чиновника — скорее, дело престижа, причём некоторые любили

припугнуть администратора, ссылаясь на какие-то громкие имена. Но Фёдор Николаевич ничего не боялся, он говорил:

— Знаешь, Кира, мне и не нужно человека ни о чём спрашивать. По глазам вижу — обманывает он меня, чтобы получить билет, или нет.

Однажды он пришёл на работу в неважном самочувствии. К окошку давно выстроилась очередь, а наш доктор Иверов тем временем принёс ему пилюлю, которая моментально подействовала,

42 Кира Иванова (*справа*) с коллегами (*слева направо*): Елизавета Ауэрбах, Галина Шостко, неизвестный и Маргарита Юрьева (?)
Фото из Музея МХАТ

43 Легендарный администратор Художественного театра Фёдор Николаевич Михальский

как слабительное. Кудрявцев оказался невольным свидетелем и позже рассказывал мне: Фёдор Николаевич только открыл окошко, чтобы выписать контрамарки, как тут же закрыл его. Очередь возмутилась. Через пять минут открыл снова. Протянул пару билетов и опять исчез. А если учесть, что в очереди многие стояли по несколько часов, то легко представить себе степень накала.

И ещё один эпизод, связанный с этим замечательным человеком. У него была экономка Ольга, которую он называл на дореволюционный лад — бонна. Жила в одном из соседних переулков, в коммунальной квартире, как и все в войну, голодала, но исхитрялась неплохо кормить нас с Фёдором Николаевичем. В начале месяца она забирала наши карточки на продукты и каждую неделю

варила обеды. Это был, конечно, эконом-вариант, о деликатесах никто и не мечтал, но получалось сытно.

Когда я вышла замуж, сейчас же подарила Ольге дорогую сумку, вложила туда деньги, разные вкусности, что-то из одежды. Но она не хотела брать. Плакала:

— Не надо, Кирочка, не надо.

Но я же знала, как ей нелегко жилось, и деньги были нужны, потому что получала она гроши.

В ЛОЖЕ СИДЕЛ СТАЛИН

Частым гостем МХАТа был Сталин. В правительственной ложе он всегда появлялся в полутьме, садился вглубь, чтобы его не видели из зала. Но мы-то знали, что он пришёл, поскольку в такие дни за кулисами было много охранников: заглядывали к нам в гримёрки, внимательно осматривали декорации. Хмелёв в «Днях Турбинных» носил деревянный пистолет в кобуре, так он едва не опоздал на сцену из-за того, что охрана тщательно осматривала этот муляж. Они ужасно нам мешали — лезли во все дела, и однажды во время «Тартюфа» за кулисами раздался истошный крик. Оказалось, что один из работников НКВД заснул, и, когда стали менять декорации, на него что-то уронили… Спектакль остановился на несколько мгновений, в зале повисла тишина, но кто-то из артистов моментально прервал эту паузу, произнеся реплики, которые полагались по пьесе. Постепенно всё вернулось на свои места, но чем кончилось дело там, за кулисами, я не знаю. Могли ведь кого-нибудь и арестовать якобы за покушение на сотрудника НКВД, а то и на «отца народов». Впрочем, тогда об этих вещах не принято было говорить.

В годы войны мне стал оказывать знаки внимания начальник правительственной ложи — типичный энкавэдэшник — молчаливый, маленького росточка, с очень скользкой манерой общения. Но рядом со мной он вдруг становился «красноречивым». Красноречие заключалось в том, что он сперва провожал меня взглядом, потом что-нибудь спрашивал, но о себе не говорил ничего. Правда, однажды пригласил в кино, но я отказала. А ещё был во МХАТе художник Владимир Дмитриев, которого из-за

внушительной внешности часто принимали за «работника органов». Например, в поездах его переводили из общего вагона в люкс без всяких доплат. Однажды Дмитриев появился в театре с лауреатским значком на груди. Тогда начальник правительственной ложи подозвал меня и спросил:

— Кира, а что, уже наших стали награждать?

Он тоже был уверен, что Дмитриев — сотрудник «Лубянки»…

В 1945 году меня ввели в спектакль «Горячее сердце» Островского на роль Параши. И Сталин смотрел его не раз. Он приходил не из-за меня, естественно, но очень любил эту вещь, равно как и «Дни Турбиных». Как бы я ни уговаривала себя не смотреть в ложу и не думать о высоком госте, всё равно краешком глаза видела его усы… И колени у меня подскакивали так, что приходилось держать их руками, — настолько было страшно.

Сталин для театра был не только верховным цензором, важнейшим зрителем, но и выполнял в какой-то мере руководящую функцию. Он был в курсе всех дел, происходящих за кулисами, хотя подчас притворялся (известно, например, что про Тарасову спрашивал в антракте: «Она ведь народная артистка?» — в ту пору, когда Тарасова была ещё только заслуженной). Кира Николаевна вспоминает сталинскую охрану и начальника правительственной ложи. Был в числе этой «кремлёвской обслуги» и своего рода «официальный стукач» — зав. отделом культурно-просветительной работы ЦК ВКП(б) Александр Сергеевич Щербаков, который регулярно организовывал в театре собрания и диспуты. Он же докладывал о своих наблюдениях в Кремль, например, таким способом:

3 августа 1935 г.
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину И. В.
Тов. Андрееву А. А.
Тов. Ежову Н. И.

По поручению секретарей ЦК ВКП(б) Отдел культурно-просветительной работы ЦК ознакомился с положением МХАТ им. Горького.

За последнее время внутри театра весьма обострились отношения между отдельными группами работников. В связи с этим настроение ряда артистов МХАТ подавленное. Это особенно сказалось при обсуждении речи товарища Сталина на выпуске военной академии. Обсуждение проводилось в течение 2-х дней (2 и 3 июня). На этом собрании народными и заслуженными артистами, деятелями искусства и некоторыми крупнейшими актёрами театра откровенно были поставлены больные вопросы из жизни МХАТ. <…>

Заслуженная артистка Коренева, заслуженный артист Станицын и режиссер Горчаков рассказали о мытарствах актёров, занятых в пьесе

«Мольер» (первая репетиция этой пьесы началась, когда строилась первая шахта метро, но спектакль до сих пор не готов). Народный артист Тарханов, сравнивая старый и новый МХАТ, сделал вывод, что театр всё больше заболевает и что его засасывает формалистика и бумажная волокита. <...>

При оживленной поддержке аудитории заслуженный артист режиссёр Сахновский подчеркнул, что основная беда заключается в отсутствии единого руководства: два руководителя театра — Станиславский и Немирович-Данченко никогда ничего ясного не говорят (с места реплика тов. Тарасовой — «сумасшедший дом»). Встреченный овацией народный артист Леонидов также заявил: «Самое главное заключается в том, что у нас 2 директора. Вообще бывает один директор, а у нас два. Кроме того, за 36 лет своей работы они не могли согласовать своих взглядов. И поэтому оба эти директора имеют по театру, куда они отдают больше своих сил».

В итоге двухдневных прений собрание приняло постановление, подписанное по поручению собрания Качаловым, Леонидовым, Книппер-Чеховой, Тархановым, Сахновским, Тарасовой, Судаковым, Станицыным и Марковым. Указывая на исключительное внимание партии и правительства к театру, собрание отмечает отставание театра от жизни, отсутствие определенной художественной линии и нужных темпов. Собрание считает, что нужно разгрузить Станиславского и Немировича-Данченко от административно-организационной работы, поставив во главе театра директора.

Эти события в МХАТе не являются, разумеется, случайными. Они результат той внутренней борьбы, которую ведут между собой Станиславский и Немирович-Данченко. Театр переживает тяжёлый кризис. Нужно срочно помочь ему. <...>

Зав. отделом культурно-просветительной работы ЦК ВКП(б)
А. Щербаков

ПИРОЖКИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

24 сентября 1943 года мне сообщили, что заболела Степанова и поэтому играть Натали в «Последних днях» буду я. Нервничала, словно перед экзаменом: недотянешь немного и навсегда потеряешь роль, тем более что на спектакль может прийти Немирович-Данченко.

Но днём вдруг позвонила Ангелина Иосифовна — сказала, что чувствует себя лучше и потому просит не искать замену. Я расстроилась: теперь неизвестно когда у меня снова появится шанс сыграть эту роль и, самое ужасное, что Немирович будет смотреть

на Степанову, а не на меня. Боль, обида, отчаяние… Сижу в гримёрке, но вдруг сообщают, что «Вишнёвый сад», который шёл на другой сцене, заменили «Дядюшкиным сном». А Степанова играла там Зиночку, и это означало, что одновременно в двух спектаклях она никак участвовать не сможет…

В семь часов открылся занавес и, перекрестившись, я вышла на сцену. Первая картина прошла успешно, затем вторая, третья… После седьмой ко мне пришла уверенность, что всё идёт, как надо. Наконец, финал, раздаются овации, и я понимаю, что они адресованы мне. А потом были подарки, цветы… Домой возвращалась счастливой. Думала: «Хорошо бы завтра рассказали Немировичу-Данченко (он на спектакль не пришёл), как я играла. Может быть, он окончательно утвердит меня в роли Натали!»

Дома меня поздравил Михальский. После полуночи легла спать, а под утро проснулась от странной суматохи на кухне и каких-то всхлипов. Встала — пошла туда и увидела выпившего Михальского, который утирает слёзы.

— Умер Немирович, — сказал он мне.

— Когда?

— В половину третьего…

Мы обнялись — это был удар для нас обоих… «Значит, Владимир Иванович так никогда и не узнает, как я сыграла», — подумала я и в ту же минуту испугалась, насколько цинично звучит эта мысль. Долго не могла уснуть. На следующий день пошла в театр, где уже был открыт доступ к телу. Горы цветов в фойе, и портрет в траурной раме. Но о самих похоронах сказать не могу, поскольку администратор Игорь Владимирович Нежный отправил меня с концертом в какую-то глубинку.

В последние годы жизни Игорь Владимирович Нежный работал администратором во МХАТе и в Центральном театре кукол, в годы Великой Отечественной войны создал вместе с Леонидом Утёсовым небольшую труппу — артисты давали концерты в воинских частях, на агитпунктах, в казармах. Но начинал свою деятельность в цирке, а в 1930-х годах стоял во главе Московского мюзик-холла. Фамилия Игоря Владимировича не раз становилась поводом для шуток. Однажды в мюзик-холле устраивалось сатирическое обозрение Демьяна Бедного «Как 14-я дивизия в Рай шла». Автор пьесы сидел в кабинете Нежного и стал случайным свидетелем, как Нежный круто распекает своего нерадивого сотрудника. Когда тот ушел, Демьян сказал: «Я вижу, ты такой же Нежный, как я — Бедный…»

…Продолжалась война, но удивительно, что на фоне этой нищеты никуда не исчезла стоянка такси в проезде Художественного театра. Однажды в мороз я наблюдала такую картину: стоит длинная очередь, нет ни одной машины. И вдруг кто-то вздохнул:

— Ах, как плохо без такси…

Эту фразу услышал поэт Михаил Светлов, который жил напротив театра и тоже ждал машину, и мгновенно продолжил с одесской интонацией:

— …Жить еврею на Руси.

Публика засмеялась.

И ещё — в войну в театре продолжал работать буфет. Буфетчица Мария Ивановна умела разговорить даже мёртвого, выведать, кто женился, развёлся, сошелся, родил, недородил… Я думаю, что этот дар посильнее актёрского. К концу войны Мария Ивановна сделалась самым осведомлённым человеком в театре, из-за чего многие её стали побаиваться. Когда я вышла замуж за адмирала, артист Владимир Грибков всё уговаривал меня:

— Кира, ты многого-то не проси у мужа. Только одну пушечку. Мы стрельнём один раз и сразу убьём, кого нужно.

Имелась в виду, конечно, Мария Ивановна.

А в годы войны была такая история. Стою я в очереди. Передо мной — актёры, как тогда говорили, «на разовые выходы», Бурдюжа и Гаира. Бурдюжа был такой лысенький, маленького роста, играл во всех пьесах, где надо было читать молитвы (во МХАТе была частушка: «Что нам досталось от старого мира? Бурдюжа и Гаира»). Ещё передо мной стоит Борис Николаевич Ливанов. И вот подходит его очередь. Мария Ивановна обожала Ливанова. Она, затаив дыхание, спрашивает:

— Борис Николаевич, что вы желаете?

— Пожалуйста, мне бутерброды с ветчиной и бурдюжей.

Буфетчица растерялась, посмотрела на Бурдюжу и сказала:

— Так ведь Бурдюжу ещё не завезли.

В 1943 году меня ввели на роль губернаторской дочки в «Мёртвые души», которую прежде играла Нора Полонская (последняя любовь Маяковского. — *В.Б.*). Кстати, с Полонской у меня были неплохие отношения. В театре она раскланивалась со мной, но не помню, чтоб мы беседовали о Маяковском: по-моему, она редко обращалась в разговоре к той драматичной истории любви.

Сегодня, когда говорю о ней, первым делом вспоминаются светлые вьющиеся волосы. И я понимаю Маяковского: в неё можно было влюбиться. Когда она курила пахитоску, никто не мог глаз оторвать. Красавица! Кроме губернаторской дочки других её ролей я не помню. Видимо, она ничего и не играла. Потом ушла из МХАТа. Мы встречались изредка на улице или в транспорте. В последний раз я Нору узнала с трудом — до такой степени она была измученной, опустившейся, в задрипанном пальтишке. Поздоровалась со мною мимоходом, и я поняла, что условия её жизни не самые лучшие, и ей неприятно об этом говорить. Больше мы никогда не виделись. И я ругала себя: а если ей нужна была помощь? Даже если бы послала меня к чёрту — надо было поговорить с ней…

Впрочем, вернусь к «Мёртвым душам». Спектакль был поставлен Немировичем-Данченко (инсценировка Михаила Булгакова) и шёл в репертуаре с 1932 года. Меня вводила в роль Елизавета Телешева. Кстати, с первых дней репетиций она старалась определить меня и на «Мосфильм», поскольку шла война, жили мы трудно, а съёмками в кино можно было «подкормиться». Не то у неё роман был с Эйзенштейном, не то их связывала давняя дружба, но в общем, она меня к нему направила. Я пришла к Сергею Михайловичу, он взглянул на меня и сказал, что «будет иметь в виду». Однако для съёмок набрал других артисток.

45 1945 год — актёры МХАТа на демонстрации, Кира Иванова — вторая справа в первом ряду

В «Мёртвых душах» на мне было дивное платье из белого крепдешина с шёлковыми оборочками, хотя роль-то небольшая, но я её очень любила. Ноздрёва гениально играл Борис Ливанов. В одной из сцен он появлялся в дверях со словами:

— Поцелуйчик влеплю!

И летел к Чичикову, сбивая меня с ног. Я почти что падала, но меня ловили. Так было задумано режиссёром. Но однажды поймать не успели, я грохнулась, а Ливанов тоже споткнулся и меня придавил. Зрители ахнули. Но Ливанов не испугался. Лежит на мне, хохочет — он был невероятно смешлив — и вдруг я тоже не удержалась. Идёт спектакль, а мы как ненормальные давимся от хохота. Нам помогли подняться. Мы бодро доиграли, я вернулась за кулисы и только там почувствовала угрызения совести: мы ведь едва не сорвали спектакль. Полночи мучилась, на следующий день ждала разносов и гневных приказов, но мне никто и слова не сказал: то ли пожалели, то ли просто забыли…

Свою трактовку «Мёртвых душ» Булгаков очень любил. И какие актёры играли! Грибов, Станицын, Хмелёв, Ливанов… Известно письмо Булгакова к Станиславскому, в котором тот пишет, что «Мёртвые души» — «театральное волшебство». Это пишет драматург, который не раз жаловался, что МХАТ выпил из него три литра крови. Спектакль шёл в репертуаре до начала 1950-х годов. Правда, во время войны посещался хуже — публика хотела смотреть другие вещи.

Говорят, что боль трагедии делает человека взрослее. В годы войны я повзрослела, наверное, лет на пятнадцать. Каждый день мне рассказывали о молодых ребятах, моих сверстниках, которые спасали своих однополчан ценою собственной жизни.

В числе писем, полученных актрисой в годы войны, есть одно с описанием деревни, откуда только недавно ушли фашисты. Письмо подписано именем Юра, однако фамилия не указана, невозможно установить её и теперь: в молодости Кира Николаевна переписывалась с множеством молодых людей.

«Август 1943 года. По разбитым дорогам и диким бурьянам носится, уже чувствуется, осенний ветер, холодный и сырой, сдувая капельки воды с тёмно-зелёных листьев дырявых лопухов, и, поднимая рябь в колеях дороги, пронзительно воет на чердаке полуразрушенной избёнки, где бегают белые зайчики, отражённые грязными лужами. Солнце словно напрягает все свои небесные силы, чтобы подсушить хотя бы немножко

природу, но что оно может сделать с климатом Ленинградской области, где Дождь называется с большой буквы. Среди чертополоха и лебеды, присмотревшись, можно разглядеть груды кирпичей и чёрно-сизых железок — это всё то, что осталось от большой деревни поле пребывания здесь немцев.

Немного в стороне, у большака стоит доска, на которой написано:

"Товарищи! Здесь были немцы, они сожгли 34 дома и расстреляли 38 жителей (дальше идёт список от 12-летних до 75-летних советских граждан). Запомни! И отомсти!" Там же были они — опустошение и бурьян. У дорог стоят только указатели — название населённых пунктов, а поодаль доски с крупными буквами: "Товарищ!" Этих досок десятки и сотни».

Я и сама помню раненого парня, которому решила прочитать письмо, полученное им из дома. Дело было в эвакогоспитале. Он лежал под одеялом, а я читала, что дома его ждёт молодая жена, которая страшно сожалеет, что война наступила через месяц после их свадьбы. Читаю и вдруг вижу, что парень плачет.

— Куда же я теперь в таком виде, — сказал он и приоткрыл одеяло.

Я ахнула. Оказалось, что вчера ему ампутировали обе ноги.

А сколько щемящих сердце историй рассказывали мне коллеги, которые участвовали во фронтовых бригадах! Татьяна Панкова из Малого театра довела до слёз своим рассказом о том, как фашист крохотную девочку застрелил. Жаль, что подробностей я уже не вспомню.

Невероятно, но историю удалось восстановить. Случай произошёл в 1943 году, когда бригада Малого театра, в которой участвовала Татьяна Панкова, прибыла в освобождённую Полтаву. Ещё вчера здесь были фашисты, сегодня — догорали дома, но возобновилась жизнь. «Люди шли на рынок или навестить родственников, — говорит Татьяна Петровна. — Помню, мы с Михаилом Царёвым шли по центральной улице, и вдруг к нам подходит измученная старуха: "Ой, родненькие мои, — запричитала она. — Скажите, но ведь не виновата же я, что внучку свою не сберегла…"

Мы с Царёвым не знали, что ответить. Остановились молча, а она стала рассказывать, как при оккупации города в квартире поселился немец. Он никого не трогал, да и они относились к нему спокойно и даже пару раз угостили похлёбкой. Но когда началось отступление, на глазах у бабушки фашист позвал внучку на крыльцо. Он не держался за пистолет, но внучка обо всём догадалась — упала в ноги, щекой прижалась к голенищу сапога и замерла. Тогда немец побледнел, закурил и отшвырнул портсигар в сторону. Девочка бросилась за портсигаром, чтобы как собачонка принести ему. Но он выстрели ей в спину на глазах у несчастной старухи. Она ждала от нас с Царёвым утешения, повторяя: "Все меня попрекают, почему я этого не предусмотрела. Но разве я могла такого ожидать? Он же белые перчатки носил…"»

…По окончании концертов мне непременно задавали вопросы о театре. И тут я чувствовала, что освоилась в этой мхатовской жизни, обзавелась приятелями, а судьба была щедра на интересные знакомства. Например, у нас служила актриса Фаина Васильевна Шевченко, которую я первое время побаивалась за её грозный вид. Она это замечала и раскатистым театральным тембром говорила:

— Кира, ну почему вы прижимаетесь к стенке? Хотите подчеркнуть мою полноту?

А там просто узенькие лесенки были, и я не знала, как с ней разойтись, чтобы не задеть. Шевченко играла Василису в «На дне», а ближе к окончанию войны мы узнали, что обе будем играть в «Горячем сердце». В гримёрке Фаина Васильевна мне говорила:

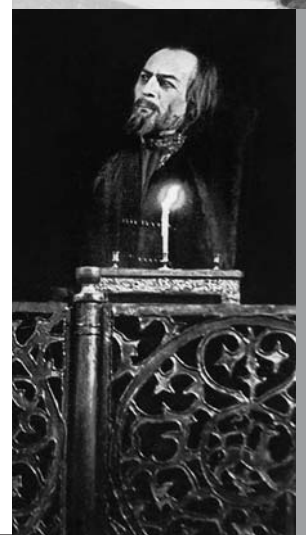
— Эх, Кира, если наступит победа, первое, что я сделаю, напеку пирожков и помчусь на улицу — угощать солдат!

9 Мая 1945 года был одним из самых счастливых дней моей жизни. Долгожданная Победа! Вскоре я поинтересовалась у Фаины Васильевны, испекла ли она пирожки.

— Испекла, Кира, испекла, — ответила она. — Мы с сестрой целый таз этих пирожков сделали, сестра спустилась к Телеграфу, и у неё всё расхватали за несколько секунд!

ГЛАВА 6

МНОГОЛИКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ



«ЗАЧЕМ ТЫ ОБИЖАЕШЬ ВЕЛИКОГО АРТИСТА?»

Среди артистов МХАТа был человек, чьё имя я не могла произносить без душевного трепета. Он покорил меня ещё в те времена, когда школьницей я увидела спектакль «Царь Фёдор Иоаннович». Речь идёт о Николае Павловиче Хмелёве. Мне доставляло наслаждение наблюдать, как он репетировал и играл в «Дяде Ване», «Анне Карениной», «Днях Турбиных», «Земле», когда я сама уже была в труппе театра.

У Хмелёва не было амплуа — настолько разные характеры он создавал на сцене. Казалось бы, ничего нет общего между дворником Силаном из «Горячего сердца» и мудрым доктором Астровым из «Дяди Вани», но Хмелёв всякий раз был убедителен — блестяще выстраивал логику персонажа… У него между жизненной правдой и искусством всегда был очень тонкий зазор. Случалось, зрительское восприятие начисто эту грань стирало. Герои Хмелёва были и одержимыми, и совсем обычными, и не от мира сего, и очень ранимыми, и на редкость сговорчивыми, мало себя ценившими.

В годы войны по заказу МХАТа Алексей Толстой работал над циклом об Иване Грозном. «Трудные годы» должны были стать одной из пьес этого цикла, и главную роль предстояло сыграть Хмелёву. В 1943 году начались репетиции, но я в них не участвовала, потому что княгиню Анну Вяземскую играла Алла Константиновна

Тарасова, а её Мамку — Нина Тихомирова. Больше женских ролей в спектакле не было, поэтому я и на читку не пошла, за что всю жизнь себя ругаю, ведь пьесу читал сам автор — граф Алексей Николаевич Толстой! Кстати, такой же нелепый случай произошёл, когда свою пьесу «Пушкин» читал во МХАТе Булгаков. Тогда из-за насморка я осталась дома — и разве можно было предположить, что другой возможности увидеть писателя никогда уже не будет!

О Булгакове в театре ходили легенды. Рассказывали, что человек он был талантливый, тонко чувствующий, ранимый и порой нервный. Актёр Григорий Григорьевич Конский, который в сезон 1934—1935 годов играл с Булгаковым в «Пиквикском клубе» и делил с ним одну гримуборную, вспоминал, как однажды Михаил Афанасьевич пришёл на спектакль мрачный.

— Что с вами, Михаил? — спросил артист у писателя.

— Представляешь, соседи уехали…

— Ну и что?

— Они не выключили радио, и я не мог заснуть всю ночь или отдохнуть днем…

Несмотря на разницу в возрасте, Конский дружил с Булгаковым. Я думаю, у них и правда было много общего. Два потомственных интеллигента: один — сын профессора богословия, другой — сын юриста. Они в суровые годы сталинщины понимали друг друга с полуслова. И, я думаю, понимали много больше об этой стране, чем рядовой пролетарий. Конский рассказывал мне, как блестяще играл Булгаков в «Пиквикском клубе» …

Однако вернусь к «Трудным годам». Вскоре репетиции на какое-то время остановились, поскольку Хмелёв выпускал «Последнюю жертву», но к началу следующего сезона они возобновились снова. О том, что я буду играть в спектакле, узнала неожиданно, встретив на лестнице раздражённую Тарасову, которая только что вышла из репетиционного зала:

— Кира, — сказала она, — я говорила сейчас с режиссёром (спектакль ставил Алексей Дмитриевич Попов. — *В.Б.*) и просила, чтобы роль княгини Вяземской играла ты. Меня совершенно извёл Хмелёв, хватит! Не собираюсь больше выходить с ним на сцену!

Я не знала, как реагировать. Почему Тарасова печётся вдруг о моей судьбе? Чем разозлил её Хмелёв? Почему Вяземскую хотят поручить именно мне? Стою в растерянности и только слышу

удаляющийся стук каблучков Аллы Константиновны. И вроде не догонишь — не спросишь, что мне делать. Наверное, минут пять я стояла между этажами — не могла собраться с мыслями…

На следующий день в театре тишина, никто ничего не говорит. Проходит ещё один день — снова тишина. Я успокоилась, думаю: «Ну, видимо, Алла Константиновна просто не сошлась характером с Хмелёвым, а теперь помирились, и она продолжает репетиции». Но вдруг мне сообщают, что Тарасова действительно больше не репетирует, поскольку Хмелёв не раз говорил, что для роли Вяземской нужны молодость и наивность, чтобы зрители могли поверить в эту придуманную Толстым любовь Ивана Грозного и княгини. Для наивности как раз и подходила моя кандидатура.

И всё бы хорошо, только ночами не могла уснуть — ожидала скандала, ведь в театре многие не знали, что Хмелёв уже полгода не здоровается со мной.

А причиной нашего конфликта была история, которая произошла в Саратове во время эвакуации. Мои соседки по гримуборной (Галя Шостко, Лиза Ауэрбах, Тамара Михеева и Женя Петрова), как я потом поняла, решили меня разыграть. О чем-то пошептались, а потом вдруг говорят:

— Кира, ты что, с ума сошла? Зачем ты обижаешь Хмелёва?

Я покраснела. Хмелёв для меня — солнце. Я не то что обидеть, а лишний раз взглянуть на него боялась. Но девчонки продолжали:

— Ты не отвечаешь на его поклоны.

Батюшки, как я стала оправдываться, лепетала что-то про любовь к театру, про моё к нему отношение. Но вдруг Ауэрбах замахала руками:

— Нет, Кира, нет. Он сам говорил, что ты с ним не здороваешься.

И я прямиком помчалась на сцену, где шла репетиция «Трёх сестёр» с Николаем Павловичем в роли Тузенбаха. Как раз был перерыв, и он отдыхал в импровизированной гримёрке за занавесочками. Я деликатно постучалась, зашла и сходу стала говорить:

— Николай Павлович, этого не может быть, я всегда с вами здороваюсь. Как вы могли подумать? У меня интеллигентные родители…

Хмелёв удивлённо на меня посмотрел и решил, вероятно, что я над ним издеваюсь, хочу подчеркнуть своё «благородство». Он вскочил и сказал:

— Не хотите здороваться и не здоровайтесь!

Надел шляпу Тузенбаха (ему нужно было идти на сцену) и почти выкрикнул:

— И не здоровайтесь, но не срывайте мне репетицию!

Девки были в восторге, хотя, конечно, изобразили сочувствие на своих лицах:

— Ну, Кирка, как ты теперь жить будешь?

Рыдала два дня. А потом поняла: надо писать заявление об уходе, поскольку из МХАТа всё равно меня выживут. О своём несчастье по возвращении в Москву рассказала только Зосе Пилявской. Она ничего особенного не ответила, разве что попросила несколько дней не подавать заявление. Как потом я узнала, она тем же вечером всё пересказала Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой. И Книппер, появившись в театре, первым делом подозвала меня:

— Постой, деточка. Запомни, что я тебе скажу. В театре так нужно жить: нашёл — молчи, потерял — молчи, и голову выше!

А потом погрозила мне пальчиком перед лицом:

— И никаких заявлений!

Приятельски шлёпнула меня по плечу, и мы попрощались. Думаете, у меня выросли крылья? Не то слово! У меня выросло шесть крыльев, и всё благодаря Зосе и Ольге Леонардовне!

Сейчас я понимаю, какой была наивной, ведь если бы я не устраивала Хмелёва, он давно бы расстался со мной и назначил на роль Вяземской другую. Но тогда я всё равно переживала и не знала, как наладить с ним отношения.

Поначалу на репетициях я не сталкивалась с Николаем Павловичем. Со мною занималась Мария Осиповна Кнебель. Но вот, наконец, пришло время совместных репетиций, и оказалось, что Хмелёв давно забыл обиду.

По пьесе первая встреча Грозного и Анны происходит в Успенском соборе Кремля, куда Анна пришла помолиться о том, чтобы её полюбил муж, а Грозный, прикрывшись тёмным платком, в простом платье подкрадывается взглянуть на молодую княгиню.

Анна с Мамкой стояли у переднего притвора, почти на авансцене, а Грозный появлялся из глубины — как бы из утреннего мрака собора — на фоне огромного лика Христа. Бил церковный колокол, монотонно читал дьячок, разносилось лёгкое эхо. По задумке Алексея Дмитриевича Попова я могла только один раз оглянуться

на Грозного, а всю сцену должна была вести, стоя к нему спиной. Очевидно, я так старательно изображала молитвенность и страх, что Хмелёв даже не стал со мной репетировать, а предложил такую «игру»: я буду стоять спиной, а он в глубине будет производить простейшие физические действия — поднимать руки, ноги, садиться, вставать, а я должна буду угадывать его движения. «Игру» подхватили работники театра и всласть смеялись надо мной, если я не угадывала. Позже я поняла, что Хмелёв затеял это лишь для того, чтобы снять ненужное напряжение и скованность.

Сцена получилась не сразу. Причём мучился и Николай Павлович. Он долго не находил способа логически оправдать свои отношения с Вяземской и изводил себя бесконечным поиском. Мне запомнилось его негромкое, но тяжёлое дыхание. Оно просто проникало в меня. И действительно становилось страшно, а, оглянувшись и увидев кроваво-огненные глаза Хмелёва-Грозного, я теряла равновесие.

И этим взглядом он изводил меня настолько, что я поняла, почему не выдержала Тарасова. Иногда режиссёр меня хвалил. Но это лишь для того, чтобы у меня окончательно не опустились руки. А Хмелёв держался в стороне от этих игр в этикет:

— За что вы её хвалите? — говорил он. — Она разве правильно действует? Мне нужно, чтобы каждый жест Вяземской был оправдан.

У меня тогда возникло жуткое недовольство собой. Каждый день я возвращалась домой с чувством, что роль мне не дается. Успокаивало только то, что репетиции никто не отменяет, и мы движемся к результату маленькими шажками.

Вскоре приступили к репетициям массовой картины «Ливония», где у меня с Хмелёвым было два эпизода. В первом мой муж, князь Афанасий Вяземский (артист Владимир Муравьёв), догадываясь о страсти Грозного к Анне и желая подольститься к царю, как бы сам предлагал её. Другая — в финале картины, когда моя героиня подносила царю-победителю кубок вина с низким поклоном, а он вытирал платком губы, осушив кубок, и целовал меня. Нежное прикосновение чуть-чуть дрожащих губ Хмелёва… И эти губы, этот горячий поцелуй я помню до сих пор. На первой репетиции от неожиданности я даже отшатнулась, поцелуй мне казался обжигающим.

Мучительно мне давался монолог Анны в сцене, где она вбегает на пригорок и видит, как бьётся с врагами Иван Грозный:

«Вот он, как молния сверкнул, конь под ним прыщет, рвы, канавы между копыт пускает! Стал у ворот, конь в землю по колена врос — вот как его конь встал у ворот! Пленные все ниц упали, стяги, знамёна перед ними наклонилися! А он, грозен, глядит, на шлеме солнце горит…»

Вопила я этот ратный монолог, как могла: и так, и эдак. Голос чуть не срывала — нужно было перекричать «опричников». Сцена ведь массовая. Попов очень возился со мной — предлагал разные варианты, но у меня ничего толком не получалось. Он всё время кричал из зала:

— Кира, голос! Кира, не слышу!

Когда надели на меня костюм алого шёлка, расшитый бирюзой и жемчугом, шапочку, отороченную собольим мехом, — монолог зазвучал ещё более фальшиво. Объявили перерыв. За кулисами с Николаем Павловичем мы столкнулись случайно — он прохаживался по коридору, перебирая чётки, и сказал:

— Кира, в этой сцене не ори. Когда любят, не орут.

Я сразу скисла, потому что он был прав…

На ближайшей репетиции свой монолог я прошептала и, конечно, получила замечания обоих режиссёров, а Хмелёв даже бровью не повёл и не пытался меня защитить…

— Кира, почему вы говорите тихо? Кого вы слушаете? — возмущался Попов.

Я же не могла ответить:

— Я слушаю гениального Николая Павловича Хмелёва.

В мучениях прошло несколько дней. И вдруг я почувствовала, как благодаря хмелёвской подсказке рождается новый монолог. Вроде бы не громкий, но в то же время напряжённый. Осложняло ситуацию то, что на сцене гремело оружие и дул ветер… Когда мне удалось, наконец, взять верные ноты в монологе, Николай Павлович в финальном поцелуе озорно мне подмигнул. Но очередного замечания долго ждать не пришлось. Буквально через несколько дней он снова сказал мне шёпотом:

— Плечи расправь, ты гнёшься.

Репетиции продолжались одиннадцать месяцев. И каждый раз Хмелёв изводил партнёров по сцене. Но труднее всего давалась картина «Ливония», где к разгорячённому удачным боем под Ревелем

Грозному приводят пленённого Магнуса (его играл Владимир Кириллин). Тот преклоняет колени, а Грозный очень резко наклоняется к самому лицу Магнуса и глухим тихим шёпотом почти шипит:

— Эх, Магнус, Магнус…

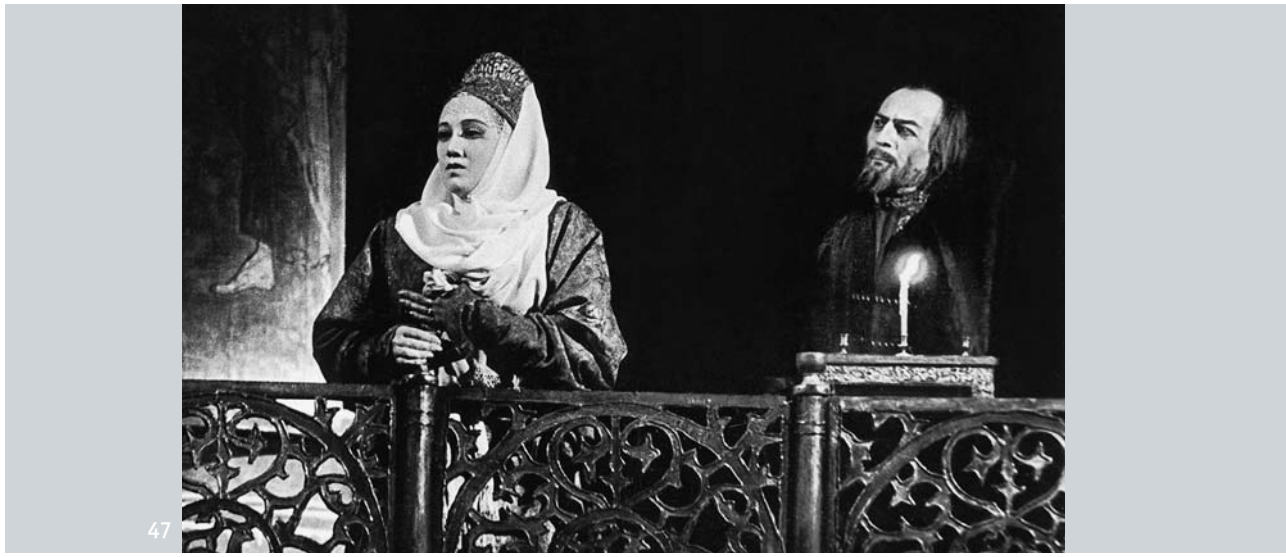
И пока репетиции шли в выгородке, без костюмов и грима, так же злорадно артисты шипели за кулисами: мол, как нелепо Хмелёв играет царя. Но как только поставили декорации и Николай Павлович вышел на сцену в царском одеянии, все поняли, что только так Грозный и мог произносить эту фразу. Иными словами, Николай Павлович ощущал своего героя точнее, чем партнёры.

Сам Николай Павлович замечаний в свой адрес не любил. И был ранимым человеком. Несмотря на свой авторитет и положение в театре, он начинал сомневаться в себе при малейшем косом взгляде. Обижался, капризничал. Некоторые мхатовцы, особенно молодёжь, забавно пародировали эту его манеру. Несмотря на мнительность, он жил в сумасшедшем ритме — казалось, он постоянно в действии. Ставил спектакли в Цыганском театре и в Театре Ермоловой, к тому же колоссальная нагрузка была во МХАТе.

«КОЛЯ ПЕРЕСТАЛ ДЫШАТЬ»

В «Трудных годах» была ещё одна сцена, где я встречалась с Николаем Павловичем. Анна Вяземская, повинуясь силе любви, приходит попрощаться с Иваном Грозным перед постригом своим в монастырь. Муж её в тюрьме, поэтому Грозный думает, что она пришла просить за мужа. Но выслушав все её укоры за то, что он не такой, каким казался ей, и поняв, что она любит его, — сам падает на колени. Далее он ладонями закрывал мне лицо и исповедовался во всех страшных грехах, говорил о своей любви. Моя героиня уходила навсегда, а Грозный оставался один.

Запомнилась мне одна из последних репетиций, когда до премьеры оставалось всего несколько дней. Зал был пуст. Присутствовали лишь некоторые участники спектакля и недавно освобождённый из немецкого плена Вадим Шверубович, мнением которого Хмелёв дорожил. Весь свой исповедальный монолог Хмелёв говорил лицом в зал, впившись руками мне в голову (я стояла на коленях), то прижимая её к себе, то отстраняя. Играл так естественно, что я не могла



47 «Трудные годы» А.Н. Толстого. Анна Вяземская — Кира Иванова, Иван Грозный — Николай Хмелёв. 1946 г.

сдержать слёз восхищения (хорошо, их не видели зрители). Глаза же Хмелёва наливались кровью, были широко открыты, но сухи. За кулисами я встретила Шверубовича, который, всплеснув руками, сказал:

— Это невероятно! Колька никогда так не играл. Он весь был залит слезами!

А слёз не было! Я это знала, но у зрителей возникало именно такое впечатление, как и у Шверубовича!

Однажды Хмелёв не рассчитал силы и случайно оцарапал мне лицо запонками. В ту же секунду опустился передо мной на колени:

— Кира, прости, пожалуйста! — заговорил он. Репетиция, конечно, остановилась.

Мне было неловко:

— Ничего страшного, Николай Павлович, — лепетала я, прижимая платочек к царапине.

Но вдруг Хмелёв вырвал из рубашки запонки и протянул их мне:

— Кира, вот эти злосчастные запонки! Забери и выброси — я больше никогда в жизни не надену их!

И сегодня, шесть десятилетий спустя, эти запонки по-прежнему хранятся у меня. Как реликвия. Как память о Николае Павловиче.

Первой женой Хмелёва была артистка Дина Тополева. Правда, вскоре она ушла от него к Вицину, и Николай Павлович начал встречаться с Лялей Чёрной. Он её боготворил! И вообще цыгане действовали на него магнетически. Хмелёв жил на Тверской в двухъярусной квартире, часто приглашал цыган в свой дом, и они гуляли до утра. Особенно длительные загулы были, когда Николай Павлович и Ляля поженились. Правда, их брак продолжался совсем недолго: 1 ноября 1945 года Хмелёв умер в возрасте 44 лет.

Я ужасно страдала в те дни. Ведь многие ему говорили, что надо сбавить ритм, невозможно играть на пределе сил, да ещё и жить в сумасшедшем режиме. Я думаю, что Хмелёв фактически сгорел от такого постоянного напряжения. 1 ноября 1945 года с утра шли репетиции спектакля «Трудные годы». Особенно тщательно репетировали третью картину — встречу Ивана Грозного с боярами. Я сидела в гриме и ждала своего выхода. Вдруг Николай Павлович подошёл ко мне и сказал:

— Ляля обещала прийти. Не сочти за труд — как только она появится, пройди за кулисы и дай мне знак, что Ляля в театре.

С утра он чувствовал себя неважно. А около двух часов дня Хмелёв, подойдя к рампе, оступился, его подхватили и усадили в кресло первого ряда. Он пролепетал: «Не по системе играл — перенапрягся». Затем речь стала затруднительной, он порывался на сцену, но его уложили на кушетку, которую поставили в проходе. Я рядом не была, поскольку дежурила у входа, боясь пропустить Лялю. Её разыскали только к вечеру, когда актёр в окружении врачей лежал в комнатке, примыкающей к директорской ложе. Там ему поставили кровать из какого-то спектакля. Он лежал парализованный, его пытались разгримировать, но он сопротивлялся, пока был в сознании. Когда, наконец, Ляля узнала о случившемся (её разыскали по телефону), она примчалась во МХАТ и стала тормошить Хмелёва:

— Николка, вставай, домой пойдём. Николка, не молчи!

Но врачи увели её.

Я не находила себе места, но в ту комнатку никого не пускали. Подошло время готовиться к спектаклю (в тот вечер мы играли «Мёртвые души»). Когда зрители заполняли зал, никто из них, конечно, не подозревал, что здесь, за стенкой, умирает Хмелёв. У меня

была небольшая роль губернаторской дочери — я появлялась только в сцене на балу и в танце с губернатором, которого играл Виктор Станицын. От него я и услышала:

— Коля перестал дышать.

У меня потекли слезы, которые он же мне и вытирал прямо в танце. После спектакля я не могла оставаться в театре: пошла домой — горько рыдала всю дорогу и видела, как к театру идут люди с цветами: трагическая весть быстро облетела Москву.

Через пару дней гроб с телом Хмелёва стоял в партере театрального зала. Сняли ряд кресел — к гробу снова шли близкие, коллеги, почитатели таланта, но попрощаться было нелегко, потому что у изголовья стояла Ляля и так обнимала его за шею, что все остальные к гробу только прикасались…

После смерти Хмелёва «Трудные годы» не шли несколько месяцев. На роль Ивана Грозного мучительно вводился Михаил Болдуман, прекрасный артист, умный, красивый. Но это был уже другой Иван Грозный, и для меня спектакль умер вместе с Хмелёвым. Видимо, такое же мнение было у многих, поэтому постановку вскоре сняли.

Кстати, в то же время в квартире Хмелёва продолжали собираться цыгане — устраивались вакханалии со жжением костров. Вскоре милиция, конечно, навела там порядок (жаловались соседи), но от таких «посиделок» квартире был нанесён ущерб в 40 тысяч рублей.

МОЖНО, Я УКОЛЮ ВАС В НОГУ?

Моё общение с Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой началось, как я уже вспоминала, ещё до войны, и продолжалось до ухода актрисы из жизни. В её доме собирался весь музыкальный свет. Племянник Ольги Леонардовны (в ту пору известный музыкант) Лев Константинович Книппер приходил с женой. Всегда с женой — Ниной Дорлиак — я видела и Святослава Рихтера. Это была очень красивая пара, а других, к сожалению, я не помню, но народу набивалось тьма. Кто куда сядет, какие продукты купить, какое будет меню — этими вопросами

заведовала Софья Бакланова. Она ведь бросила свою профессию архитектора и буквально посвятила жизнь Ольге Леонардовне. В этом доме Рихтер никогда не садился за инструмент, хотя Зося рассказывала мне такую историю. Якобы однажды Ольга Леонардовна стала уговаривать Рихтера сыграть на пианино: мол, если бы мой инструмент был не в таком плачевном состоянии, я бы

48 Степанова и Кторов — непревзойденный дуэт в спектакле по пьесе Дж. Килти «Милый лжец»

попросила вас сыграть. Рихтер, что называется, «намёк понял» — подошёл к пианино, поднял крышку, и его гениальные пальцы ударили по клавишам. Но едва он дошёл до форте, как с грохотом отвалились педали. Рихтер испуганно подскочил — ему было неловко, что он испортил чужую вещь. Ольга Леонардовна умело перевела всё в шутку:

— Видите, Слава, этот инструмент такой же дряхлый, как и я сама.

Иногда он выступал и во МХАТе — на сборе труппы или на каких-либо торжествах. А однажды судьба свела нас с ним на концерте в зале Чайковского. Мы с Юрой Леонидовым и Петей Черновым исполняли отрывки из «Горячего сердца», а Рихтер выступал

с музыкальной программой, и перед выходом на сцену у него оборвалась подтяжка. Он спросил:

— Кира, нет ли у вас английской булавки?

Я отцепила булавку от своего наряда и отдала ему.

— Нет, я один не справлюсь, помогите мне, пожалуйста, — сказал он, поглядывая на сцену, где другой артист уже заканчивал выступление. Я пристегнула подтяжку, но, согласно примете, должна была его уколоть. А в каком месте колоть эту гениальную руку? Я оторопела и спросила:

— Можно, я уколю вас в ногу?

— Валяй, — ответил он. Подставил ногу, я кольнула его другой булавкой, и он быстро направился к сцене. И, как всегда, блестяще сыграл.

«ИДЁТ ВАШ КТОРОВ — НОСОМ ВОЗДУХ РАЗРЕЗАЕТ»

Роль Натали Гончаровой сблизила меня с ведущими актёрами. В их числе и Анатолий Кторов, который играл в «Последних днях» Долгорукова. Смешно сказать: впервые я увидела его году в 1927-м, когда мама в Ессентуках стала водить меня на Базарную площадь — в дом, где показывали немое кино. На всю жизнь запомнились фильмы с его участием — «Закройщик из Торжка» и «Процесс о трёх миллионах». Разве могла я тогда предположить, что буду сниматься вместе с Кторовым? В Ессентуках фильмы шли под примитивную музыку, которую подбирал на скорую руку тапёр — из местных музыкантов. Кстати, состоятельные граждане приглашали его к себе на праздники играть за деньги. По тем временам не такая уж и роскошь — музыкальные инструменты были у многих, а граммофоны далеко не у всех.

Во МХАТе я много играла с Кторовым на одной сцене. Близко познакомились в 1939 году во время репетиций, когда меня ввели в «Пиквикский клуб» на роль Кельнерши, а он играл Сэма Уэллера в очередь с Топорковым. Тогда за кулисами ходили разговоры, что Немирович-Данченко не очень доволен успехами нового артиста. Казалось, Анатолий Петрович, которому было уже

сорок лет, как-то не вписался в общий ансамбль. Он поздно попал в Художественный театр: начинал у Комиссаржевского, потом работал в Театре Корша и, когда Театр Корша расформировали, Кторова с женой Верой Поповой направили во МХАТ. Это были очень яркие актёры, которых невозможно с кем-либо сравнить. Вера Николаевна стала лучшей Катериной в «Грозе», чем удивила всех мхатовцев. Настоящая трагическая актриса, которая в жизни не отличалась красотой: маленький рост, мелкие черты лица, но едва она появлялась на сцене, всё забывалось. Я ставила её выше Андровской, Еланской и Тарасовой. Удивлял её голос и темперамент, неиссякаемая энергия и потрясающее чувство правды… В этом плане они были похожи с Кторовым, у которого тоже всё было отточено. Его трудно назвать мастером импровизации, скорее это был актёр точного рисунка. Как он вычерчивал, например, своего Долгорукова в «Последних днях» или Бернарда Шоу в «Милом лжеце»! Да и вне театра по его лицу, манере держаться читалась колоссальная внутренняя сила. Домработница Ливанова говорила:

— Идёт ваш Кторов — носом воздух разрезает.

В пересечении наших с ним судеб было нечто общее. Например, я влюбилась в кинематограф, увидев Анатолия Петровича в его первой роли на экране. А последнюю свою роль, старшего Болконского, он сыграл уже в «Войне и мире», где я играла княгиню Ростову — судьба замкнула круг.

«МЫ ПОДКИДЫШИ! ПРИЮТА ПРОСИМ…»

Многие спектакли во МХАТе ставил Михаил Кедров. А поскольку сохранялась традиция создавать спектакли целой режиссёрской группой, Кедров часто брал себе в помощники Александра Карева, но несколько постановок он осуществил в содружестве с Василием Осиповичем Топорковым. В 1939 году они заканчивали работу над «Тартюфом», подхватив эстафету у Станиславского, а в 1948 году поставили «Лес» (третьим режиссёром был В.А. Орлов. — *В.Б.*). Я играла в обоих спектаклях и с удовольствием наблюдала, как менялась атмосфера

на репетиции, когда приходил Топорков. Он умел разрядить обстановку, сгладить любой скандал. Помню, как во время трудной работы (у молодой вертлявой артистки ничего не ладилось на сцене) он вдруг повернулся к Кедрову, но сказал так громко, что услышали многие:

— Миш, как ты думаешь, какого цвета у неё белье?

В зале стали переглядываться: а не послышалось ли нам? Кто-то рассмеялся, артистка зарделась. Через пять минут репетиция возобновилась и обрела некую свободу.

Он вообще любил сразить неожиданной фразой и был необыкновенным рассказчиком. Правда, иные рассказы у Василия Осиповича звучали в некотором смысле неприлично. Рассказал однажды, как концертная бригада отправилась на гастроли и артистки переодевались в полевых условиях, худо-бедно прикрывая друг друга. Он, оказавшись рядом, громко прокомментировал:

— О, да вы без трусиков.

И за ширмами начался переполох. Кто-то куда-то побежал… Но кто и куда, сейчас уже не вспомню — надо было записывать. Другим необыкновенным рассказчиком являлся Тарханов. Мы, молодые мхатовцы, садились в кружок и слушали его, затаив дыхание. Казалось, про русский дореволюционный театр он знает всё. В 22 года бросил службу в банке и сбежал в провинцию — на третьи роли в Рязань. Потом были Калуга, Пермь, Рыбинск, Харьков, Киев… Одно время был подручным у Мамонта Дальского (артиста императорских театров, который из-за своего неуживчивого характера вынужден был оставить столичную сцену и уехать в провинцию). И вспоминал, что самым трудным был спектакль, в котором Дальский бросал через спину цилиндр (Тарханов должен был его поймать), а потом в этот цилиндр летели перчатки — сначала левая, потом правая.

— Не дай Бог, не поймаешь, — говорил Тарханов. — Так лупанёт за кулисами по роже, что на сцену больше не захочешь!

Когда особенно не везло с ролями, Тарханов становился суфлёром, декоратором или бутафором, но театра не покидал. И если его родной брат Иван Москвин стал знаменитым ещё в 1898 году, сыграв в Художественном театре царя Фёдора Иоанновича, то к Тарханову слава пришла много позже. Во МХАТ он поступил только в начале двадцатых годов, вернувшись из эмиграции.

А перед войной их обоих ввели на роль Луки в «На дне», и вся мхатовская молодёжь ходила смотреть на этот «великий поединок». До хрипоты спорили, у кого Лука более выразителен. Мне же казалось, что их нельзя сравнивать, поскольку это были две блестящие, но совершенно разные актерские работы.

О таланте Тарханова среди театральной публики ходили легенды. Своим сценическим обаянием, яркостью образа он спасал самые неудачные, конъюнктурные спектакли, как, например, постановка горьковского романа «В людях». С точки зрения актёрской игры здесь всё было верно: глубина образов, правда характеров, но смотрелось скучно. Как вспоминал режиссёр Б. Г. Голубовский, «вдруг среди грязновато-серых, натуралистически точных декораций вырос невиданный цветок актёрского искусства — Михаил Михайлович Тарханов в роли... про него нельзя написать «в роли» — просто среди прущего из всех углов быта возник хозяин булочной Семёнов, похожий чем-то на Тарханова». Облик героя Тарханова мало напоминал цивилизованного человека. Нельзя сказать, что в пекарню входил хозяин булочной. Нелепо одетый тархановский персонаж буквально вваливался туда, как чудовище. Распухшие ноги, обутые в рваные валенки, жабий рот с брезгливо отвисшей губой, всхлипывающий и повизгивающий голос, огромная рубаха с длиннющими рукавами... «Я хочу с та-а-а-бой бэ-э-э-эседоваттть!» — говорил он, смешивая интонации ребёнка с речью развратной дамы. При этом застенчиво шевелил своими толстыми, как сардельки, пальцами. Горький был убеждён, будто Тарханов знаком с прообразом своего героя — казанским булочником. Но когда студенты стали расспрашивать актёра, как он нашёл краски для этого образа, Тарханов ссутулился, как его герой, немного присел, расставил ноги, хищно сжал руки в кулаки. «Да вот, через ноги и пальцы нашёл, поскольку без тела на сцене нельзя», — сказал он.

Тарханов был женат на актрисе Елизавете Скульской, которая как только выпивала рюмочку, начинала в слезах рассказывать, что Михал Михалыч ей изменяет. Заставить её молчать он не мог — пытался уводить, но это не помогало. Сразу всплывали горестные воспоминания, текли слёзы. Все расползались по углам — неудобно было слушать. А мне и не хотелось верить в то, что она говорит — это была прекрасная пара.

Тарханов жил в том же мхатовском доме, что и его брат — в Глинищевском переулке. В гостях у них мне побывать не удалось, но говорили, что их квартиры соединены дверью, и братья могут ходить друг к другу, минуя лестничную площадку. Они «хулиганили» до последнего, невзирая на здоровье и возраст. Однажды вдвоём разделись почти догола и легли под дверью

Книппер-Чеховой. Постучались. Когда Ольга Леонардовна отворила, они заголосили:

— Мы подкидыши, мы подкидыши! Приюта просим…

Трудно представить, чтобы такой же трюк проделали, скажем, Евстигнеев и Калягин, позвонив в дверь Дорониной. Это было свойственно лишь той эпохе, которую населяли люди, взращённые дореволюционным театром.

Тарханов на сцене играл в жизнь, а в жизни — в театр. Я уже вспоминала, как он ущипнул пионерку за мягкое место, когда та перепутала его с Москвиным. Да и вообще от него можно было ждать самых неожиданных поступков. Зося Пилявская оказалась однажды приглашённой к Тарханову на семейный праздник. Когда гости вошли в столовую, перед ними стоял огромный стол, накрытый белоснежной скатертью, а на нём — такие же белые, но пустые тарелки. Никаких салатиков, закусок и даже хлеба — ничего не было. Михаил Михайлович просил усаживаться за пустой стол, разлил по бокалам напитки и, произнеся тост, сделал вид, что кладёт себе из невидимого блюда белые грибы, с которых капает масло, а затем смачно ими закусывает. Гости должны были угадать, чем он сейчас закусил. Игру приняли все приглашённые — они произносили тосты и аппетитно «закусывали»: кто кулебякой, кто винегретом; Зося «закусила» шницелем. И когда каждый произнёс по тосту, распахнулись двери, и в столовую внесли вкуснейшие угощения!

Вообще со мхатовским домом связано много историй. Нора Полонская рассказывала, как на верхнем этаже арестовали человека, лифт не работал и человека повели по лестнице вниз. Возле квартиры Москвина он застонал, сел на корточки. Конвоиры стали пинать его ногами, но арестованный закричал, что дальше идти не может — живот схватило. При этом стукнулся спиной в чью-то дверь, оттуда вышла женщина, и он на неё так посмотрел, что всё стало понятно без слов. Эта мужественная дама постучалась к Москвину, и тот стал звонить в инстанции. С кем он говорил, что сказал — не знаю. Но на следующий день арестованного отпустили домой. Москвин не раз спасал людей от ссылок и наказаний.

В «старом» МХАТе было много удивительных людей, и рядом с ними казалось, что про тебя они знают всё. На съёмках фильма

про комбайнёров, который так и не вышел на экраны, Анатолий Папанов рассказывал мне, как Тарханов принимал его, фронтовика, в ГИТИС. Толя поступал после ранения, хромал и опирался на палочку. Тарханов у него спросил:

— Ты без палочки ходить можешь?

— Ещё нет, но ради театра я избавлюсь от хромоты, — ответил Папанов.

Ему поверили и взяли. Полгода истязал себя упражнениями. Но насколько велик был талант Тарханова, что он смог увидеть в хромом, несчастном парне будущего блестящего артиста!

Замечательным педагогом был и Топорков. Правда, у него я не училась — сужу по репетициям. Он никогда не давил, а просто подбрасывал идеи:

— А попробуй так-то! А если побыстрее! А покрутись…

Это был первоклассный актёр. До сих пор не могу забыть его Оргона в «Тартюфе». Невозможно передать интонацию, с которой он произносил свою коронную фразу:

— Н-н-нет сына у меня!

После этих слов раздавались аплодисменты.

Очень жаль, что в кино Василий Осипович снимался мало. Долгие годы на нём словно стоял штамп *нефотогеничный артист*.

50

51

50 Летом гастроли становились центральным событием жизни. Как бы далеко от Москвы ни уезжал МХАТ, его везде ждали

51 Михаил Тарханов

У Топоркова действительно была оригинальная наружность — огромная голова, морщинистое лицо, необычные губы, как будто их помадой намазали. Но когда он выходил на сцену, всё это против законов природы куда-то исчезало. Василий Осипович преображался на глазах. Он был чудным Счастливцевым в «Лесе» и обаятельным Добчинским в «Ревизоре», гнусным тайным агентом Битковым в «Последних днях» и доверчивым семьянином Оргоном в «Тартюфе»… Но в роли Собакевича («Мёртвые души») я совершенно его не узнавала — лицо было спрятано под обильным гримом. Помню и огромные ботинки, которыми он наступал на Белокурова–Чичикова, как бы подминая под себя, и Белокуров из-под его ступни с трудом извлекал свою ногу.

…Я Топоркова хоронила. Было море народу. Запомнился певец Иван Семёнович Козловский, который положил к нему в гроб мешочек с землёй и что-то ещё. Козловский делал так на всех похоронах — верующий человек был.

«ДУХ СТАНИСЛАВСКОГО ПОКИНУЛ СТЕНЫ МХАТА»

Что может вытворить наше государство, я поняла после войны, когда Сталин начал закручивать гайки, развернув на театральном фронте войну с космополитами. Критики, сотрудники литературных частей театра в начале 1949 года подверглись жуткому шельмованию в печати. Журнал «Театр» невозможно было спокойно брать в руки. Юзовский, Алперс, Альтман, Бояджиев, Борщаговский, Холодов, Малюгин — словом, весь цвет отечественного театроведения был обвинён в вольномыслии, неумении ценить творчество советских драматургов. Про Юзовского писали, будто он настолько увлёкся исследованием истории театра, что старину противопоставляет современному театру. Аналогичным образом Бояджиева обвинили в преклонении перед Шекспиром. Бывший редактор журнала «Театр» Альтман обвинялся в том, что однажды поставил в пример советским критикам рассуждения Лессинга.

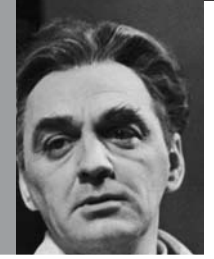
Наши любимые театроведы, чьим мнением так дорожили во МХАТе и чьи публикации я бережно вклеивала в альбом, оказались под запретом. Не буду называть имена, но даже среди мхатовцев оказались люди, готовые поддержать кампанию против космополитов: писались официальные письма, собирались подписи. Не помню, какими правдами и неправдами — но мне удавалось увильнуть. Я снова вспоминала папину фразу: «Кира, ну, *в общем*, ты поняла».

Образованные люди тоже прекрасно всё понимали, и когда в газете печатался доклад драматурга Софронова, в котором тот называл театроведов жалкой группкой торгашей, — все догадывались, кто на самом деле торгаш в этой истории. Софронов не показывал, конечно, но ему было ужасно обидно, что те самые театроведы знали цену и его слабым пьесам, и конъюнктурным сочинениям его единомышленников. Театроведы были много талантливее и уж точно — умнее. Что прекрасно чувствовали всякие софроновы.

«Космополиты» раздражали правящую верхушку, поскольку резко высказывались против спектаклей, якобы необходимых советскому народу. В 1948 году — к 50-летию МХАТа — Михаил Кедров поставил «Зелёную улицу» Сурова. Главным героем спектакля был машинист Сибиряков, который установил некий рекорд, и его поезду дали «зелёную улицу». Однако Сибиряков не желал мириться с показухой. Типичный сюжет того времени.

Когда спектакль был готов к премьере, во МХАТе прошёл слух, что Суров — нечестный человек. Работая на заводе, он украл пьесу «Далеко от Сталинграда» у комсомольского работника, который просил её прочитать и сделать замечания. Кедров, наверное, жалел, что связался с Суровым, но было уже поздно — Москва ждала премьеры. Как бы то ни было, после «Зелёной улицы» по городу поползла поговорка: «Дух Станиславского покинул стены театра, когда порог переступил Суров».

В это время МХАТ действительно ставил нечто невообразимое. В его репертуаре появились «Алмазы» Асанова, «Хлеб наш насущный» Вирты, «От всего сердца» Мальцева, «Сердце не прощает» Софронова, «Илья Головин» Михалкова, «Чужая тень» Симонова, «Залп “Авроры”» Большинцова и Чиаурели, «Лермонтов» Лавренёва. Причём в этих «идеологически насыщенных» спектаклях играли лучшие артисты Художественного театра.



ГЛАВА 7

«И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ...»

ЗОЛОТЫЕ ЧЕРВОНЦЫ ДЛЯ ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ

До войны у меня было довольно много поклонников. Я переписывалась с ребятами, придумывала какие-то романчики, но всех затмил Василий Александрович Орлов, о котором я уже рассказывала. Был период — дня не могла прожить без него.

Орлов говорил о любви ко мне, о том, что у них с женой давно нет никаких отношений, но в эвакуации в Саратове я увидела у него на столе письмо, которое начиналось словами *Дорогая Муся*. Он называл жену Мусей, а настоящее её имя было Мария Николаевна Овчининская.

После спектаклей Василий Александрович по-прежнему провожал меня, но это письмо заставило о многом задуматься. А дальше произошло то, что и должно было произойти — божественный образ Василия как-то сам собой стал потихоньку сменяться обычным человеческим. Я научилась различать, когда он говорит правду, а когда — лукавит. И, к сожалению, лукавства становилось всё больше. Неспроста Хмелёв мне говорил:

— Кира, ну зачем вам понадобился этот конопатый врун?

Орлов действительно был большой выдумщик. Например, когда он опаздывал на репетиции, то обычно оправдывался:

— Брат приехал.

И, наконец, после очередного опоздания, у него спросили:

— Василь Саныч, сколько же у вас братьев?

Образ идеального мужчины распадался. Мне не нравилось, что Орлов порой не знает меры в выпивке. В Саратове был профессор Захаров, который приглашал артистов, в том числе и меня с Василием, в дом. И однажды я с трудом доволокла Орлова до гостиницы (по пути он бесконечно падал). Там я «передала» его Михальскому, с которым они жили в одном номере. Когда Михальский узнал, что я тащила Орлова через весь город, он даже перекрестил меня. А я и сама удивлялась, как умудрилась поднять здоровенного мужика…

По возвращении из Саратова наш роман, понемногу затихая, продолжался еще некоторое время. Однажды он подарил мне два золотых рубля.

— Зачем это? — удивилась я.

— Сделаем из них обручальные кольца.

То есть он пытался сохранить наши отношения. Но я понимала, что они зашли в тупик.

И по-прежнему, когда видела на улице его жену, — пряталась в подворотне или забивалась в парадное, чтобы не встретиться с ней лицом к лицу, поскольку считала себя великой грешницей. И чем чаще я встречала её, тем труднее было общаться с Орловым.

Настоящий страх меня охватил, когда в театре сообщили, что завтра на репетиции спектакля «Трудные годы» появится Овчининская и будет помогать Марии Кнебель. Тут уже не спрячешься в подворотне. Видимо, настала пора во всём сознаваться. Но как ты расскажешь о таком грехе? Моментально ведь попрут из театра и будут правы. Не помню, как шла на репетицию — ужасно волновалась. Но Овчининская была ко мне хорошо расположена. Я решила, что рисковать дальше не буду, и вскоре действительно рассталась с Орловым.

Кира Николаевна имеет в виду окончание любовного романа, поскольку общение никто не прерывал, чему есть свидетельства очевидцев. В их числе режиссёр Роман Виктюк: «Я ученик Василия Александровича Орлова, поэтому знаю от него те вещи, о которых, возможно, Кира Николаевна не догадывается…

Василий Александрович был верующим человеком и любовь воспринимал как божественную благодать, поэтому Кира Николаевна была

52 С Василием Орловым роман распался еще в годы войны, но артистов связывала совместная работа в спектаклях

не только временной спутницей его увлечений, но музой! Когда он встретил её, в душе была ярчайшая вспышка — своеобразный спазм, который не давал покоя. А Мария Николаевна, его жена, была женщиной ревнивой и властной и умела отсекать все те лучи, которые попадали в поле его зрения. И тогда Кира Николаевна соответствовала тому назначению, которое было у Натали Гончаровой по отношению к Пушкину. И не случайно роль Натали пришла к ней. И сейчас, когда смотришь на её фотографии в этой роли, то поражаешься: это, может быть, единственная актриса в XX веке, которая смогла соответствовать высоте духа Пушкинской музы.

Вот для Василия Александровича она и была этой музой. Когда она играла спектакль, Орлов не мог не приходить в театр и хоть одним глазом не оживлять своё светоносное впечатление от Киры… Причём в то время у него в театре было не самое лучшее положение в труппе. И, наверное, именно тогда они должны были не на расстоянии, а в постоянном безумии помогать друг другу. И оживлять это мирское существование собственным безумием любви. Именно любви, потому что со стороны Орлова была настоящая любовь. Он был человек влюбчивый. Но сделать шаг к разводу с женой не мог. В этом есть трагедия этих двух людей. Людей, которые очень были нужны друг другу в полёте. Как у Шагала — летят обнявшись над городом, над МХАТом, над всей театральной Москвой. Вот они должны были лететь. Это та вспышка, которая могла вызывать зависть у многочисленных сослуживцев».

После него в мою судьбу хотел вмешаться Михаил Яншин, который дружил с генералом Иссой Плиевым. Произошло это году в 1946-м, когда мы с сестрой жили в небольшой комнате во дворе Театра Корша. Яншин сперва намекнул мне, что вот, мол, есть такой замечательный военачальник, который мечтает со мной познакомиться. И в тот же вечер мы увидели у себя во дворе адъютанта. Пока он искал нашу квартиру, я нырнула под кровать. Адъютант постучал, представился и сказал, что он от генерала Плиева и что нас ждёт машина. Но сестра ответила:

— Передайте Плиеву, что Киры нет и никогда не будет!

Потом Нина объяснила свой поступок. Она считала, что Плиев должен был прежде лично познакомиться со мной, то есть, говоря «по старорежимному», быть представленным. Без этого, не получив моего согласия, вызывать меня к себе, как подчиненного, неприлично.

Больше адъютант не приезжал, а Плиев, наверное, оскорбился, он же в больших чинах был.

«ТЫ В СТАРЫХ ДЕВАХ ХОЧЕШЬ ОСТАТЬСЯ?!»

В конце 1947 года режиссёр Илья Фрэз приступил к съёмкам «Первоклассницы», где мне была отведена роль мамы главной героини — девочки Маруси. Сценарий к фильму написал Евгений Шварц, основой для сценария послужили произведения Агнии Барто, которая приходилась Фрэзу дальней родственницей. Меня очень увлекала эта компания, и ещё до съёмок завязалось приятное общение. А 30-го или 31-го декабря 1947 года Фрэз внезапно мне позвонил и предложил встречать Новый год с ними — на даче у приятеля. Я, конечно, обрадовалась. Разве у кинорежиссёров бывают плохие приятели?

Мы ехали какой-то подмосковной трассой. За окном темно, сосны, снег. Подъехали к устрашающе высокому забору. Охранники открыли ворота, машина въехала во двор, я вышла и поняла, что нахожусь на правительственной даче.

— Куда вы меня привезли? — спросила я у Фрэзов.

— Сейчас всё узнаешь, — сказала его жена, и мы прошли в дом, где был накрыт стол и уже сидели гости. Хозяином дачи оказался незнакомый мне человек в военной форме. Он почему-то сразу пригласил на танец (даже опомниться с дороги не дал), и вот в танце между нами произошел такой диалог:

— Я ведь вас хорошо знаю, — начал мужчина.

— Да что вы говорите! А я вас совершенно не знаю, даже не знаю, как вас зовут.

— Виктор Семёнович.

— Очень приятно, а меня Кира Николаевна.

— Я даже знаю, по каким переулкам вы ходите, и с кем гуляете…

И начал перечислять настолько подробно, что я оторопела. Переулки и улицы названы точно. Молодой человек, с которым встречалась, описан верно. Дом, где живу, — тоже. И спектакли, в которых играю, перечислены безошибочно.

А потом он назвал свою фамилию…

В ту новогоднюю ночь я танцевала с министром государственной безопасности СССР Виктором Семёновичем Абакумовым — учеником и человеком Берии. Через несколько лет он будет арестован, а после смерти Сталина расстрелян. Но тогда по облику невозможно было догадаться, что этот красивый русский мужик — один из руководителей страшной и безжалостной машины репрессий, самолично пытавший людей. Много позже я узнала, что именно он был причастен к арестам, расстрелам и ссылкам, а убийство Соломона Михоэлса в 1948 году — тоже его рук дело.

Мне отвели комнату на втором этаже. Под утро пошла спать, но не могла сомкнуть глаз — понимала, что втянута в злую интригу. Кроме того, я затаила обиду на Фрэзов, что они не предупредили меня, куда везут. В голове крутились страшные мысли: я на даче, окружённой охранниками, в тёмном лесу, со мной могут сделать что угодно, и сопротивляться бесполезно. Такие люди, как Абакумов, если хотят добиться своей цели, сделают это насильно — для них не существует преград.

И вдруг раздаётся стук ко мне в комнату:

— Да, да? — робко отозвалась я.

— Открой, открой!

— Не могу, я приболела.

— Ну, открой — может, чем помогу.

— Нет, нет, не стоит волноваться. К утру всё пройдёт.

И он, к счастью, оставил меня в покое. Наутро мы разъехались вместе с гостями. Но через несколько дней Абакумов прислал за мной машину к театру и зачем-то повёз знакомить с женой, с которой, как я узнала, он разводится. Супруга жила на Лубянке — в переулках, недалеко от Мясницкой. Меня представил так:

— Вот актриса, я поклонник.

Деталей не помню, но встреча была короткой. Вскоре он меня отпустил. Зачем я ему понадобилась — до сих пор гадаю…

Прошло несколько дней, и вдруг недалеко от МХАТа меня встречает театральный администратор Игорь Владимирович Нежный. Увидев меня, он издалека громко, на весь переулок, спросил:

— Кира, я как раз думал о тебе. У тебя кончился роман с Орловым?

Я жестом показала, что не надо так шуметь, и тихо, почти шепотом, ответила:

— Кончился, кончился, Игорь Владимирович, давно кончился.

— Прекрасно! — продолжал он еще более звучным голосом — я выдам тебя замуж!

53 В 1948 году в жизни Киры Ивановой появился Арсений Головко — адмирал, начальник Главного штаба ВМФ

И таки выдал!

Нежный пригласил меня в гости — в квартиру в Глинищевском переулке, где он жил гражданским браком с художницей по костюмам Аннель Алексеевной Судакевич. Когда я пришла, там было двое гостей в военной форме. Первого я не запомнила — очень уж тихий был. А второй старательно рассказывал анекдоты, шутил. Он слегка картавил, к тому же, у него были вьющиеся волосы копной, и я решила, что он еврей.

У меня не было, да и быть не могло даже намека на предвзятое отношение к этой нации. Но в стране нарастала и ширилась «борьба с космополитизмом», постепенно приобретавшая явственный привкус «борьбы с сионизмом». Помнила я и о непролетарском, так долго скрываемом происхождении моих родителей, и о ранней смерти мамы, так переживавшей за отца. И о том, что мамина фамилия в девичестве — Лангваген. Я боялась повторить её судьбу…

Тогда я, конечно, и представить не могла, что именно этот человек станет главным в моей жизни. Это был адмирал, начальник Главного штаба ВМФ Арсений Головко…

В гостях пробыла недолго, поскольку нужно было торопиться на спектакль. Арсений Григорьевич предложил мне машину, но я отказалась. Во-первых, до театра было рукой подать, а во-вторых, я не хотела, чтобы он меня провожал, поскольку вспомнила, что около года назад слышала разговор о нём, когда была в гостях у режиссёра Арнштама. Речь тогда зашла об артистке миманса Большого театра Нине Вячеславовне Горской. Люся (жена Лео Оскаровича Арнштама. — *В.Б.*) говорила кому-то из гостей:

— Вот ты хвалишь Горскую, а смотри, как хитро она всё провернула. Мало ей Бори Чиркова (в ту пору он был мужем Горской. — *В.Б.*), она ещё и адмирала Головко облапошивает!

И далее — дамские сплетни, будто Арсений Григорьевич потрафляет всем её слабостям. Балует, покупает бриллианты. У меня сложилось впечатление, что этот адмирал — просто дамский угодник, который способен соблазнить любую понравившуюся ему женщину.

В тот вечер мы играли «Последние дни». Во время поклонов я заметила в зале Арсения Григорьевича, хотя он и говорил мне в гостях, что собирается в другой театр. Ну всё, думаю теперь он остановил

свой выбор на мне. Смывала грим и почти была уверена, что у выхода меня ждёт машина. Подбирала слова для отказа. Но когда вышла, никакой машины не было. В результате шла домой пешком по свежему снегу, посмеивалась над собой и обещала самой себе, что это знакомство не перерастёт в близкие отношения. Впрочем, дома сестра Нина на меня прицыкнула:

— Ты, что, в старых девах хочешь остаться?

На следующий день каталась с Юрой Леонидовым на коньках и так сильно натёрла ногу, что заметно прихрамывала. Вдруг появился Арсений (кажется, позвонил или прислал записочку) и пригласил меня на дачу в Переделкино, а я туфли надеть не могу. Он приехал в мою комнатку (после войны Кира Николаевна получила комнату в коммуналке от Моссовета на улице Чехова. — *В.Б.*), привёз тёплые носки, какие носят на Северном флоте, и кашне. В общем, окружил меня теплотой: я и опомниться не успела, как оказалась на даче в Переделкино. Он понимал «щекотливость» момента, поэтому для моего же комфорта пригласил Нежного с супругой. У меня сердце в груди переворачивалось от того, что я знаю про роман Головко с Горской. Вечером решили подышать свежим воздухом. Нежный увёл Аннель в одну сторону, а Арсений меня — в другую. И вдруг сам начал откровенный разговор: про то, что он из терских казаков, про свой первый брак с Катериной (его землячкой из станицы Прохладной), которая умерла при трагических обстоятельствах в конце войны, на Севере. И про Нину Горскую, с которой он жил одно время гражданским браком — у Нины не складывались отношения с Борисом Чирковым…

А полгода назад Горскую арестовали. И обвинили в связях с английской разведкой (на деле это было знакомство с английским военно-морским атташе, которое совершенно официально произошло во время какого-то мероприятия или приёма, куда она пришла вместе с Головко).

Вскоре после ареста Нины Вячеславовны Чирков оформил развод и распродал все её драгоценности, возможно опасаясь, что их конфискуют.

Арсений считал себя косвенно виноватым в случившемся, и хотя Горскую арестовали уже после разрыва с ним, он чувствовал свою ответственность и ежемесячно откладывал для неё некоторую сумму.

Он говорил мне обо всем совершенно открыто, что меня поразило. В свою очередь, я тоже рассказала ему о прежней своей симпатии к Василию Орлову и Гоге Егиазарову — оператору, снимавшему «Первоклассницу».

Так завязался наш роман — с чистого листа. Мы просто раскрыли друг перед другом карты. Я была покорена его искренностью и добротой. И впервые в жизни фактически постороннему человеку стала рассказывать о том, что папа служил в царской армии, что есть родственники за границей, а здесь, в СССР живут мои тётки «из бывших», которым надо помогать.

Месяца через два, когда мы уже стали мужем и женой, Арсений вернулся к этому разговору и сказал мне:

— Знаешь, давай не будем пока никому об этом говорить. Да и знакомиться я с твоими тетками пока что не буду. Ты им удвой содержание, чтобы не обижались, а познакомимся как-нибудь потом.

Арсений не то чтобы отмахнулся, но, видимо, просто не хотел рисковать, поскольку за его судьбой внимательно следили «компетентные органы», да и сам Сталин. Головко входил в круг военачальников, которых «сам» знал лично и с которыми достаточно часто встречался.

В годы Великой Отечественной Головко был самым молодым командующим. Ему было всего 34 года, когда накануне войны (в 1940 году) его назначили командовать Северным флотом. На Севере, сходились маршруты конвоев с грузами ленд-лиза, и наших судов, шедших по Северному морскому пути. Здесь противник много раз прилагал все силы, чтобы перерезать эти морские артерии, захватить Мурманск и Кольский залив. Но армия и Северный флот выстояли. Сталин высоко оценивал способности адмирала, и в 1946 году Головко перевели в Москву. Во время войны у адмирала умерла жена, и многие знали, как тяжело он переживал её смерть. В то же время Сталин посещал МХАТ и, вероятно, мог обратить внимание на Киру Николаевну. Автор документального фильма «Невеста для адмирала» Евгений Голынкин предполагает, что именно у Сталина родилась идея их познакомить. Эту же мысль подтверждает в фильме и дочь Киры Николаевны — Наталья Арсеньевна — которой ещё в советские времена один из военных моряков рассказал предысторию отношений её родителей. «Желание Сталина осчастливить молодого адмирала стало делом государственным, а потому в силу особой важности оно было поручено Министерству государственной безопасности и его вездесущим агентам», — так авторы фильма объясняют появление Абакумова в судьбе Киры Николаевны, который «проверял актрису по просьбе Сталина».

Так ли это на самом деле, утверждать не берёмся. Но всё же Кира Головко не исключает, что в этом есть доля правды, поскольку известна политика Кремля периода репрессий в отношении крупных военачальников и флотоводцев. Семья была необходимым условием: она, с одной стороны, отвлекала бы адмирала от так называемого «инакомыслия», а с другой — это рычаг давления. Провинившемуся военачальнику могли напомнить, что у него есть жена и дети, которые могут стать близкими родственниками врага народа.

ЗАМУЖ ЗА ЛЮБИМЦА СТАЛИНА

О моём романе в театре мало кто знал. И когда я объявила, что выхожу замуж, помреж Катя Прудкина бегала по гримуборным, распахивала двери и громко объявляла:

— Кирка выходит замуж за адмирала Головко! Кирка выходит замуж за адмирала Головко!

Меня, конечно, «выставили»: я закупила буфет (хотя и без спиртного, его тогда во МХАТе не продавали), все пировали… Новость мгновенно распространилась по театру, и в те же дни Ангелина Степанова мне сказала:

— Ну, поскольку теперь ты адмиральша, то можешь приходить к нам в гости!

Её многие недолюбливали именно за такие надменные реплики. Приглашением я ни разу не воспользовалась.

С Арсением мы поженились в январе 1949 года.

После этого мне со всех сторон стали говорить, что Арсений — любимец Сталина:

— Ну что вы, Кира Николаевна, Иосиф Виссарионович просто влюблён в Головко!

Почти каждую субботу Сталин собирал на ближней даче узкий круг руководителей высокого ранга. Арсений уезжал, а я оставалась одна. Что там происходило — знаю плохо, Арсений лишь изредка рассказывал мне некоторые эпизоды. Например, я запомнила, что Сталин ходил в сапогах из мягкой кожи, поскольку у него болели ноги, и шагов его почти не было слышно. На даче собирались только мужчины, но однажды в СССР приехал генсек Итальянской компартии Пальмиро Тольятти. И его пришлось пригласить на дачу вместе с женой, появление которой явно не понравилось мужской компании.

54 Командующий Северным флотом вице-адмирал Арсений Головко (*слева*) и член военного совета Северного флота контр-адмирал Андрей Николаев. *Фото Е. Халдея*

Её присутствие не позволяло ни привычно расслабиться, ни хорошо выпить, ни использовать «неформальный» лексикон (вдруг понимает по-русски?). Сталину это не понравилось, и он сказал Кагановичу:

— Лазарь, поухаживай за бабой!

Жену Тольятти подсадили к Лазарю Моисеевичу, которая, конечно, в тот момент почувствовала себя крайне неловко. Каганович, по-своему понимая указание вождя, отвел её в сторону и стал старательно поить вином…

Эту главу я хотела назвать «Из грязи в князи», потому что до встречи с Арсением я бесконечно ютилась по комнатушкам. На всю жизнь запомнила, что такое нищая жизнь в коммуналке, и вдруг всё изменилось за один год. Роскошная квартира, машина, дача, дорогие подарки, которыми Арсений меня просто осыпа́л. От администраторов театра я знала, что некоторые члены политбюро специально посещали спектакли с моим участием — хотели «посмотреть на жену адмирала», хотя нам с Арсением было всё равно, бывают они во МХАТе или нет.

Разумеется, адмирал тут же стал магнитом интересов и в театральной среде. Взглянуть на него хотелось многим, о чём вспоминает актриса Марина Ковалёва (народная артистка СССР, приятельница Киры Николаевны): «Я представляла себе, что у адмирала очень значительная фигура. Высокий, красивый, с гордой осанкой – типа Рокоссовского. Но Арсений Григорьевич оказался совсем другим. Он был скромный, среднего роста, но тем не менее производил впечатление, потому что один его мундир внушал трепет. Я думала, это отразится на характере Киры, но никакой адмиральши из неё не вышло. Она была гораздо спокойнее других адмиральских жён».

Для счастья не хватало только ребёнка…

Муж рассказал мне, что очень хотел ребёнка, но с первой женой у него детей не получалось. И что возможно виноват в этом именно он. А значит, детей у нас может и не быть…

Я плакала несколько ночей, пока сестра не сказала мне:

— Кира, подумай хотя бы об Арсении. Он страдает не меньше тебя… Твои слёзы его унижают.

Я больше не плакала при нём. Терпела. Пыталась смириться. Думала, может быть нам следует ребенка усыновить…

И вдруг — чудо! Словно Бог сжалился надо мной. Я забеременела и в ноябре 1949 года родила Мишку.

О первых днях после рождения младшего Головко можно написать роман или поэму, поскольку всю фактуру легко восстановить: Кира Николаевна через письма ежедневно сообщала мужу в мельчайших подробностях, что Миша ел, как он выглядит, что его тревожит, какова обстановка в роддоме и прочее. Так, разумеется, делали многие женщины, но удивительно, что все эти письма актриса бережно сохранила. Не претендуя на роман, приведём лишь несколько выдержек — для примера. В них звучит голос счастливой мамы. Кстати, письма доставлялись Арсению Григорьевичу в тот же день, через адъютантов. Письмо от 17 ноября 1949 года: «Солнышко моё! Бесценный мой! Я люблю тебя так, что не забывала о тебе ни на секунду — даже в самые тяжкие моменты. Ты и Мишка самые дорогие, самые родные для меня — жизни без вас не знаю. Писать мне пока трудновато, т.к. двигаться особенно не велят <…> Мы с Мишкой чувствуем себя хорошо. Мишка, честное слово, похож на тебя: носик твой, нога твоя и, кажется, волосики будут твои. Всё это я разглядела ещё в родилке, где он сразу же завопил басом. И вопил всё время, пока его взвешивали, размеряли, кутали. Мне его дадут кормить первый раз завтра в 6 утра, а пока я с завистью смотрю на свою соседку по палате, кот[орая] уже два дня, как кормит своего парня <…>». Письмо от 18 ноября: «Через 10 минут Мишке исполняется ровно сутки. Парень он у нас бравый: вопит басом, — все уверяют, что это будет настоящий мужчина. А я отвечаю, что нет в этом ничего удивительного, т.к. он должен пойти в отца. У нас с ним было уже 3 встречи: в 6 утра, в 9 и в 12. Следующая будет в 3, затем в 6, 9 и 12. <…> Я не могу тебе описать, какая волна нежности, радости, гордости и тревоги охватывает меня каждый раз, когда приносят мне нашего мальчишку. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Я уверена, что ты, увидев и взяв его в руки в первый раз, будешь испытывать то же самое. Ведь так недавно было ещё что-то нежное, толкающееся, неопределённое, а теперь около твоей груди, прижавшись к ней, пыхтит тёплое, даже горяченькое, гладенькое и шелковистое, как бархат существо, да ещё к тому же так похожее в миниатюре на бесконечно любимого и дорогого моего Аську <…>». Письмо от 23 ноября: «Арсенюшенька! Любимый! Единственный мой! Какое счастье было услышать вчера твой голос! Как близок ты мне бесконечно и как дорог! Я, конечно, заревела в начале нашего разговора, но потом сдержалась. А то здесь очень бранят, когда ревёшь — независимо оттого, по какому поводу ревёшь — от радости или от горя — потому что это вредно отражается на малышах. Но потом вечером около десяти мне звонила Нинуся и испугала меня тем, что тебе не велят ещё ходить (в те же дни Арсений Григорьевич перенёс хирургическую операцию и находился в больнице. — *В.Б.*). А ты мне столько раз вчера, босяк, звонил: значит, каждый раз спускался по лестнице, и я очень боюсь, что ты повредил себе этим. Я даже жалею, что мы договорились о сегодняшнем твоём звонке». В письме от 25 ноября речь идёт о скором возвращении домой: «Позвонил Сипаров (адъютант. — *В.Б.*) — сестра поворчала немного, но всё-таки принесла мне трубку. Он сказал мне, что Ниночка к тебе поедет сегодня. Кроме того, он сказал, что возможно тебе придётся задержаться дольше 1-го в госпитале. Солнышко моё! Роднуля! Мне бы, конечно, было ужасно приятно, чтобы ты приехал за нами. Мы бы с Мишкой хвастались нашим папкой, как могли. Но раз тебе нужно долечиться — ни в коем случае не торопись. Пусть за нами с Мишуком

приедет Ниночка с девчонками, и мы непосредственно поедем с визитом к тебе. Пробудем у тебя сколько нам разрешат и уедем на Кудринку, где будем ждать нашего папку уже окончательно выздоровевшим. А потом уже все вместе уедим в Переделкино. Так будет тоже совсем неплохо. Если же тебе, к счастью, разрешат выйти 1-го, мы сделаем наоборот — Ниночка поедет сначала за тобой, а потом уже ты с ней приедешь за мной. Очень уж мне хочется "пофастаться" своим мужем».

55 На даче в Переделкино с мужем и сыном
Фото 1950 г.

Счастье невозможно передать! У Арсения появился наследник. Когда Сталин узнал об этом, то лично пошёл в оранжерею — срезал букет кремовых роз, завернул его в плотную бумагу и насыпал в другой пакет несколько горстей грецких орехов. Арсений мне всё это преподнёс. А через некоторое время на каком-то совещании как бы между делом Сталин ему сказал:

— Ведь у вас, товарищ Головко, недавно сын родился, думаю, вам необходима большая квартира.

Когда муж рассказал мне об этом, я насторожилась. Дело в том, что нам предлагали переехать в знаменитый Дом на набережной, который с конца тридцатых пользовался недоброй славой.

В анекдотах, за которые, случалось, и сажали, он звался «домом предварительного заключения». Сегодня осталось мало свидетелей той эпохи, и огромный серый мрачный дом опознают скорее по Театру эстрады или кинотеатру «Ударник», которые там находятся. Но в ту пору мы знали, что судьба многих жильцов этого дома сложилась трагически: их арестовывали, семьи высылали, огромные квартиры долго стояли опечатанные. Кто-то возвращался в своё жильё, кого-то повторно забирали на Лубянку, кто-то не возвращался в свой дом уже никогда… Иначе и быть не могло. Квартиры с видом на Кремль давали, в основном, руководителям достаточно высокого уровня, и именно они периодически вызывали подозрения или гнев вождя.

Поэтому мы с Арсением не хотели покидать уютную трёхкомнатную квартиру в Кудринском переулке. Но даже намёк Сталина было крайне рискованно игнорировать. И летом 1950 года мы оказались в огромной шестикомнатной квартире, которую прежде занимал Народный комиссар военно-морского флота Николай Герасимович Кузнецов. От мужа я в подробностях знала, как в 1947 году Кузнецова и ещё нескольких адмиралов обвинили в передаче военных секретов англичанам и американцам во время Великой Отечественной войны и судили судом чести, на котором, кстати, Арсений должен был выступить главным обвинителем (такой роли от него требовал кремлёвский «театр»). Он не рассказывал как, но каким-то образом ему удалось не только избежать этой роли, но даже не появиться на заседаниях суда. И в свойственной ему манере, Сталин дал понять, что такое своеволие недопустимо, но на время оставил Арсения в покое, хотя многих начальников из кузнецовского окружения отправил в тюрьму, а самого Кузнецова разжаловал и снял с должности. Мало того, у него отобрали квартиру — ту самую, в которую мы теперь вселялись. Я заходила в подъезд, поднималась к себе на этаж и всякий раз представляла, как по этим же ступенькам бывший адмирал флота Кузнецов шёл (или его вели?) в последний раз. От такого «актёрского домысла», конечно, настроение не поднималось. Долго я привыкала и к шести комнатам. Причём три из них были огромные, а столовая занимала 38 квадратных метров. Всё это пространство нужно было как-то очеловечить, чтобы Мише и Арсению было комфортно.

Сегодня мне кажется, что я достаточно нелепо прожила те счастливые для меня годы. Любимый муж и сын казались мне таким долгожданным счастьем, что я боялась хоть чем-то его спугнуть. Отчасти поэтому мне не очень хотелось приводить Арсения на артистические вечеринки — я хорошо знала, что театральный мир легко становится завистливым и недобрым. И я старалась очень разборчиво знакомить мужа со мхатовцами. Так же разборчив был и Арсений, знакомя меня с военными.

Здесь я хочу вернуться к истории с Горской. Как я уже упоминала, за полгода до нашего с Арсением знакомства она была репрессирована. Он считал, что от Нины Вячеславовны будут добиваться показаний против него, для того чтобы его арестовать. Было это после суда чести над Кузнецовым и другими адмиралами. Арсений знал, что вслед за адмиралами арестованы несколько офицеров, служивших под его началом в войну на Севере, и что от них тоже добиваются показаний против него…

Много позже, когда Арсения уже не было в живых, один из бывших адъютантов рассказал мне, что Арсений тогда хотел застрелиться. По словам адъютанта, он увидел, что адмирал приставил к виску свой наградной маузер, и вырвал у него оружие в последний момент. Сам Арсений никогда мне об этом не рассказывал. До сих пор не знаю, так ли было дело…

Арсений продолжал откладывать деньги для Горской, и после освобождения, получив значительную сумму, она смогла сносно устроить свою жизнь. Нина Вячеславовна много раз по телефону благодарила за это Арсения, хотела увидеть его, но он избегал встреч с ней. Не могу сказать, чтобы я ревновала. Поступок мужа был мне понятен. А Горская, обрадовавшись моей терпимости, предлагала дружбу, звала в гости, но я на эту дружбу, как ни старалась, оказалась не способна.

Не сложились у меня отношения и с бывшей «домоправительницей» Арсения — Устиньей Емельяновной. Она ушла от нас, хотя у меня и мысли не было её увольнять. На это место мы взяли Анну Владимировну, которая одно время работала у опереточной артистки Лебедевой. Когда я поинтересовалась у Лебедевой, хорошая ли Анна хозяйка, та ответила:

— Она ничего у вас не сворует, но жутко медлительная.

Это оказалось правдой: Анна была человеком редкой порядочности, тщательно выполняла поручения, но так медленно, что можно было повеситься. С нами она прожила тридцать лет — до самой своей смерти. Она же охраняла нашу квартиру, когда нас всё-таки отослали подальше от Москвы…

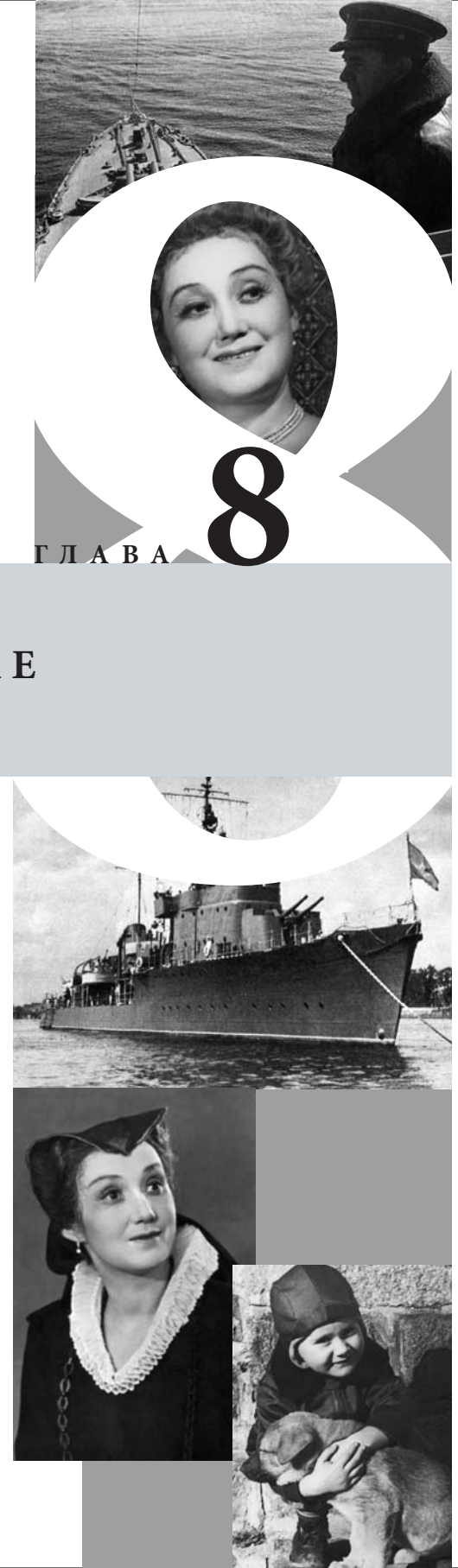
56 В 1949 году Сталин распорядился переселить семью адмирала Головко в Дом на набережной

По мнению Арсения для многих командиров, выигравших войну, кремлёвская атмосфера была тяжелым испытанием. Уже после его смерти я нашла в бумагах черновик письма. Он обращался к Сталину с настоятельной просьбой отправить его на Север, где он раньше служил, в любом качестве, только бы не работать в Москве. Сталин не хотел удовлетворять его просьбу, пока в 1952 году над нами ни сгустились тучи — Арсения обвинили в том, что он скрыл результаты неудачного испытания нового корабля. Сталин просто в бешенство пришёл:

— Расстреляю! — кричал он в своём кремлёвском кабинете.

Арсений встал, пошёл к выходу и только около двери услышал тихо сказанное вождем:

— Если подтвердится…



ГЛАВА 8

НА БАЛТИКЕ

«ТЫ КОНЧИЛАСЬ КАК АКТРИСА!»

Прошло несколько дней, и Арсений сказал:

— Собери мне, пожалуйста, на всякий случай, чемоданчик. Знаешь, как раньше собирали: пару тёплого белья, бритвенные принадлежности, сухари, носки…

Полгода мы ждали… Полгода чемоданчик стоял в прихожей, раз в месяц я меняла в нём бельё. Потом позвонил Александр Поскрёбышев (заведующий секретариатом Сталина — *В.Б.*) и сообщил, что обвинения не подтвердились. Но всё-таки под зад коленом поддали: Арсений ещё куда-то ездил — разъяснял обстоятельства дела.

Гроза миновала, но пришёл конец сталинской любви. Мужа лишили московской должности и отправили командовать флотом на Балтику. Я решила ехать вместе с ним.

Тарасова тогда была директором МХАТа. Пришлось идти к ней брать творческий отпуск на три года, но мои намерения оставить МХАТ Алле Константиновне явно не понравились. Мы прошли в её кабинет (где она только что сменила строгую мужскую обстановку на более изысканную, женскую), и Тарасова стала расхваливать его, словно забыв о моей просьбе. Показывала новые светильники, диван — я отвечала комплиментами. А потом она вспомнила, зачем я пришла, резко взяла моё заявление, подписала и сказала:

— Раз нужно ехать — поезжай. Но теперь ты кончилась, как актриса!

Сколько раз я вспоминала эту фразу, хотя утешала себя мыслью, что мой отъезд для кого-то будет в радость, ведь освобождается сразу несколько ролей, а уж во МХАТе претендентов на них хоть отбавляй!

Кира Головко преуменьшает собственную значимость. Среди её ролей того времени: Натали («Последние дни»), Наташа («На дне»), Губернаторская дочка («Мёртвые души»), Параша («Горячее сердце»), Анна Вяземская («Трудные годы»), Аксюша («Лес»), Свет («Синяя птица»), Лиза («Илья Головин»), Мстиславская («Царь Фёдор Иоаннович»). Замена требовалась, как минимум, в девяти спектаклях.

В Балтийск мы приехали в конце 1952 года. Моя вторая беременность была уже заметна невооружённым глазом (дочь Наталия родится 12 февраля 1953 года. — *В.Б.*). Пузо торчало так, что никакой одеждой нельзя было его прикрыть. Я просила Арсения, чтобы он не тащил меня с собой на новогодний бал в Дом офицеров. Он согласился, но вечером 31-го стал переживать:

— Не хочу я без тебя Новый год праздновать. Все с женами будут, а я один! И не пойти не могу — я же командующий, там будут мои подчиненные.

Я говорю:

— Так ведь юбка на мне не сходится — смотри, какой живот!

— Ну, придумай что-нибудь!

Мы взяли булавки, и каким-то образом закрепили юбку. Сверху я надела белую блузку и темный пиджак. Это был деловой костюм, а на вечер все местные красавицы пришли в вечерних платьях. На следующий Новый год я решила исправить ошибку. Пришла в красивом длинном платье и с удивлением увидела на всех дамах гарнизона строгие костюмы. Так я невольно стала законодательницей мод.

Конечно, как актрисе, и как жене командующего флотом мне нужен был хороший гардероб. За дорогими покупками иногда даже ездили в Ригу. Специально для этого Арсений давал мне служебную «Победу» с водителем — Лешей Германовым. Это был красивый парень с золотым зубом. Все девки, как говорится, «мёрли с него». На работу в Калининградский театр он тоже меня возил. Причём эти 50 километров мы преодолевали всего за каких-то 40 минут, что от Арсения тщательно скрывалось: всё же скорость нешуточная. Однажды, по дороге в Ригу, нам наперерез вылетел грузовик. Лёшка

резко отвернул, мы улетели в кювет и перевернулись два раза боком, а потом ещё и вперед, через фары. Серьёзных травм, к счастью, не получили, разве что ушибы и синяки теперь украшали тело. Меня извлекли из машины, и я стала ходить по склону — искать крышечку от термоса, поскольку она улетела куда-то. Помню испуганные глаза ехавшего с нами адъютанта. Он думал, что я рехнулась.

После этого Лёша двое суток ничего не ел — ужасно переживал.

— Я же мог вас угробить! Какую котлету сделал бы из меня Арсений Григорьевич! — повторял он. Крепкую «Победу» вскоре удалось отремонтировать. Арсению о случившемся я пыталась рассказать с юмором, но ему, конечно, уже было известно о случившемся. Он вызвал Лёшу, намереваясь его уволить, но потом всё же сменил гнев на милость: водитель остался с нами. Кстати, с этим водителем связана ещё одна история. Однажды в Балтийске они с Арсением ночью возвращались домой, и вдруг увидели на обочине матроса. Тот опаздывал на корабль из увольнения и голосовал. Подвозить попутчиков не полагалось, но Арсений сказал:

— Останови!

Открылась дверь, матрос плюхнулся на заднее сиденье, и в салоне резко запахло алкоголем. При этом он попросил как можно скорее отвезти его в военную гавань, но вдруг разглядел адмиральские погоны Арсения, испугался и сказал:

— Извините, я лучше пешком. Остановите, пожалуйста!

Но Арсений запретил водителю даже снижать скорость. Машина мчалась в порт. Без двух минут двенадцать матроса высадили возле трапа его корабля. Он взбежал на борт и успел к сроку. На следующий день Арсений позвонил в его часть, и оказалось, что этот матрос всегда был на хорошем счету. Что было с тем матросом дальше — не знаю. Помню только, что Арсений просил не наказывать парня слишком строго.

Он никогда не был солдафоном — понимал, что с сослуживцами, с подчинёнными нужно вести себя по-человечески, тогда и атмосфера на флоте будет доброй.

Артист московского театра «Сопричастность» Николай Тырин рассказывал:
— О благодеяниях Арсения Головко в Балтийске по сей день ходят легенды. Вот одна из них. Отец моей жены Алексей Кулинкин (флотский связист) после войны нёс дежурство рядом с домом, где жили Головко. И на одном из деревьев увидел яблоки. Он оставил винтовку у забора, перелез через него, нарвал яблок и вдруг увидел огромную собаку.

Она не лаяла, а молча села напротив него, и Алексей не мог сдвинуться с места. Это было в 4 часа утра, а в 6 утра Арсений Григорьевич наблюдал такую мизансцену: собака арестовала матроса. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Арсений Григорьевич. — «Яблоки рвал для матросов». Головко увёл собаку, проводил Кулинкина к командиру и сказал: «Значит так, Кулинкина не трогать. Он яблоки рвал для матросов». И конечно, командующему флота ответили: «Есть!»

И ещё одно положительное качество ему было присуще: Арсений редко повышал голос на подчинённых. Всегда доверял, пытался понять человека, если что-то не сделано вовремя или сделано плохо. Так повторялось и на второй раз, но на третий, если видел, что причиной всему лень или недобросовестность, мог и строго наказать, и резко припечатать…

Я стала играть в Калининградском областном театре, но работу там пришлось довольно скоро прервать — в начале 1953 года Арсений отвёз меня в Москву, готовиться к родам. А незадолго до этого в театре произошёл такой случай: я сыграла Марию Стюарт, и вскоре пришло письмо от учительницы, которая удивлялась, почему Мария Стюарт беременна. У Шиллера ведь нигде не сказано, что его героиня находится в интересном положении. Худсовет посовещался и решил на время снять спектакль из репертуара, а меня отпустить в декрет.

Рожать можно было и в Балтийске, но Арсений настаивал на Москве. Во-первых, там жила моя сестра, во-вторых, там была служебная квартира, которой мы могли пользоваться. А в-третьих, и это самое главное, ему казалось, что медицина в Москве понадёжнее — в особенности в легендарном роддоме на улице Веснина, недалеко от Арбата, где три года назад я рожала Мишу. Правда, тогда круглые сутки шло строительство высотки, известной теперь, как здание МИДа, и спать было невозможно. Первые роды прошли для меня нелегко. Не буду вдаваться в подробности, но чувствовала я себя после них совершенно измотанной. А на утро пришёл главный врач и поинтересовался:

— Ну, как себя чувствуете, Кира Николаевна?

— Ничего, — прошептала я, стараясь выдавить улыбку.

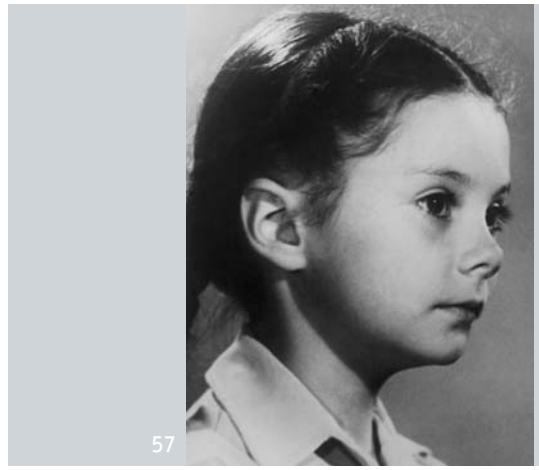
— Будете делать причёску, маникюр? — продолжал врач.

— Какая прическа? Какой маникюр? — изумилась я. — Мне даже встать трудно…

— А Целиковская делала! — ответил он.

Гремевшая в те годы актриса Людмила Целиковская родила сына в этом же роддоме за месяц до меня — в сентябре 1949, и запомнилась персоналу своим желанием и умением выглядеть безупречно даже сразу после родов…

Я была счастлива от того, что теперь, в 1953 у меня родилась девочка. Как её назвать, проблемы не было — ещё до появления первого ребёнка мы решили с Арсением, что мальчика назовём Мишей, а девочку Наташей — ему и мне очень нравились эти имена. И позже,



57 Наташа Головко

58 Миша Головко с матросами Балтийского флота, крайний слева — водитель Лёша Германов

когда моя дочь выросла, окончила Школу-студию МХАТ, сделала первые шаги на сцене, я смотрела на неё и думала: «Как же подходит ей это имя!» Она хорошая актриса, много работала во МХАТе, но спустя годы решила уйти и руководит сейчас студенческим театром при МГИМО.

Впрочем, вернёмся в пятидесятые годы.

Пока я с новорожденной Наташей была в Москве, Арсений оставался в Балтийске. Там 5 марта 1953 года его и застала смерть Сталина. Я пыталась дозвониться мужу, но отвечали адъютанты. Они и рассказали мне, что адмирал сам сел за руль машины, выехал за город, вышел из неё и надолго ушёл так далеко, что приехавшие следом адъютанты потеряли его из вида. О чем он думал тогда, что вспоминал и перебирал в душе — не знаю. Арсений не рассказывал. А я боялась спросить. Много разного, и хорошего, и плохого было

связано в его судьбе со Сталиным. Многие годы Сталин был для него и Верховным Главнокомандующим, то есть почти непререкаемым авторитетом, и жестким, нередко несправедливым начальником. Арсений (знаю это не только с его слов) был одним из немногих, кто решался спорить с Верховным, возражать, отстаивать свою точку зрения и в годы войны, и после. Для него вместе со Сталиным уходила целая эпоха — и жестокая, и трагическая, и одновременно героическая.

Хотя вскоре наступило разочарование. После XX съезда КПСС, когда Хрущёв разоблачил культ личности, Арсений вернулся домой в мрачном настроении. Невозможно описать ту гамму эмоций, которую выражало его лицо. Это и стыд, и удивление, и грусть, и даже брезгливость, и много чего ещё. Он повторял:

— Всё правда. Тем документам, которые представил Хрущёв, невозможно не верить, а я дурак, что раньше часто обманывал себя.

При внешней открытости и доброжелательности Арсений был очень сдержанным, а в чем-то даже скрытным человеком, и многое прятал где-то глубоко в душе. Причём и боль, и трагедии он переживал внешне спокойнее, но гораздо глубже и труднее, чем мы, артисты, переживаем, например, провалы ролей, когда начинаешь всем плакаться: «Ай, самоубийством придётся кончать! Меня публика не принимает». Долгие годы службы Арсению приходилось держать в узде свои чувства, свои эмоции, свои настроения. Это, видимо, стало частью его самого.

НА МЕНЯ ХОДИЛИ

В Калининграде работали быстро, на штампах, что для меня было, конечно, непривычно. Я боялась, что стану провинциальной артисткой: во МХАТе не раз слышала историю о том, как после сезона работы в провинциальной антрепризе Москвин вернулся в театр, и Немирович-Данченко был поражён: за такое короткое время набрать столько штампов, так искривиться, так опошлиться! Наверное, я тоже набралась штампов. Как иначе? Но всё равно я с удовольствием «купалась в лучах славы». За три года я сыграла Марию Стюарт, Юлию Тугину в «Последней

жертве», Марию Александровну в «Семье», Маргарет в «Краже», Марию Михайловну в спектакле «Одна», Фосфорическую женщину в «Бане» и ещё несколько ролей.

На меня ходили. Кажется, даже сборы театра улучшились, изредка зрителями становились и мхатовцы, которым Арсений устраивал путёвки в калининградские дома отдыха.

О путёвках идёт речь в одном из писем, адресованных Кире Головко:

«Дорогая Кира Николаевна!
Вы простите, что мы так пристаём к вам, но дело в том, когда здесь был Арсений Григорьевич, Ольга Леонар. опять заболела гриппом, всякое её заболевание всегда очень волнительно и потому в тот же день я не позвонила Арсению Григорьевичу, а на другой день, когда я позвонила, Светлана (племянница Киры Головко. — *В.Б.*) сказала, что А.Г. улетел. Во-первых, О.Л. очень, очень благодарит за сирень, которая ей доставила большую радость, и ужасно была огорчена, что опять не повидала Арсения Григорьевича. В данное время грипп ликвидирован, и она начала вставать. Просила очень Вас обоих обнять и сказать, что она Вас любит. Теперь насчет путевок, если только возможно, О.Л. очень просит А.Г. устроить для Иверова 2 путевки на 6 недель, начиная с 5–10–15 июля. Стоимость О.Л. не смущает: куда надо перевести деньги? Простите великодушно за нашу просьбу, очень хотелось бы ему помочь <…>

Ваша Софья Ивановна

P.S. Ольге Леонардовне трудно самой написать, и она поручила мне».

Не раз бывала на моих спектаклях Ольга Андровская, которая навещала нас по пути в Светлогорский дом отдыха.

После очередного визита на Балтику Андровская так писала Головко (22 августа 1954 года): «Дорогая Кирочка! <…> Не устаю благодарить Вас и мысленно, и устно, когда мне приходится рассказывать тем близким людям, у которых я сейчас живу, о Вас и Арсении Григорьевиче и о всём Вашем к нам отношении. Мы чудесно доехали — бесконечное спасибо за билеты, за машину, за чудесные цветы из Вашего сада, которые были довезены до Москвы почти в нетронутом виде, в ведре (укупленном на предмет закупки по дороге ещё) — так в ведре они и неслись по вокзалу и в Калининграде, и в Москве, и в квартире — на столе и на туалете — мне ласково заулыбались цветы из Вашего сада и снова мысленно соединили меня с Балтийском, с Вашим домом и с такими ставшими мне много ближе и дороже настоящими Людьми. Как мне хочется сделать для Вас и для Арсения Григорьевича что-то такое, чтобы и Вам было тепло и хорошо и чтобы мы по-настоящему стали близкими друзьями, а это великое и святое слово. <…>

Ваша О. Андровская»

Однажды Ольга Николаевна приехала к нам в гости со своим вторым мужем. Он не имел отношения к театру, казался немного

странным человеком. За ужином он изрядно выпил, потом о чём-то заспорил с Ольгой Николаевной и… уронил на пол наши редкие пластинки, привезённые из-за границы. Андровская плакала и долго извинялась за причинённый ущерб:

— Кирочка, ну как же это?! Ну что за человек? Кто его учил так в гостях себя вести?

Я пыталась её успокоить, но получалось нелепо:

— Ну что вы, Ольга Николаевна, всё в порядке.

— Как же в порядке, когда пластинки уничтожены… Я непременно куплю тебе новые, не думай, не беспокойся!

Но в пластинках ли было дело?

Вскоре они развелись. И в дальнейшем отношения с мужчинами у Ольги Николаевны не складывались. Порой она старалась делать вид, что у неё всё хорошо в личной жизни. Например, однажды мы отдыхали в Переделкино и втроём (я, Андровская и Степанова) шли по улице. Ангелина Иосифовна очень осторожно затронула тему: мол, теперь ты, Кира, адмиральша, такого красавца-мужчину «отхватила». Я в ответ похвалила её мужа, но тут вмешалась Андровская и сказала:

— Что ни говорите, а мой лучше всех!

При этом сделала несколько па из мазурки. На публике она была ужасно артистичной. В день военно-морского флота мы вместе наблюдали морской парад. Едва раздался первый залп салюта, Ольга Николаевна охнула и упала как бы без чувств на руки стройного и красивого офицера — адъютанта Арсения Григорьевича. И падала так при каждом новом залпе. Адъютант от смущения покрывался багровыми пятнами. Хорошо хоть успевал её ловить! Такие театральные штучки она проделывала часто.

Однажды «Марию Стюарт» мы играли на выезде — в Балтийске. Пришла и Андровская, поскольку гостила у нас. Я её предупреждала, что этот спектакль нельзя ни в коем случае смотреть, но она была решительно настроена:

— Значит так, Кира, я зрительница, куда хочу, туда и хожу…

Когда я увидела её со сцены, чуть не забыла текст от волнения. Но ситуацию «спас» пьяный бутафор. Дело в том, что в спектакле у нас был шкаф, в котором Мария Стюарт хранила свои драгоценности. Бутафор должен был придерживать эту декорацию (при немцах в этом здании был мюзик-холл, поэтому пол на сцене был

покатым), но он напился и время от времени шатался вместе со шкафом. Когда Андровская видела качнувшийся шкаф, то импозантно охала на весь зал, чем вызывала аплодисменты. Но бутафор этот шкаф ловил…

Кстати, когда я вернулась во МХАТ, мне назначили экстренный ввод на главную роль в «Марии Стюарт» вместо заболевшей Тарасовой. Я легкомысленно согласилась. Чего бояться: я ведь знаю текст, а это уже половина дела. Но оказалось, что мхатовский спектакль идёт не в переводе Лозинского, как было в Калининграде, а в переводе Пастернака. И я трое суток судорожно переучивала текст. Это было так страшно, что когда я проснулась после первой ночи зубрёжки, то увидела на подушке выдранный клок волос — это я во сне трепала себя.

«ДА ПЕРЕСТАНЬТЕ ЖЕ РЕВЕТЬ!»

Каждый год Калининградский театр отправлялся на гастроли. Однажды, когда мы были в Калуге, за кулисы пришёл незнакомый молодой человек.

— Здравствуйте, я Зиновий, режиссёр калужского театра, — представился он. — Я хочу с вами поговорить.

Позже я узнала его фамилию — Корогодский. Он недавно окончил ЛГИТМИК и приехал работать, как теперь говорят, в регион. Оказалось, что Корогодский не раз видел меня в мхатовских спектаклях, оттого с предвкушением ждал сегодняшнюю «Последнюю жертву», но спектакль его разочаровал.

— Куда пропала ваша выдержка? — говорил он. — Я видел Киру Головко, но не видел Юлию Тугину! Между вами и партнёрами не возникает магнитного поля, каждый играет, как придётся!

Он критиковал моё исполнение не оставляя, как говорится, камня на камне. Я понимала, что он почти во всем прав. И от этой обезоруживающей правоты у меня потекли слёзы.

— Только не плачьте, пожалуйста…

Я оправдывалась:

— Ну что вы, я не плачу. Продолжайте, Зиновий, я полностью согласна с вами.

Он продолжил анализ и вдруг снова остановился:

— Да перестаньте же реветь!

— Я не реву, я всё запоминаю, — стараясь улыбнуться, отвечала я.

Какие замечания он мне сделал? Например, советовал, чтобы моя героиня, которая тоже плакала на сцене, напрочь убрала слёзы.

— Вы утопили зал в своих слезах! — говорил Корогодский.

Он считал, что необходимо убрать излишнюю сентиментальность и «вытянуть», вернуть в спектакль смысл Островского.

Мы подружились, а в 1955 году я (конечно с помощью Арсения) перетащила его в Калининград, где часть труппы сразу его невзлюбила, и меня вместе с ним. Я почувствовала это, когда Зиновий Яковлевич поставил со мной спектакль «Семья», где я играла мать Ленина. На репетициях мы с Корогодским говорили об очевидных для нас вещах, но как только в нашем диалоге появлялась терминология и отсылы к Станиславскому, к опыту столичных театров, на меня начинали коситься, как на ненормальную. Я поняла, что лучше обойтись без примеров и не дразнить коллег по сцене, но было уже поздно — в коллективе появились люди, которых я стала раздражать. Начались сплетни, интриги, но я старалась не обращать на это внимание, а когда мы с Арсением поехали в Берлин, накупила подарков для всей труппы. Какие-то пустяки и актёрам, и костюмерам, и гримёрам. Все это я привезла в театр и раздарила. И вскоре почувствовала, что отношения с коллегами стали теплее, спокойнее.

О том, как я и Арсений любили друг друга, рассказывать, думаю, нет смысла. Он говорил:

— Жаль, что мы поздно с тобой встретились, нарожали бы с десяток детишек.

С первых дней знакомства Арсений обратил внимание на одну неискоренимую черту моего характера — его пугала моя доверчивость, переходившая порой в излишнюю откровенность.

— Кира, выбирай, с кем общаться! — часто повторял он мне.

Или, если компания ему не нравилась, мог тихонько сказать:

— Кира, нам пора, — и мы уходили.

Он боялся, что я скажу лишнее и во что-нибудь вляпаюсь. И даже уберёг меня однажды от неприятной истории: две известные артистки вели «раскованный» образ жизни — как бы это помягче сказать? — в общем, для интереса «обменивались» мужьями. Причём я их намёки не поняла, но Арсений всё мне растолковал, когда мы вышли во двор. И добавил:

— В эти гости мы больше не пойдём…

В общем, учил меня уму-разуму, оберегал, из-за чего казался мне самым справедливым, чутким и воспитанным человеком на свете. Хотя, по его собственному рассказу, за ним и водился маленький грешок: мог по молодости и матерком основательно припустить. За это на заре своей карьеры он схлопотал первый выговор. Про Арсения говорили:

— Сенька хороший парень, но матерщинник!

А передо мной оправдывался:

— Ты понимаешь — скомандуешь спокойно: «Подать носовой» — ну обязательно швартов в воду уронят! А если «присолишь» крепким словом — все отлично сделают!

Я лишь один раз слышала, как он нецензурно ругается. Дело было году в 1955-м. У Арсения выдался редкий воскресный выходной, и мы пошли собирать янтарь на берегу моря, в пограничной зоне — Арсений заранее договорился об этом с пограничным начальством. С нами был маленький Мишка (Наташу оставили дома с няней). Одеты мы были соответствующим образом — во что-то полуспортивное, полудачное. Из военной формы на Арсении была только черная прорезиненная накидка без всяких погон — на случай дождя. Мы пошли по песчаной косе, радуясь хорошей погоде и обилию янтаря. А через час с небольшим из кустов нам навстречу выскочили трое пограничников. Арсений сразу понял, в чем дело — начальник заставы просто забыл предупредить своих подчиненных, о том, что мы не нарушители границы, а семья командующего флотом. К нам подбежал солдат с ружьем. И стал кричать об аресте. Я почувствовала, как Арсений напрягся. Нас засунули в машину и повезли на пограничный пост. Уже в машине солдат, кажется, узнал Арсения (всё-таки командующего флота знали тогда многие), и у него от волнения выпала из рук винтовка со штыком, поранив мне правую бровь. Хлынула кровь. Я приложила платок и говорила:

— Всё в порядке, не беспокойтесь!

Очень не хотела скандала. Но скандал был…

В это время начальник пограничной заставы играл в волейбол. И его команда проигрывала, когда ему доложили, что какие-то люди ходят по берегу.

— Арестуйте! — распорядился он не прерывая игры — я потом разберусь.

60 С детьми Мишей и Наташей

Когда Арсений вышел из машины и начал говорить, я поняла, за что ему в молодости влепили выговор. Я затыкала Мишке уши, чтобы он этого не слышал. Ни разу в жизни, ни до, ни после этого случая я не слышала таких оборотов и эпитетов, таких сочных и неприличных характеристик… Начальник заставы вышел к нему навстречу в трусах и в майке, да ещё и с недовольным видом, что его оторвали от волейбола. Судя по всему, он был не совсем трезв. И когда понял, что перед ним Головко — струхнул, конечно. Засуетился, принялся извиняться. Но Арсений не стал сглаживать конфликт и потребовал, чтобы той же машиной нас отвезли домой...

Кстати, когда Ульянов в «Председателе» ругался матом, я подумала: хорошо, но с Арсением не сравнить! В фильме мата не слышно, но на съёмочной площадке Михаил Александрович в той знаменитой сцене действительно крыл всех деревенских.

…Раз уж мы затронули такую щекотливую тему, то скажу, что из мхатовцев щегольнуть крепким словцом мог Кторов. Он записывал анекдоты в толстую тетрадь и, видимо, в моём лице нашёл благодарного слушателя. Я по молодости была очень зажата, и он решил, что для моего «раскрепощения» нужно рассказывать мне анекдоты покрепче. Он говорил:

— Кира, у меня есть для тебя!

При этом артистка Валя Калинина возмущалась:

— Анатолий Петрович, ну, почему именно Кире?

— Валечка, отойдите в сторонку!

И та жутко обижалась! А он, не обращая на это внимание, тихонько на ухо мне шептал свою новую находку. Например:

— Он схватил её за груди, // Потащил её в кусты. // Не иметь же на дороге // Королеву красоты.

Я жутко смущалась.

Правда, какое-то время спустя Кира Головко и сама стала использовать этот приём для раскрепощения студентов, о чём свидетельствует, например, Николай Караченцов в своей книге «Авось»:

— Первое время, чтобы скрепить курс, педагоги собирали нас у себя дома. Так я познакомился с Домом на набережной, попав в гости к Кире Николаевне Головко, нашему педагогу, актрисе МХАТа и жене известного адмирала Головко. Благодаря ему нам делали отсрочки от армии, поскольку в нашем институте отсутствовала военная кафедра. В их квартире я впервые увидел сразу два туалета. И вообще — размах, бывает же такая жилплощадь! Однажды сидим за столом, выпиваем, шумно и весело, подсаживается ко мне хозяйка дома, народная артистка России, и мне в ухо:

— Кровать была расстелена, // А ты была растеряна // И говорила шёпотом: // «Куда суёшь, ведь жопа там!» (перефразированные строчки из популярного в ту пору стихотворения Е.А. Евтушенко, оканчивавшегося строчкой: «И говорила шёпотом: А что потом? А что потом?»)

Я окаменел. И только спустя много времени понял, что скорее всего она почувствовала: Караченцов, в отличие от других, зажат, и этим хулиганским стихом давала мне понять — здесь нет педагогов. Здесь все равны. Кира Николаевна — интеллигентнейшая женщина, в любой другой ситуации она не позволила бы себе такое по отношению к пацану. А тут звучало: "Расслабься, Колюнь…"»

«ДЕТОЧКА, Я НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ЗАБЫВАЮ…»

Когда Арсений служил на Балтике, моя жизнь протекала не только в Калининграде и Балтийске. Конечно, я бывала и в Москве. Несколько раз я гостила в Гурзуфе у Марии Павловны Чеховой, с которой нас познакомила, разумеется, Ольга Леонардовна. Я приезжала в Гурзуф и когда там не было Ольги Леонардовны. Стучала в голубую калитку, и мне навстречу выходила сестра великого писателя. Описать её довольно трудно. Она была строга, но в то же время радушна, благородна, с острым чувством юмора — таким, что сразу и не поймёшь, шутка это или замечание. Всегда ухожена, хотя косметикой почти не пользовалась. Но главное — она была интеллигентна: типичный представитель чеховского семейства. Не говорила лишнего, чем в советское время и «спасла» образ писателя: номенклатура предпочитала видеть его «антибуржуазным».

…В 1941 году Крым был занят фашистами, но Мария Павловна отказалась покидать свой дом. Она и экспонаты не трогала. На видном месте по-прежнему висел портрет Гауптмана, поскольку Чехов был с ним в приятельских отношениях. Когда в дом вселился один из немецких офицеров и увидел этот портрет, он распорядился не вывозить, а оставить экспонаты на своих местах. Однако о том, какие беды пережила в годы оккупации Мария Павловна лично, можно было догадаться по отдельным фразам: «Мы выжили…», «Мы выстрадали…», «Мы претерпели…»

Она была очень сдержанной и никогда не выставляла напоказ свои переживания. Мария Павловна много возилась со мной, но я опасалась её обременять, поэтому старалась почаще гулять за пределами сада. Тогда Чехова непременно кого-нибудь отряжала (самой ей было уже трудно далеко ходить), чтобы сопровождали меня. Особенно беспокоилась, когда я шла на пляж: там были каменные глыбы, и Мария Павловна знала, что пловец из меня никакой. В отличие от меня, Арсений плавал отлично и не мог без юмора смотреть на мои брыкания в воде.

— Да-а, ты пловчиха будь здоров! — говорил он.

Я купалась и всегда видела в окне Марию Павловну или Ольгу Леонардовну. Они смотрели с тревогой. И мне было неудобно.

В доме мы говорили о простых вещах — например, о моих детях. Разговоров о литературе я старалась не заводить, разве что похвасталась однажды, что Вячеслав Иванов — мой дальний родственник. Но особого восторга это не вызвало: родственник и родственник. Зато фамилия Лангваген вызвала живой интерес: об этой династии они меня много расспрашивали.

Мария Павловна сохраняла дом в том виде, каким он был при Антоне Павловиче: сама убирала, сажала его любимые растения.

Не ленилась проводить экскурсии. Мне запомнилась большая книжка, которую Мария Павловна зачем-то положила на лестнице между ступеньками. Я говорю:

— Мария Павловна, а вы не забыли свою книжку?

Она посмотрела на меня, спустилась на несколько ступенек, подняла книгу и сказала:

— Деточка, запомни, я никогда ничего не забываю!

И я почувствовала себя неловко.

А тем временем в столовой было весело: все ели жареную камбалу, которую невероятно вкусно готовила кухарка… Сколько историй я услышала там про Куприна и про Горького, про Бунина и про Вересаева. Почему я их не записывала? Простить себе этого не могу.

СИТУАЦИЮ СПАС ЛАКШИН

Вместе с мужем отдыхали мы редко, даже когда жили на Балтике. Он поздно возвращался домой, а поднимался ни свет ни заря. Если уезжали на курорт, то совместный отпуск продолжался не больше трёх дней, потому что его всё время отзывали из отпуска. И только в Крыму нам удалось провести вместе две недели. Там навестили нас Ольга Леонардовна с Софьей Ивановной и просили, чтобы мы нанесли ответный визит к ним, в дом-музей Чехова.

Арсений ворчал:

— Куда ты меня везёшь? Что я буду делать у твоих знаменитых старух? Зачем я им нужен?

Ему казалось, что в их обществе он будет чувствовать себя неловко, скованно. И будет мешать нашему общению. Но в конце концов поддался моим уговорам.

«Знаменитые старухи» с порога взяли его в оборот и «раскрутили», что называется, по полной программе. Мигом разговорили! Он отвечал на их вопросы, шутил, рассказывал истории из своей жизни. Почему-то много говорили о рыбалке, о приготовлении блюд из рыбы. Позже Ольга Леонардовна писала мне:

— Мы с твоим Арсением сошлись на камбале.

И ещё:

— Эх, сбросить бы мне десять, нет, пожалуй, пятнадцать лет, я отбила бы у тебя Арсения.

По-моему, ей нужно было сбросить значительно больше…

Окончательно из Балтийска в Москву мы вернулись в январе 1957 года и снова поселились в Доме на набережной. Однако и до возвращения бывали наездами как в столице, так и в Крыму. При этом не прекращалось моё общение с Книппер-Чеховой.

Летом 1955 года Арсений привёз в Москву из нашего сада в Балтийске огромный букет для Ольги Леонардовны, который нужно было поскорее передать, пока цветы не завяли. Я тоже была в Москве (Калининградский театр в полном составе ушёл в отпуск), и в нашей квартире собрались гости, поэтому отнести цветы я не могла. Спасти ситуацию решил Володя Лакшин — в ту пору ещё студент. Арсений вызвал для него такси, сообщил адрес, и Володя, предвкушая встречу с Книппер-Чеховой, нырнул в машину с огромной охапкой цветов. Долго отсутствовал. А когда вернулся, — чувства переполняли его.

Вот как о своём визите вспоминает Владимир Лакшин в книге «Вторая встреча»: «Осенью (на самом деле, история произошла в июле. — *В.Б.*) 1955 года я оказался приглашённым на семейный ужин к актрисе Художественного театра Кире Головко. Её муж, известный моряк, командовавший тогда Балтийским флотом, Арсений Григорьевич Головко, только что прилетел с Балтики и привёз самолётом какие-то огромные, неправдоподобно пышные охапки цветов — георгинов, астр, гладиолусов. Квартира напоминала оранжерею. Все вазы в доме были заняты, а цветы ещё теснились в огромном эмалированном ведре — некуда было ставить. За ужином как-то повернулся разговор, что вспомнили Ольгу Леонардовну: она с редким благожелательством относилась к хозяйке дома, которую в 1940 году (это ошибка — правильно в 1937 году. — *В.Б.*) принимала в театр, была знакома и с Головко. «Надо послать цветы Ольге Леонардовне, — решил вдруг адмирал. — Сейчас же, а то завтра завянут». И вдруг сообразил с досадой: «Эх, машину-то я отослал». И тут вызвался я: съезжу на такси, отдам цветы и к чаю вернусь.

Стали тотчас собирать букет, какой-то ворох роскошных цветов, которые я, прижав к груди, едва втиснул на заднее сиденье «Победы» в шашечках.

На четвёртом этаже знакомого дома с мраморными порталами на улице Немировича-Данченко (т.е. Глинищевского переулка. — *В.Б.*) я с колотящимся сердцем застыл перед дверью. Цветы, которые едва удавалось удерживать двумя руками, сцепленными колесом перед собою, сыпались на пол при каждом движении. Да и сама миссия, с которой я так поспешно вызвался ехать, теперь меня изрядно смущала. Что я должен сказать? Как назвать себя? Остаться, если пригласят, или тут же уйти?

«Кто там?» — послышалось за дверью. Я молчал, не зная, как назваться. «Кто там?» — повторили второй раз. «Откройте!» — сказал я хриплым и отрывистым от волнения голосом. После долгой паузы дверь отворилась.

Теперь вообразите изумление Софьи Ивановны, постоянной компаньонки и домоправительницы Ольги Леонардовны, когда, открыв

61

62

61 Фотография с дарственной надписью: «Дорогому Арсению Григорьевичу с любовью. О.Книппер-Чехова. 3 июня 1953 г.»

62 Борис Ливанов в гостях у адмирала Головко

дверь, она увидела, как на неё безмолвно движется гора цветов. Человека не было видно за ними, цветы несли ноги, и, лишь когда она испуганно отступила, а я занял площадку в прихожей, мне удалось высунуть лицо из-за пышных шапок георгинов и произнести оробело: «Я могу видеть Ольгу Леонардовну?» К этому времени Софья Ивановна оправилась от шока, и, поскольку я продолжал двигаться вперёд, загородила обеими руками вход в комнату, за стеклянными дверьми которой слышны были голоса, звуки рояля. «Ольга Леонардовна занята. Вы кто такой?» — «Вот... цветы», — сказал я потерянно, не зная, куда их деть. «Наверное, я кажусь ей Раскольниковым», — подумал я с испорченностью молодого филолога, голова которого до краёв набита литературными ассоциациями. «Кто вы такой — вас спрашивают?» — настаивала между тем Софья Ивановна довольно сурово. «От Головко», — выдавил я из себя, переминаясь с ноги на ногу <...>.

Я стал отыскивать глазами место, куда свалить наконец цветы, чтобы уйти. Но тут услышал спасительный знакомый голос: «Бог мой, Ольга Леонардовна, да к вам студент... Софья Ивановна, я знаю этого молодого гражданина, впустите его... Он из экспериментальной теплицы... Скажи, как тебе удалось вырастить эти северные орхидеи?»

В дверях возник, приветствуя меня, и уже тащил с цветами в комнату толстый, почти круглый, но лёгкий в движениях человек с круглой же головой и седоватым ёжиком короткой стрижки. Это был Фёдор Николаевич Михальский, театральный администратор, а потом директор музея, которого пол-Москвы за глаза или в глаза называла Федей.

И вот я уже сижу в уютной гостиной, у небольшого круглого стола. Рядом на старинном диванчике, покойно положив руку на подлокотник, а другой перебирая конец шали, расположилась красивая старая женщина в белой кофте, с седыми, в голубизну, слегка подвитыми волосами, с камеей у ворота и медальоном «Чайки», свешивающимся на длинной цепочке <...>. Она одновременно величава и подкупающе проста. Благодарит за цветы и начинает расспрашивать, кто я. «Вы, стало быть, студент... студент...» — повторяет она, словно подбирая тон. И, узнавая глубокий грудной голос, обращавшийся в третьем действии «Вишневого сада» к «вечному студенту» Трофимову, я чувствую, сколько небытовых, неближних ассоциаций будит в ней это слово <...>.

«Так вы студент...» Начался беспорядочный разговор. За столом недавно отгорел ужин, но Ольга Леонардовна попросила для меня прибор и захотела чокнуться со мною серебряной рюмочкой. «Вы студент, а я актриса. Выпейте со мной!» Я мгновенно потерял чувство времени, забыл про такси, дожидавшееся меня в переулке со стучавшим счетчиком, — я чокаюсь, я пью за здоровье жены Чехова!

Оглядевшись в комнате, я мало-помалу стал различать и других находившихся в ней людей — гостей Ольги Леонардовны. Тут были: режиссёр Художественного театра И.М. Раевский, актриса С.С. Пилявская и, конечно, Федя, сидевший вполоборота на крутящемся табурете у рояля и тихонько перебиравший клавиши <...>.

Я спохватываюсь. Давным-давно нужно идти, пролетел почти час, таксист, наверное, проклинает обманувшего его пассажира. Встаю и прощаюсь с Ольгой Леонардовной. Она разочарованно тянет:

— Ку-у-да же вы? — и протягивает мне с улыбкой руку для поцелуя.

Выскакиваю из подъезда, когда моя машина с зеленым огнем уже разворачивается в переулке, собираясь уехать. Я останавливаю её взмахом руки, счастливый, выслушиваю сердитую воркотню водителя <...>»

Цветы от Головко запомнились и самой Ольге Леонардовне. Она написала об этом в письме от 22 августа 1955 года: «Кира, дорогая, часто

думаю о тебе, как-то ты живёшь своими двумя «жизнями»? Отдыхала ли ты?

Как-то раз вечером явился милый студент с неимоверно огромным «чем-то», и когда развернули — мы все так и ахнули от красоты и массы мальв и гладиолусов. И как они долго жили у нас! И каждое утро я, входя в столовую, чувствовала этот чудный привет и твой, и дорогого Арсения Григорьевича, которому ещё низко кланяюсь за его доброе отношение к нашему врачу и другу — а уже как он благодарен — не знаю, какими словами и рассказать. — Как детвора растёт? Когда их увидишь? Дорогая, кончаю, глаза устали.

Обнимаю и целую всех крепко.

Ваша Ольга Леонардовна»

…В последние годы жизни Ольга Леонардовна чувствовала себя неважно: жизнь шла к закату, что не удивительно, ведь в 1950-х годах Книппер-Чехова оставалась единственной актрисой в труппе (если не считать нескольких человек из технического состава), кто работал здесь со дня основания. Переломным для МХАТа стал конец 1940-х годов, когда ушла целая плеяда корифеев: Москвин, Тарханов, Качалов, Сахновский, Добронравов и другие. На 60-летии МХАТа Ольга Леонардовна вручала «Чайки» друзьям театра и юбилярам. Держалась очень стойко. Её тихая речь растрогала меня до слёз. Помню, что и другие женщины тоже утирали слёзы, да и юбилей прошёл без размаха, но тепло, по-семейному. А осенью предполагалось провести вечер в честь Книппер-Чеховой. Она не любила бенефисы — знаю её характер — и вряд ли идея юбилейного торжества принадлежала ей самой.

Но тем не менее афиши были расклеены, а сама актриса вдруг объявила, что ей не 88 лет, как написано в паспорте, а ровно 90.

Вечер состоял из двух частей. В первой труппа сидела на сцене, а Ольга Леонардовна принимала поздравления. Сколько искренних и тёплых слов звучало в те минуты! Потом было и её ответное слово, а после антракта Ольга Леонардовна перешла в директорскую ложу, поскольку на сцене играли первый акт из «Трёх сестёр». И вдруг то ли экспромтом, то ли по задумке режиссёра началась перекличка Ольги Леонардовны с Михаилом Яншиным: он играл Федотика, а Ольга Леонардовна говорила от лица Маши. Какие раздались аплодисменты! Правда, никто не думал тогда, что это — последние аплодисменты в её жизни.

Жить Ольге Леонардовне оставалось полгода. Она умерла 22 марта 1959 года. Агония продолжалась двенадцать дней. Софья Ивановна Бакланова, а потом и Зося, рассказывали мне, что иной раз в этом бреду слышались и фразы чеховских героинь, которых она сыграла ещё до революции.

Ольга Леонардовна прожила удивительную жизнь. Когда её не стало, Софья Ивановна занялась наследством, часть вещей отдала в музей, а мне, по прижизненному распоряжению Ольги Леонардовны, подарила старинный, конца 19 века, флакон от французских духов. Этот флакон я бережно храню. Может быть, его когда-то держал в руках Антон Павлович Чехов…

ВАЖНЫЙ ГОСТЬ

В 1956 году произошло важное событие. Наш дом на Русской набережной посетил Георгий Константинович Жуков. Для Арсения эта встреча была не самой приятной. Не стану вдаваться в исторические подробности, но дело шло о судьбе всего военно-морского флота страны, о позиции Хрущева в отношении вооруженных сил. Жуков, который в ту пору занимал пост Министра обороны СССР, устанавливал новые порядки. После его визита флоты серьёзно потеряли в финансировании, Арсений не знал, как спасать положение, потому что шли на слом многие корабли, сокращались должности, уменьшались оклады, ликвидировались различные денежные надбавки. Георгий Константинович, без сомнения — доблестный полководец, сыгравший важнейшую роль в победе над фашизмом. Военные заслуги его огромны, и я не вправе обсуждать их. Но, по словам многих наших знакомых и друзей, человеком он был очень сложным. И «тяжелым» начальником. Говорили, что достаточно часто он просто не слышит, или не хочет слышать мнение, отличное от его собственного. Арсений рассказывал, как это тяжело, когда обсуждаешь серьезные проблемы, приводишь аргументы, объясняешь, опираясь на важные документы, а тебе в ответ:

— Оставьте эти бумаги себе. Будете делать, как сказал я!

63 Миша Головко пошел по стопам отца

Он привык действовать жестко, решать единолично: может быть, в годы войны он потому так и отличился. И, по словам Арсения, это было отчасти оправдано, когда касалось армии, которую Жуков хорошо знал. Но в отношении флота, авиации дело обстояло по-другому. Однако маршал уже привык считать себя всезнающим.

Куда более выдержанным, воспитанным и доброжелательным показался мне Рокоссовский, с которым у Арсения были дружеские отношения. К тому же, Рокоссовский любил и с детьми общаться:

— Ну-ка, покажи, как вы тут стреляете, как оборону держите! — говорил он нашему Мишке, который бегал в саду с соседскими ребятами. И действительно, с интересом рассматривал мальчишескую «линию обороны».

Вокруг нашего дома был большой сад. Летом вырастало много цветов, особенно я любила розы и мальвы. А под ореховым деревом у Мишки был вырыт окоп. Точнее говоря, окоп образовался сам собой, когда сапёры обследовали наш сад и откопали там несколько ящиков с посудой, домашней утварью и вещами. А ниже были зарыты ящики с немецкими автоматами, патронами и гранатами. Это оружие саперы, слава Богу, увезли. Но и мальчишки не были обижены. В Балтийске и вокруг него со времен войны разбросано было много старого оружия — и нашего, и немецкого. Вот мальчишки и «воевали» двумя ржавыми до дыр автоматами и пулеметом…

О том, что Жуков придёт в наш дом, я узнала буквально накануне. Обычно Георгий Константинович не ходил по гостям, но тут, видимо, захотел познакомиться поближе с семьёй Арсения или побывать в нашем доме (ходили слухи, будто мы живем в каком-то особенном, роскошном особняке).

Дом был не то чтобы роскошный, но на фоне других построек в Балтийске действительно выделялся. Говорили, что до 1945 года, при немцах в нём жил хозяин судостроительного завода. Часть былой обстановки сохранилась. В просторных комнатах были камины, облицованные плиткой с изразцами на разный манер. Огромная веранда. Однако как только Георгий Константинович переступил порог, дом мне показался не таким уж просторным. Полководец буквально подавлял своим голосом и нажимом.

Первым делом обратился к Мише:

— Знаешь меня?

— Да, — пролепетал сын.

— Кто я?

— Георгий Константинович Жуков.

— Не правильно! Нужно говорить: четырежды герой Советского Союза, маршал Советского Союза, министр обороны СССР, кавалер двух орденов «Победы» Георгий Константинович Жуков! Ну-ка повтори!

Мишку повело, потому что шестилетнему мальчику запомнить это тяжело. Арсений стоял бледный и растерянный (часом ранее у них прошли переговоры, и неприятный разговор о судьбе флота уже состоялся). Вокруг Жукова толпились военачальники, адъютанты. Мишка продолжал молчать. И тут обстановку разрядила Наташа. Она протиснулась между ними, вылезла из-под ног и сказала:

— А Мишка у нас старшина второй статьи!

Все засмеялись. Оставили сына в покое и пошли к столу. Кстати, Наташа была недалека от истины: у Миши действительно была форма старшего матроса, пошитая на его размер, но показывать её было некогда: детей быстро увели спать, чтобы не мешали принимать гостей…

За столом Арсений сидел подавленный. Старался улыбаться, но я видела его глаза. А Жуков всё время говорил. Говорил громко, не давая никому вклиниться в его монолог. И говорил только о себе. Он с порога показался не очень галантным. При входе у нас стоял небольшой столик, и под стеклом лежали мои фотографии из спектаклей.

— А эта здесь причём? — громогласно удивился Георгий Константинович, глядя на фото.

Он, видимо, не сразу вспомнил, что у Арсения жена — актриса, я даже уверена, что это интересовало его в последнюю очередь. Если Сталин знал и хорошо помнил, кто чья жена, то Жуков даже не пытался в это вникать, хотя внучатая племянница Жукова и говорила мне позже, будто он ходил на мои спектакли именно потому, что я «адмиральша».

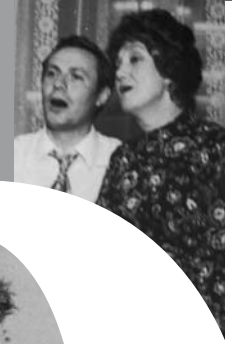
Накануне визита маршала к нам в дом нагрянули проверяющие: простукивали стены, заглядывали в камины, открывали шкафы. Особенно противно было, когда мужчины стали копаться в белье. Здесь я уже не сдержалась и сказала:

— Вы думаете, я стала бы хранить взрывчатку в своих тряпках?

Но проверяющий только недовольно посмотрел на меня. Этикет их совершенно не волновал. Зато волновала обстановка — как будет стоять стол, где рассядется свита из пятнадцати человек, кто будет подносить еду, и какая будет, как выразился один из них, «разблюдовка», то есть что, и в каком порядке будет подаваться к столу. Я объяснила им, что большую створчатую перегородку, которая разделяет зал на две комнаты, можно раздвинуть и будет много места. Здесь адъютанты и поставили стол. К счастью, во время обеда места хватило всем. Две кухарки-поварихи, Анна и Марина Петровна, накануне этого визита почти всю ночь возились на кухне.

…Шесть лет спустя, когда Арсения не стало, маршал Жуков на похороны не пришел, хотя были первые лица страны. Приехал и Брежнев, и Анастас Микоян, и многие другие...

Через несколько лет после нашего отъезда из Балтийска в нашем бывшем доме устроили детский сад. Говорят, дом сохранился по сей день, но мне уже не судьба взглянуть на него…



ГЛАВА 9

ВОЗВРАЩЕНИЕ

МЫ СОСКУЧИЛИСЬ ПО СТОЛИЦЕ

В Москву меня тянуло всё время. Я получала письма от друзей и коллег. Продолжала числиться во МХАТе, поскольку брала творческий отпуск на три года, но потом его продлевала и когда в 1957 году, наконец, смогла вернуться, Станицын сказал:

— Она нам не нужна, потому что стала провинциальной.

Не нашлось иных свидетельств того, что именно Станицын был против возвращения Киры Николаевны во МХАТ. А по мнению театроведа Бориса Поюровского, «такого категорически быть не могло, поскольку Станицын очень тепло к Кире относился». Слова Бориса Поюровского подтверждаются и перепиской между Станицыным и Головко, которая сохранились в Музее МХАТ. Видимо, фраза про ненужность и провинциальность могла быть додуманной или принадлежала иному человеку. Борис Михайлович предполагает, что в какой-то мере мог препятствовать возвращению Головко Василий Александрович Орлов, поскольку продолжал её любить и, видимо, опасался новых встреч.

Я думаю — его кто-то настроил против меня, он даже ездил к партийному начальству говорить, что Кира Головко за годы работы в Калининграде стала провинциальной артисткой. Но там любили не только Станицына, но и Арсения Григорьевича, поэтому ответили Станицыну так:

— А мы вам советуем — пошлите ещё какую-нибудь молодую актрису в провинцию. Пусть она там сыграет столько же ролей, сколько сыграла Кира Николаевна…

Так что меня восстановили в труппе.

За несколько лет жизни на Балтике мы с Арсением соскучились по столице. Кроме того, подрастали дети, и хотелось дать им хорошее образование, поэтому в Москву ехали с большими надеждами. Да и в отличие от Северного флота, которым Арсений командовал всю войну, служба на Балтике ему нравился меньше. Он не раз повторял:

— Понимаешь, на Севере меня любили, а здесь только боятся.

Я чувствовала, что Арсений не то чтобы устал от службы, а скорее переживал крушение иллюзий. Масла в огонь подлила смерть Сталина и последовавшее за ней разоблачение культа личности, из-за чего игра в политическом театре стала совсем запутанной и трудно было понять, в чью пользу она идёт. Он теперь уже с меньшей охотой ездил в свой Главный штаб флота, как будто чувствовал неладное. Арсений был первым замом С.Г. Горшкова (Главнокомандующий военно-морским флотом СССР. — *В.Б.*). Не буду углубляться в подробности, поскольку разговор у нас всё же о театре, но скажу лишь, что отношения между ними складывались сложно.

Во МХАТе после возвращения мне пришлось несладко. До отъезда в Балтийск я была, что называется, «молодой артисткой, подающей надежды». Но теперь же я стала адмиральшей. И, вероятно, многие меня именно так и воспринимали: чем Кирка лучше нас? Как сказала жена одного крупного актёра, *я никогда не обменяю своего мужа на адмирала. Сегодня он адмирал, а завтра — г…но.*

Когда мы были на гастролях в Лондоне, всем подарили по большой коробке шоколадных конфет. Помню, что коробки были очень красивые, покрытые атласной тканью, и я решила передать их домой — Арсению и детям — через писателя Фёдора Панфёрова, который уезжал раньше. Прошло немного времени, и я вдруг слышу, как Анастасия Зуева говорит:

— Кирка такая скупердяйка. Я открыла и всех угощала. А она даже не распечатала.

Когда я вернулась в гостиницу, от обиды расплакалась. Ужасно нелепый случай, ведь не жалко мне конфет — просто хотела мужу сувенир передать. Впрочем, никогда напрямую мы с Зуевой не конфликтовали, но настроение она умела испортить. Подчас это случалось и во время спектакля. Когда партнёр по

сцене произносил свои реплики, она любила делать замечания: «Стань ровно!.. На два шага ко мне!.. Тебя не слышно!.. Отойди, отойди в угол!.. Повернись к залу!..» Публика, конечно, её замечаний не слышала, но они сбивали партнёров. Зуева могла во время действия возмущаться и техникой сцены: «Сволочи, прожектор не туда светит…» Однажды её бормотаний не выдержал Борис Ливанов. За кулисами он схватил кресло и помчался за ней. А она, приподняв юбки, бежала по театру: «Спасите, убивают!» Потом он швырнул это кресло, но, конечно, мимо. Я думаю, он и не целился в неё, просто напугать хотел. Она ведь кого хочешь могла вывести из себя. Даже своей близкой подруге Алле Тарасовой она иногда что-то нашёптывала во время спектаклей.

Сын Зуевой выпивал. У него была удивительная способность куда-то исчезать накануне большого сборища. Анастасия Платоновна расслаблялась — гости усаживались за стол, и в этот момент появлялся Костя. Зуева вскакивала:

— Ой, Костя, Костя, уходи, уходи, уходи…

Оберегала от неприятностей и себя, и других. А Костя ждал, когда его станут приглашать за стол и хватать за руки, чтобы оставить. Это была очень шумная театральная семья. К концу жизни Анастасия Платоновна по просьбе одной из газет написала о ком-то очерк. В редакции текст подправили и опубликовали. И она, почувствовав в себе журналистский дар, принялась писать без конца. Уже потом Марк Прудкин рассказывал мне (он был свидетелем), как Зуева кричала в соседнюю комнату:

— Лена, Лена, балерина через два *лэ* пишется?

И я это рассказала на вечере, посвящённом Зуевой, чем, к своему несчастью, обидела её родственников. Но это было так прелестно «балерина через два *лэ*». Я прямо слышу, как она это говорит. И Прудкин делился со мной без злого умысла. Он вообще был человеком с замечательным чувством юмора. Не унывал даже в ту пору, когда разводился с Раисой Молчановой, хотя это была жуткая драма для них обоих. Раиса ловила всех (а меня — в первую очередь), сажала на зелёный бархат около сцены и часами изливала душу. Жаловалась, что всю жизнь его опекала, а он… «женился на проститутке». Я старалась не попадаться ей на глаза, потому что новая жена Прудкина (помреж Екатерина Прудкина. — *В.Б.*) мне очень нравилась, она была прехорошенькая и тоже любила

его. Не смогла утаить эту любовь от своего мужа Звенигородского и открыто обо всём рассказала.

А ещё она была удивительно ловким, темпераментным человеком. Я даже немного побаивалась её. Около МХАТа была столовая, и Катя там однажды на моих глазах поймала воришку. Я даже не заметила пропажи, а Катя моментально «вычислила» — при всех наскочила на неё, задрала юбку и достала спрятанные в штанишки деньги. У меня пот выступил от неожиданности и страха.

«ТЫ СОХРАНИЛА МНЕ ЗЯТЯ»

Изменился ли МХАТ за годы моей работы на Балтике? После войны театр возглавлял актёр и педагог Михаил Кедров. Потом его положение не раз менялось, но до 1960-х годов он принимал видное участие в управлении театром. В 1949-ом он стал главным режиссёром, а когда я вернулась в Москву, был уже членом художественной коллегии МХАТа. Во многом из-за него внутренняя гармония театрального дела, которую прежде удавалось сохранять, оказалась нарушена. Это понимаешь теперь, много лет спустя: Кедров был не из тех людей, кто мог и хотел спорить с властью. В итоге, МХАТ оказался с одной стороны канонизирован, а с другой — распахнул двери перед конъюнктурщиками. Михаил Николаевич не только утвердил к постановке, но и лично поставил «Залп “Авроры”» Большинцова и Чиаурели, «Зелёную улицу» Сурова, «Чужую тень» Симонова и другие однодневки. При нём из театра ушли Кнебель и Марков. А сам Кедров жил по принципу «тише едешь — дальше будешь». Мог годами «мариновать» спектакли, держать артистов без ролей. При нём все споры о творческом методе прекратились. Всё стали решать наверху, появился режиссёрский диктат.

О сложностях руководства театра в этот период написано множество статей, хотя мало где сказано о настроениях артистов. Эти настроения выражены, например, в письмах Светланы Баталовой и Ольги Андровской, адресованных Кире Головко в Балтийск. Приведём несколько фрагментов.

24 декабря 1953 года Светлана Баталова пишет: «Сегодня днём показывали «Синюю [птицу]» театру. Кедрило тряс головой с кислым лицом, а «хозяйка» (А.К. Тарасова. — *В.Б.*) сказала маме (О. Н. Андровской. — *В.Б.*):

— Знаете, Лёля, я плакала! — значит, «прошибло». Спектакль такой чудесный, что все выходят из зала с просветлёнными лицами. За 40 с лишним лет лучшего детского спектакля, по-моему, не было».

22 сентября 1954 года. Письмо от Баталовой: «У нас сейчас в театре так трудно и нехорошо, так смутно, что даже и не представляю себе, во что это выльется. Никогда не было так скверно. И совершенно неизвестно, была ли бы у тебя настоящая интересная творческая жизнь, если бы ты была в театре. Среднее поколение всё у нас сейчас загнано в такую щель, что не поймёшь, когда оно выберется. Почти все (да не «почти», а все!) сидят без работы, вся ставка — на молодёжь, которая пока не очень-то себя оправдывает. Средним поколением «затыкают дыры». И отношение руководства к нему самое неблагожелательное. Один человек, занимающий официальный пост, недавно мне сказал, что он бы вообще всех разогнал и оставил только молодёжь (студ. группу) и стариков.

Словом, настроение у всех довольно безрадостное. Петька (муж — Пётр Баталов. — *В.Б.*) у меня в хандре, потому что не только почти ничего не репетирует, но и не играет, — так как-то сложилось, что и пьесы его почти не идут. Многие артисты сидят без работы. Пьесы, которые репетируются, — ещё большой знак вопроса, и неизвестно и очень сомнительно, поднимут ли театр на ту ступень, на какой он должен быть.

Словом, очень всё туманно. Нину Базарову сняли с роли в «Сердце не прощает», назначили Лабзину. Любке «Горячее сердце» не дают, репетирует Хромова, ну и т.д. Примеров привести можно много».

26 апреля 1955 года Ольга Андровская пишет: «У нас в театре большие перемены — новый директор Солодовников, и теперь художественной жизнью управляет не Кедров, а художеств[енная] коллегия, которая ещё не сформирована. Может быть, так будет лучше, т.к. хуже того, что было — не может быть. Во всяком случае, «исторический период дамского рукоделия» и управления театром «на ходу» с оптимизмом, который граничил с преступностью, кончился, и, надеюсь, не повторится. Пока что директор ко всему присматривается и, кажется, судя по слухам, не намерен становиться под пяту тех, кто в разных вариантах управлял в эти годы театром и довел его до настоящего тяжелейшего положения. Приедете — придёте в театр — там сразу Вам наговорят с три короба, и всё узнаете».

Впрочем, эти проблемы касались в первую очередь постановщиков и членов художественной коллегии. Я в начальный период его руководства была на Балтике, а когда вернулась, ни в какие административные дела не лезла. Мне казалось, он на дух меня не переносит… Но в конце 1960-х Кедров ни с того ни с сего стал проявлять своё расположение (впрочем, в ту пору он не был уже худруком, но возглавлял худсовет, и от него часто зависело распределение ролей).

64

65

66

64 Михаил Кедров

65 Марк Прудкин

66 Алексей Грибов, Кира Головко, Владимир Белокуров, Алла Тарасова
Фото из Музея МХАТ

Поводов для такого внезапного улучшения отношений, я думала, нет: ещё в войну мне дали роль Наташи в «На дне», отняв её у жены Кедрова — Марьи Андреевны Титовой. Но оказалось, что у Кедрова своего рода корыстный интерес. Как-то он пригласил меня в свой кабинет и сказал, что мужа его дочери забирают в армию (а тогда забирали на три года).

— Понимаешь, он единственная наша опора, — говорил Кедров. — Ни я, ни дочка, водить машину не умеем, а без нее мы, как без рук.

И просил, пользуясь моими военными связями, освободить зятя. Правда, дело осложнялось тем, что в ту пору я была уже вдовой, но Кедров, видимо, решил, что я по-прежнему поддерживаю отношения с военными. Деваться было некуда, и я с Карлычем поехала в Переделкино к другу Арсения генералу Сергею Матвеевичу Штеменко.

Карлычем Кира Николаевна называет педагога Школы-студии МХАТ Виктора Карловича Монюкова (1924–1984). Их совместный визит к Штеменко вызван тем, что благодаря связям Киры Николаевны удавалось освободить от военного призыва студентов Школы-студии, наиболее талантливо проявивших себя во время учёбы.

Подойти к даче было сложно, поскольку по двору бегали злые собаки, и хозяин нам кричал:

— Не двигайтесь, не шевелите руками!

Наконец, собак заперли в будке, и мы прошли в дом. Сергей Матвеевич замечательно нас встретил, вспоминал об Арсении. А потом Виктор Карлович заговорил об освобождении от призыва.

— Ладно, — сказал Штеменко. — Попробую что-нибудь сделать.

И в итоге, освободил десять человек, включая студентов Школы-студии (кстати, это был курс, на котором учился Коля Караченцов).

— Ты сохранила мне зятя, — благодарил меня Кедров. И просто светился от счастья: видимо, атмосфера в доме была уже накалена до предела. На радостях он стал вдруг рассказывать мне, что всегда ценил меня как актрису.

— Вам, наверное, будет приятно слышать, — сказал он, — я ведь подглядывал в замочную скважину, когда вы репетировали Натали в пушкинском спектакле. И был очарован.

Я удивилась: что мешало ему войти в зал? Но он сказал, что якобы боялся нарушить ход репетиции.

Вообще же он был скрытный, дотошный человек. Во МХАТе забавно пародировали, как Михаил Николаевич, скажем, покупает виноград. Вот он обращается к продавцу — просит показать одну гроздь, затем другую. Взвешивает виноград, потом извиняется, просит достать ему виноград с витрины. Снова взвешивает и снова недоволен какой-то ерундой. Очередь уже стонет, а Кедров, не обращая ни на кого внимания:

— Нет, это не нужно, покажите вот то…

Его мастерски пародировал Кторов, который однажды оказался с Кедровым в магазине. Причём чем дольше продолжалась сценка, тем становилось смешней. В итоге, Кедров продолжал выбирать виноград, а покупатели расходились по другим магазинам.

МУЖЬЯ И ЖЁНЫ

Арсений не любил официозности, долгих церемоний, а в отпуске всегда одевался просто, хотя некоторые военные ходили в форме даже на пляж. Помнится, таким был третий муж Тарасовой — генерал Александр Пронин. Как-то мы оказались вместе в Крыму (кажется, были чеховские торжества), и Пронин, едва

заметив Арсения, вытягивался и отдавал честь, хотя Арсений в своей лёгкой летней рубашке совсем не стремился, чтобы его узнавали.

А незадолго до этого произошёл и вовсе комический случай. Стояла дикая жара, и Арсений в театре сказал мне:

— Гляди, какой-то чудак пришёл в кителе.

Я ему:

— Тише, тише, это же муж Тарасовой.

Смотрю, и Тарасова сидит рядом — в строгом платье и в обязательной газовой косыночке на шее. Она строгой была всегда: если бы увидела Арсения в рубашке с коротким рукавом, думаю, осудила бы меня.

У нас сложные были с ней отношения. Когда я вернулась во МХАТ, она однажды встретила меня в коридоре и сказала:

— Мне неприятно обращаться к вам с такой просьбой, но приходится через вас просить вашего мужа.

Я ответила:

— Алла Константиновна, ну что вы?! Я думаю, моему мужу будет почётно выполнить любое ваше поручение. Он ваш поклонник и высоко ценит ваш талант.

Она немножко подобрела и сказала:

— Вы знаете, просьба деликатная… Сын моего мужа служил на Северном флоте, женился. Потом его перевели в Ленинград, и там он с семьёй по углам ютится, сами понимаете… Если бы удалось каким-то образом выбить для него квартиру…

Я немного растерялась, но тем не менее вечером пересказала Арсению за ужином эту историю. Он совершенно спокойно ответил.

— Да ладно, не переживай, попробую что-нибудь сделать.

У него был знакомый морской начальник в Ленинграде. И квартиру, действительно, дали. С тех пор Тарасова раскланивалась со мной за версту, да и я уже не испытывала такого волнения рядом с ней.

Однажды на мхатовском вечере я рассказала о своих отношениях с Тарасовой, с её мужем и про пресловутую квартиру — дёрнул же чёрт! И вдруг Виталий Вульф перестал со мной здороваться. Видимо, обиделся за Аллу Константиновну. Но я и не собиралась подчёркивать собственную значимость, просто эта история мне казалась занятной.

Иногда мне доставались роли Тарасовой. Я даже не пыталась в них «соперничать» с ней: понятно, что «переиграть» её невозможно, хотя многие и пытались. Если в Театре Вахтангова все играли «как Борисова», то у нас играли «как Тарасова» — подражали её интонациям. Я строила роли всё равно по-своему, ориентируясь на свои внутренние ощущения.

Что говорить об успехе? Наверное, он не шёл ни в какое сравнение с успехом Аллы Константиновны, но это было моё видение роли и моя жизнь в предлагаемых обстоятельствах.

> 25 мая 1957 года Алла Константиновна получает такое письмо от Киры Головко: «Дорогая Алла Константиновна! Всю эту неделю я репетирую “Жертву” (впервые роль Юлии Тугиной Кира Головко сыграла в спектакле 28 мая 1957 года) и всё время думаю о Вас, вспоминаю Вас…
>
> Ваша Юлия — чудесная женщина — один из самых любимый мной образов, созданных Вашим огромным талантом!.. И сейчас, волею судьбы, вплотную подойдя к этой работе, я отчётливо понимаю, что не сумею передать и сотой доли того, что с такой лёгкостью, с такой неподражаемой красотой вкладывали Вы в этот образ…
>
> Я мечтаю ещё и ещё видеть Вашу Юлию, мечтаю ещё и ещё учиться у Вас! Дай бог Вам здоровья и сил! Скорее возвращайтесь к нам! Простите меня за смелость — писать к Вам.
>
> Любящая и уважающая Вас Кира Иванова».

Я вспоминала уже, что была срочно введена на роль Марии Стюарт, а потом и Юлии Тугиной, но довольно скоро спектакли сняли: «Мария Стюарт» с моим участием прошла три раза, а «Последняя жертва» — семь. Возможно, я покажусь необъективной, но причина столь короткой жизни «Марии Стюарт» была в том, что на поклонах из зрительного зала кричали:

— Головко! Головко! Головко!

Но не кричали:

— Степанова!

А Степанова, игравшая королеву Елизавету, никак не могла пережить чужой успех и, будучи секретарём парткома, повлияла на то, чтобы спектакль сняли.

Трудно сложилась судьба и у «Анны Карениной», поскольку Тарасова считалась непревзойдённой исполнительницей заглавной роли. После её ухода на больничный Каренину играла Бабахан (актриса, совсем немного работавшая во МХАТе). Был и ряд других замен. Довольно скоро Ангелина Степанова подняла вопрос о снятии спектакля.

ГЛАВА 10

«ОТТЕПЕЛЬ»

РОЖДЕНИЕ «СОВРЕМЕННИКА»

В Москве хрущёвская «оттепель» наступила раньше, чем в Калининграде, где чиновники прочно держались за свои места и боялись в чём-либо «отклониться от курса партии и правительства». И если в Москве новые идеологи еще до XX съезда стали постепенно отпускать закрученные Сталиным гайки, то в Калининграде всё ещё процветали старые порядки. А потому спектакли принимались со скрежетом; многочисленные комиссии часами обсуждали новые постановки, боялись допустить оплошность. Никто не хотел лишиться должности из-за того, что в спектакле, например, звучит западная музыка. И только если один из участников дискуссии говорил:

— Такая музыка используется в спектакле МХАТа (или Малого театра, или Театра Вахтангова), — карта противников была бита.

Я вернулась в знакомую столицу, но за время моего отсутствия, здесь многое изменилось. Во МХАТе заметно ослабла цензура. За кулисами больше не дежурил начальник правительственной ложи. Перед выходом на сцену нас перестали обыскивать, потому что из темноты уже не торчали хозяйские усы. Другими стали и закулисные разговоры. Например, часто обсуждались публикации «Нового мира». Ты не мог считаться современным человеком, если не знаком с литературными новинками, не ходишь на вернисажи, не видел выставку импрессионистов в Пушкинском музее… И всё же некоторый страх, опасения быть наказанным за «аполитичные суждения»

еще витали в воздухе. У нас работал артист Мозалевский, который никогда не проявлял своего характера, не лез ни в какие советы и комиссии, а на спектакли приезжал прямо с дачи. Однажды он поделился с коллегами:

— Сегодня посадил смородину.

И шёпотом добавил:

— Чёрную.

У него спросили:

— Почему вы говорите шёпотом?

Мозалевский поглядел по сторонам и еле слышно ответил:

— Партком если услышит, спросит: а почему не красную…

Факт из разряда театральных баек, но в любую другую эпоху эта история потеряла бы свою сатирическую привлекательность. Имя Сергея Александровича Мозалевского не упоминается в мемуарах, крайне мало сведений о нём содержится в музее МХАТа, поскольку артист по причине своей шепелявости ни разу не сыграл сколько-нибудь заметной роли, хотя попал в театр ещё в 1898 году, и до конца жизни выходил исключительно в массовке. В 1948 году в Москве увидела свет книга военного дипломата Алексея Игнатьева «Пятьдесят лет в строю». В то же время мхатовцы отмечали полувековой юбилей своего театра, поэтому шутили, что Мозалевский тоже пишет книгу под названием «Пятьдесят лет СТОЮ». Как вспоминает Кира Николаевна, Мозалевский никогда к спектаклям не готовился (роль-то учить не надо), но дело своё любил. Однажды на репетициях «Горя от ума» на него, переминающегося с ноги на ногу, обратил внимание Немирович-Данченко, который тут же потребовал, чтобы Мозалевский рассказал о своём персонаже — кто у него родители, как сложилась судьба, о чём он думает, на что Мозалевский ответил: «Владимир Ивановищ, не дуриче мне голову. Шкажите лучше, где мне штать…» Это было неслыханной дерзостью по тем временам.

В эти же годы в Школе-студии МХАТ стали происходить неслыханные вещи. Папа Веня (прозвище легендарного ректора Вениамина Захаровича Радомысленского. — *В.Б.*) разрешил студентам вопреки всем существующим нормам репетировать на учебной сцене и оставаться в вузе после окончания занятий. Сложилась довольно большая группа студентов, которые дневали и ночевали в Школе-студии, репетировали до четырёх утра, мечтали возродить мхатовский дух начала века, который к тому времени во многом был утрачен. Вот из этой группы, из студенческого театра и родился знаменитый «Современник».

Напротив МХАТа в Камергерском переулке было кафе «Артистическое», куда многие мхатовцы заходили в промежутках между

репетициями или спектаклями. У студентов это кафе пользовалось особой популярностью, поскольку здесь можно было подискутировать об искусстве, познакомиться с журналистами, побеседовать с актёрами, критиками, художниками. И вот среди этой публики (в двух кварталах от Кремля) часто громко и горячо обсуждались и эти ночные репетиции, и необходимость нового подхода к театру и жизни вообще, велись разговоры совершенно невозможные ещё три года назад. Наконец, в апреле 1956 года в полночь на учебной

67 С первых лет жизни «Современник» стал самым аншлаговым театром Москвы

68 Олег Ефремов в спектакле по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». 1956 г.

сцене состоялась премьера спектакля «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова. Эта дата считается днём рождения «Современника». Пересказывать дальнейшую историю театра нет смысла, но скажу о собственных ощущениях. Мне нравились эти способные и энергичные ребята. Но могла ли я тогда предположить, что основатели «Современника» — Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачёва, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Виктор Сергачёв — станут звёздами первой величины на театральном небосклоне страны и не одно десятилетие подряд смогут держать высокую планку актёрского мастерства?

Кстати, мало кто знает, что появлению молодёжной студии, сама того не желая, способствовала в какой-то мере и Тарасова. Я помню, как во МХАТ пришёл устраиваться молодой Ефремов. Тарасова была директором. Посмотрела его работы и сказала:

— Неплохо! Но у нас уже есть актеры на амплуа простаков. Ещё один простак театру сейчас не нужен! На что Ефремов ответил:

— Я вернусь сюда главным режиссёром.

Так и случилось. Вот только Тарасова об этом уже не узнала.

Олег ушёл в Детский театр. Оставь его Тарасова, кто знает, был бы у нас «Современник»?

Не помню, как началось наше знакомство, но пару лет спустя Олег Ефремов стал приглашать меня в свой театр. К тому времени студия молодых актёров уже обрела обязывающее название «Современник». Спектакли гремели, отличались очевидным мастерством и очаровательными «придумками». Словом, я влюбилась в этот театр. И вдруг оказалось, что любовь может стать взаимной, поскольку мне стал ночами звонить Олег (тогда ему было тридцать лет) и уговаривать перейти к ним. Арсений ворчал:

— Почему он раньше не может позвонить?!

Ночные звонки ему мешали, поскольку на работу он вставал очень рано. И хотя роли предлагались очень симпатичные, я уклонялась от настойчивых просьб, но стоило положить трубку, как начинались сомнения. Даже плакала несколько раз. Арсений говорил:

— Ну, что ты ревёшь? Плюнь на свой МХАТ и иди уж в «Современник»!

Но я не могла предать театр, куда меня взяли фактически с улицы, без специального образования, да ещё и при конкурсе 637 человек на место! Хотя творческая жизнь МХАТа в ту пору пришла в настоящий упадок. Я понимала, конечно, что отказываясь от «Современника», останавливаюсь в развитии как актриса. Даже порой думала: всё, перехожу к Ефремову, но в тот же момент чувствовала себя предательницей. В общем, я осталась в Художественном театре, за что Олег Николаевич, как мне кажется, всю жизнь таил на меня обиду.

Свидетельницей этих телефонных переговоров была Лилия Толмачёва — первая жена Олега Ефремова. «Олегу очень нравилась Кира, — говорит Лилия Михайловна, — и он настойчиво предлагал ей перейти в нашу труппу, но она отказывалась, поскольку ей предстояло играть великовозрастных дам, а при её красоте и первых ролях во МХАТе рисковать не было смысла. И я Киру Николаевну всегда понимала и Олегу пыталась объяснить, что Кире совершенно невыгодно переходить в «Современник». И он тоже это понимал, но по характеру был настойчив до упрямства и всегда старался добиваться своего. И, сколько я помню, получив отказ, всё равно очень тепло отзывался о ней. Это ничуть не нарушило их дальнейшее общение».

По словам же Киры Николаевны, великовозрастные роли никогда её не смущали. Мало того, к мысли о переходе в «Современник» она возвращалась ещё не раз. Об этом свидетельствует, например, письмо кинорежиссёра Лео Арнштама от 14 января 1968 года, в котором есть такие строки: «Очень меня занимает и волнует идейка насчёт “Современника”. По-прежнему! Когда же ты поболтаешь с Виленкиным? Постарайся не откладывать. Я понимаю отчётливо, что из всего этого может ничего и не получится, но самый порыв твой мне бесконечно дорог. И я очень хочу, чтобы ты посмелее попыталась всячески осуществить эту неразумную, на первый взгляд, акцию. По-моему, ты будешь неправа, ежели поставишь вопрос (поначалу): “Возьмите меня, если я вам буду нужна для некоей работы”. В желанный организм театральный идут не на роль, а для того, чтобы включиться в его жизнь, в его повседневное. Конечно, я не идеализирую и “Современник”. Там, наверное, не меньше грязи.»

«ДОМ, ГДЕ МЫ РОДИЛИСЬ»

Начиная с 1956 года в жизнь Художественного театра постепенно стала входить современная зарубежная драматургия. Театр объявил себя прогрессивным, и на сцене пошли спектакли по пьесам Лилиан Хеллман, Артура Миллера, Жана Ануя, Павла Когоута и других «не наших» драматургов. Не все постановки были удачными, но в тот период публика на них просто ломилась. Году в 1959-м я случайно оказалась свидетельницей телефонного разговора нашей капельдинерши:

— Сегодня смотрела “Жил-был каторжник” Ануя! Море впечатлений и главное — всё про нашу жизнь!

Видимо, на том конце провода спросили, о чём этот спектакль, но капельдинерша почти шёпотом произнесла:

— Ну, что ты, это не телефонный разговор.

В начале 1960-х Виктор Монюков дал мне роль Либуше в спектакле по пьесе Когоута «Дом, где мы родились». Роль была одной из центральных. Со мною на сцене играли Нина Гуляева (Петра) и Маргарита Анастасьева (Павла) в пару с Генриеттой Ромодиной. Репетиции были очень интересными: Виктор Карлович буквально влюбил нас в старую Прагу (незадолго до постановки он там

побывал). Мы жадно вчитывались в пьесу, работали над характерами… Никогда не забуду сцену, где я била по лицу свою сестру Петру. Монюков требовал, чтобы в моём ударе не было фальши, но фальшь была, потому что на другого человека у меня рука не поднималась. Я долго себя уговаривала, и однажды удар получился настоящий! Я так треснула Нину, что она со мной на полтора года перестала здороваться. Правда, потом мы помирились.

«В одной из сцен Кира Николаевна должна была хлопнуть меня по щеке, — говорит Нина Гуляева. — Бьёт один раз — эффект не тот. Другой, третий. И всё никак не получается. Неестественная выходит пощёчина. Кира Николаевна оправдывается: “Понимаете, Нина, я даже детей своих никогда не била, боюсь не рассчитать силы”. Но я уже взмолилась: “Умоляю, стукните так, чтобы натурально выглядело”. И она била меня по щеке, а потом ходила за мной по пятам — смотрела, нет ли синяка».

Нина Гуляева сыграла в этом спектакле одну из своих лучших ролей. Я наслаждалась, наблюдая за ней из-за кулис, и позже (в 1990-е годы), на юбилее Нины, вспомнила о своих чувствах тех лет… После этого она ко мне подошла со слезами на глазах и сказала:

69

69 Спектакль «Дом, где мы родились» по пьесе П. Когоута (*в центре*) увидел свет не сразу: требовалось разрешение из Чехословакии, и благодаря вмешательству адмирала Головко его удалось получить

— Кира, а ведь никто обо мне так не говорил.

Кстати, спектакль зажил своей жизнью только через год после начала репетиций. Дело в том, что когда он был почти готов, оказалось, что из Чехословакии до сих пор не пришла бумага, разрешающая постановку пьесы на московской сцене. Не помню, как называлась их организация, но что-то вроде нашего Главлита. Через полгода (когда репетиции остановились и Монюков заговорил о том, что с пьесой можно попрощаться) в ситуацию вмешался Арсений. Он позвонил какому-то высокопоставленному чиновнику в Прагу. Поговорили об общих военных и морских делах (Чехословакии предоставлялся порт в Польше), обсудили вопросы, связанные с подготовкой специалистов и обменом кадрами. Для маленькой страны звонок адмирала из Москвы был событием. И в конце разговора Арсений сказал:

— И ещё у меня к вам частный вопрос. У меня жена играет в пьесе Когоута. Я видел репетиции, мне понравилось. Но почему-то от вас не поступило разрешения.

Чиновник засуетился. Стал звонить — узнавать, в чём дело. Оказалось, что вопрос застрял на уровне функционеров невысокого ранга, которые не хотели брать на себя ответственность и забросили мхатовское прошение в долгий ящик. Теперь же бюрократическая машина закрутилась, и разрешение было вскоре получено.

Сам Когоут в то время был в деревне. Он вспоминал, как бродил по сельским просторам в расстройстве, что у него нигде не складываются дела… И вдруг навстречу идёт приятель.

— Что ты здесь сидишь? — изумился приятель. — Тебя там все ищут! Звонили из министерства, пьесу готовят для МХАТа!

В тот же день Когоут беседовал с высокопоставленными лицами. Оказалось, что пьесу готовы утвердить, если внести в неё небольшие исправления. И спектакль пошел!

Вот как о тех же событиях вспоминает и сам драматург Павел Когоут: «Чтобы осуществить постановку, пришлось долго и упорно бороться, но не с московскими, а с пражскими догматиками. Меня тогда удивило сообщение от друзей из аппарата КПЧ (компартия Чехословакии), что за постановку пьесы во МХАТе ходатайствовал советский адмирал А.Г. Головко. Когда президент ЧССР и первый секретарь партии Антонин Новотный выполнили его просьбу, многие подумали, что у меня огромные связи. Эта загадка вскоре разрешилась в Москве. Когда я после генеральной репетиции выскочил на сцену, чтобы представиться

прекрасной главной героине, она обняла меня и сказала своё имя: «Кира Головко». В стремлении помочь жене адмирал вёл священную войну…»

Я очень любила эту роль. У меня слеза там легко шла. Но на одном из спектаклей, как раз в сцене, где нужно расплакаться, вдруг закопошились в седьмом ряду. И стали выносить человека. Я замолкла: попробуй сыграй в такой обстановке. Дождалась, когда человека вынесут, и продолжила спектакль. Я не знаю, умер он или потерял сознание, потому что не решилась спросить.

И ещё хочу вспомнить эпизод, связанный с Когоутом. Вскоре после пражских событий 1968 года Павел Когоут где-то за рубежом попал на гастрольный спектакль МХАТа и зашёл к Владлену Давыдову в гостиницу — поздравить с удавшейся ролью. Но Владлен, испугавшись, что могут быть «последствия» (со МХАТом ездил «штатный искусствовед» из КГБ), нырнул под кровать.

ИСТОРИЯ С БУКЕТИКОМ

Наш Художественный театр был одним из немногих театров, который регулярно ездил за рубеж на гастроли. Даже в сталинскую эпоху при железном занавесе театр выступал в США и неоднократно во Франции. В этом был, несомненно, расчёт: Сталин стремился показать Западу (особенно Франции, где было много наших эмигрантов), что театральное искусство, равно как и жизнь в советском государстве, исключительно на высоте. Дескать, вот вам, смотрите, какой театр есть у нас и какие люди там работают! Это при вашем капитализме человек человеку волк, а при нашем социализме — друг, товарищ и брат. Но вот интересно, что по словам старых мхатовцев, если на классических постановках от зрителей не было отбоя, то советские пьесы шли на Западе сложновато.

Для меня зарубежные гастроли начались в хрущёвскую оттепель. Здесь сыграли роль два фактора: во-первых, сама оттепель, когда железный занавес слегка приподнялся и жёсткие правила немного смягчились (например, МХАТ мог теперь повезти за рубеж два состава). А во-вторых, меня в 1958 году ввели на роль Ольги в спектакль «Три сестры», и именно с этим спектаклем

я объехала почти весь мир, кроме Африки и Австралии. Везде нас принимали замечательно, хотя казусы порой случались. Однажды в Варшаве после спектакля нас окружила толпа, и Танечка Ленникова воскликнула:

— Товарищи!

И вдруг из толпы кто-то мрачно спросил по-русски:

— Кто это для вас, пани, здесь товарищ?

Таня живо умолкла.

Но если говорить об успехе спектакля, то самый грандиозный был у нас в Японии. Причём поначалу нам казалось, что всё летит к чёртовой матери. Идёт спектакль, а в зале — гробовая тишина. Я думала, что японцы не понимают, о чём речь. Но в удобный момент взглянула на монитор — транслируется подстрочный перевод, глянула в зал — японцы сидят и внимательно читают. При этом никто не шелохнётся. Так проходит полчаса, час, полтора… Закрывается занавес, артисты напряжены до предела, такое состояние бывает, когда «раскачиваешь» зал, а публика не отвечает на твои посылы. В зале по-прежнему зловещая тишина… И вдруг — шквал аплодисментов! Причём все японцы встали и устроили такие овации, что, мне казалось, балкон сейчас обрушится!

После второго акта было море цветов, да и вообще цветами нас Япония избаловала. Я помню, как после одного из спектаклей Тарасовой преподнесли огромный букет. Алла Константиновна была счастлива! И вдруг мы видим, что Андровской преподносят ну совершенно миниатюрный букетик. Между женщинами в театре соперничество неизбежно, поэтому у Андровской от обиды потекли слёзы. Японец, подаривший букет, стоял в недоумении. И только когда уже занавес закрылся, нам объяснили, что в стране восходящего солнца маленький, но особым образом составленный букет называется икебаной и является знаком особого уважения. Тут уже неловко было глядеть на Тарасову: мне казалось, что слёзы теперь брызнут из её глаз.

Организатором гастролей в Японии была крупнейшая газета «Асахи». Владелец устраивал нам роскошные приёмы, возил на море. От журналистов не было отбоя. И вот на пике этого счастья в 1959 году (к тому же, это был наш первый визит в Японию) я решила собрать деньги и купить от всех подарки для сотрудников

репертуарной части театра, которые остались в Москве. Когда я постучалась в номер к Алле Константиновне, она с недовольным видом взяла какую-то иену и швырнула мне с таким видом, что у меня отпало всякое желание собирать деньги.

Бывали и достаточно смешные истории. Например, когда мы прилетели в Токио, то пропал чемодан Владимира Ершова. Для

70 «Три сестры» объездили полмира

71 Героини легендарного спектакля: Ольга (Кира Головко), Маша (Маргарита Юрьева), Ирина (Раиса Максимова)

Ершова это была трагедия. И не потому, что в чемодане была одежда, а потому что вёз он с собой на гастроли несколько бутылок водки и коньяка. Массальский над ним ещё посмеивался:

— Володя, ну как ты мог? Я бы с такого ценного груза глаз не сводил!

Прошло несколько дней, и вдруг наша суфлёрша Бутникова кому-то пожаловалась, что у неё в номере стоит лишний чемодан, на который она сперва не обратила внимания. Оказалось, что это и есть пропавший чемодан! Надо было видеть радостные лица Ершова и Массальского — они тут же помчались за пропажей, а потом вернулись с армянским коньяком и столичной — угощать труппу.

Кроме Японии были ещё гастроли в Париже, где мы пересеклись с Большим театром, и я видела Уланову в «Ромео и Джульетте».

Описать тот восторг не могу по сей день. Великая балерина! Кстати, с Улановой мы должны были сниматься в фильме Лео Оскаровича Арнштама «Глинка». Режиссёр хотел дать ей роль Катеньки, моей дочери, но в результате её играла другая актриса, потому что Уланову никак не получалось сделать моложе меня.

С Улановой я познакомилась в Доме отдыха под Москвой. За ней тогда следили все отдыхающие. После двух часов дня в санаторий приезжала представительная машина, оттуда выходил элегантный режиссёр Иван Берсенев, и они вместе проводили несколько часов, после чего прощались. Он садился в машину, уезжал, Уланова шла к себе в номер, а через некоторое время приезжала другая машина, и в ней сидел режиссёр Юрий Завадский — не менее красивый и не менее элегантный. Весь дом отдыха кипел этими страстями, следили, подсматривали: кого она предпочтет? Знали ли Берсенев и Завадский о своем негласном соперничестве? Бог весть…

ПЛАЧ В ТРУБКЕ

В годы войны я потеряла десятки своих друзей и знакомых. Но то была война. Гораздо страшнее, когда в мирное время уходят из жизни дорогие тебе люди. Образуется дыра, которая никогда не затягивается.

Когда писалась эта книга, не стало Вячеслава Невинного. Весть о его кончине раздалась как гром среди ясного неба, хотя я и знала, что он болеет. По состоянию здоровья Слава вынужден был оставить сцену, а прогрессирующая болезнь ускорила его уход из жизни. Через неделю после похорон я позвонила Нине Гуляевой (жене Невинного):

— Пригласите, пожалуйста, Нину Ивановну…

— Нина Ивановна слушает…

— Это Кира…

— А это Нина…

И мы несколько минут, ничего не говоря, плакали в трубку, а потом раздались короткие гудки. Не верьте, когда говорят про актёрское мужество и красноречье. В таких ситуациях всё куда-то исчезает, и ты чувствуешь жуткую беззащитность перед лицом судьбы.

Я знала Славу полвека. Помню его молодым вихрастым студентом Школы-студии, помню его роли в театре и в кино. Знаю, что девушки в него влюблялись, а для него не существовало никого, кроме Нины Гуляевой, которая могла свести с ума любого мужчину. На редкость изящная, с точёными ручками и ножками, она словно впорхнула в искусство, затмив наших травести Бендину и Морес. Так что Славины чувства можно было легко понять. К тому времени Гуляева уже была замужем за комедийным мхатовским артистом Михаилом Горюновым. Но Слава на съёмках «Председателя», в которых мы вместе участвовали, часто говорил:

— Я всё равно её разведу — вот увидишь.

И действительно развёл. Правда, для этого потребовались годы.

Фильм «Председатель» снимался под Можайском, куда нас доставляли машиной. И однажды после съёмок Миша Ульянов с Невинным прохлаждались пивком, а по пути в Москву Ульянов попросил остановить машину, чтобы каждый мог сходить в лесок. Я вернулась первой, потом подошёл Ульянов, сел в машину и сказал:

— Ну, поехали…

То ли мы были так увлечены разговором (всю дорогу говорили о фильмах, театрах и ролях, о жизни вообще), то ли торопились домой, но машина тронулась, и лишь минут через десять мы обнаружили, что забыли Славу. Помчались обратно, со стыдом за собственную невнимательность, перебирая те выражения, которыми он, наверняка нас костерит…

Однако едва подъехали к месту, увидели, что Слава спит в траве на обочине. Он настолько устал, что даже не стал ловить попутку. Видимо, сообразил, что о нём вспомнят.

…В Художественном театре всегда была традиция представлять новых артистов труппе. О том, как представили Славу Невинного, знают многие, поскольку эта история давно переросла в театральную байку, за правдивость которой я ручаюсь. Это был 1960 год. А тремя годами ранее газеты пестрели сообщениями о том, что Хрущёв разоблачил антипартийную группировку, в которую входили, кроме прочих, Вячеслав Михайлович Молотов и Лазарь Моисеевич Каганович. И вот кто-то из наших произносит имя:

— Вячеслав Михайлович Невинный!

Слава встаёт, кланяется. В ту же секунду из зала раздается бас Бориса Ливанова:

72 С Вячеславом Невинным в телеспектакле «День за днём». 1971 г.

73 Театральная семья: Нина Гуляева, Вячеслав Невинный-младший, Вячеслав Невинный. *Фото И. Александрова*

— Вячеслав Михайлович Не-винный? Вот новость! А Лазарь Моисеевич — виновный?!

И позже его фамилия ещё не раз была поводом для шуток. Геннадий Хазанов, например, поздравлявший мхатовцев в образе милиционера, сказал:

— В театре есть только один человек, который может с уверенностью сказать о себе: «Я Невинный»!

Я играла со Славой во многих спектаклях. Он, кстати, и дома у меня бывал не раз — например, однажды я привела его пообедать в промежутках между репетициями (вкусно поесть он любил). Наша няня-домоправительница Анна Владимировна Юрьева накрыла стол.

— Аня, вот видишь, это артист Слава Невинный, — сказала я.

— Тож я вижу, шо невинный. Молодэнький еще…

Очень простая была, но добрая и чистоплотная. И с нескрываемым удовольствием кормила Невинного, поскольку видела его в кино. Да и в театре бывала: я время от времени добывала для неё контрамарки.

Как-то раз Слава попал к нам в дом на обед одновременно с несколькими друзьями моего Арсения еще по службе на Севере. В таких торжественных случаях по правилам, которые завёл в доме муж, стол сервировался «с полным кувертом»: с одной стороны тарелки лежало три вида ножей, а с другой — три вида вилок. И вот

Слава, когда увидел сервировку, явно на мгновение задумался: а не отказаться ли ему от обеда. Он уставился на столовый прибор, явно прикидывая, какую вилку следует взять. Я это заметила и свела к шутке: мол, это у нас дом такой ненормальный, а ты ешь, как привык. А потом вспомнила свою бабушку — смолянку, уроки этикета, преподанные мне родителями и старыми мхатовцами, и добавила: «Бери те приборы, что с краю — не ошибешься».

«ЗАПИСЫВАЙ, КОМУ ДЕНЬГИ ДАЁШЬ!»

Однажды в Доме актёра мне не хватило 15 копеек на пирожное, и элегантный Ростислав Плятт любезно мне их протянул. Я долго искала случая, чтобы вернуть долг. И когда увидела Ростислава Яновича на другой стороне улицы Горького, ныне Тверской, побежала за ним, не обращая внимания на машины. Догнала у Елисеевского магазина, полезла в карман за деньгами, и увидела на лице Плятта изумление:

— Боже мой, Кира, первый раз в жизни мне отдают такой долг, — сказал он. И долго потом смеялся. — Мне тысячи не возвращают. А тут — 15 копеек! Я заверну их в серебристую бумагу и буду хранить.

Мне тоже долги не возвращали почти никогда. До встречи с Арсением я была бедна, как церковная мышь, да и родственникам надо было помогать, поэтому в долг давать было нечего, а после нашей свадьбы материальное благополучие нашей семьи обеспечивал, конечно, муж. И если я говорила ему, что из своей зарплаты опять помогла родне или одолжила деньги коллегам, он почти никогда не возражал. Поэтому иногда большие суммы у меня утекали сквозь пальцы. А когда Арсения не стало, я все равно давала в долг, если у меня была возможность. Грибов меня упрекал:

— Дура! Записывай, кому деньги даёшь!

— Так ведь неудобно, Алексей Николаевич…

— Что здесь неудобного? У меня тоже берут, но я всегда записываю.

Я старалась не спорить, поскольку это было бесполезно. Как и у многих первоклассных актёров, характер у Грибова был нелёгкий.

Однажды во время репетиций «Трёх сестёр» я увидела на лестнице плачущую Клавдию Николаевну Еланскую. Артистки её обступили, а она, утирая слёзы, повторяла:

— Это всё Алёшка… Это Алёшка…

Но так и не призналась, чем он её обидел. Вообще сгоряча обидеть он мог кого угодно. Когда Раевский ввёл меня в «Три сестры» на роль Ольги, Грибов просто в ужас пришёл от моих первых монологов (он играл Чебутыкина).

— Ты неверно всё играешь! — сказал он в перерыве.

— А как надо? — опешила я.

— Вот ещё! Буду я тебе рассказывать! Сама рожай…

И прямо отворачивался от меня на сцене, показывая, что не принимает моё исполнение. Меня это ужасно выбивало из колеи, а режиссёр в наш конфликт не вмешивался — он очень осторожный был человек. И только на двадцатом спектакле Грибов стал, наконец, смотреть в мою сторону. То ли я, наконец, смогла найти нужные интонации и краски, то ли Алексею Николаевичу просто надоело дуться.

Однажды во МХАТе была вынужденная замена спектакля, и «Три сестры» поставили вне очереди. Поднялся страшный переполох, когда дирекция обзвонила всех занятых в спектакле артистов, но Грибова не нашла. Мы уже сидим в гримёрках, а Грибова продолжают разыскивать. В последнюю минуту выяснилось, что он на какой-то студии озвучивает Черепаху в мультфильме. На спектакль приехал недовольный, что его в выходной день оторвали от любимого занятия.

С Алексеем Николаевичем мы общались нечасто, о дружбе не приходилось и мечтать, хотя однажды до меня дошёл слух, будто бы я его любовница. Потом я поняла, как родилась эта сплетня. А дело так было. Грибов был женат три раза. И когда мы бывали на заграничных гастролях, он всегда покупал всем женам, в том числе и бывшим, подарки. Одна из жён была моих размеров, поэтому Алексей Николаевич обычно звонил мне в номер и говорил:

— Кира, ты мне нужна как женщина (здесь он делал паузу). Можешь в магазине кое-что примерить?

Мы шли по магазинам, нас видели вместе. А однажды он долго и обстоятельно примеривал на меня шубу. Видимо, кто-то решил, что шуба для меня.

ГЛАВА 11

КИНО

ОПЯТЬ ПУШКИН

Ещё шла война, когда в мою жизнь вошло кино. Режиссёр Лео Арнштам предложил мне сыграть роль Анны Петровны Керн в картине «Глинка». На Сенатской площади восстание декабристов, стрельба, Глинка спасается, забегает в первое попавшееся парадное, стучится в незнакомую квартиру, и дверь ему отворяет Анна Петровна Керн. Та самая красавица, которой Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» Композитора играл Борис Чирков. А «гением чистой красоты» суждено было стать мне.

Сначала я отказывалась: ну, какая из меня Керн! Ею Пушкин был очарован, а у меня лицо ведь совсем обычное. К тому же, я только-только почувствовала себя увереннее в театре, а тут новое и непривычное для меня кино. Но Арнштам стал упрашивать. Единственным более-менее вразумительным доводом из его уст звучал такой:

— Я видел, как вы, Кира, играете Натали в «Последних днях». В вашем исполнении это истинная современница Пушкина.

Я отшучивалась, поскольку на современницу никак не тянула — мне было всего 26 лет.

Арнштам настойчиво продолжал уговаривать, и в конце концов я согласилась. Съёмки проходили на «Мосфильме». Мне запомнилось помещение, где одновременно гримировались артисты сразу

всех павильонов. Рядом оказалась Серафима Бирман, которой накладывали грим тётки Ефросиньи для фильма «Иван Грозный». А моя гримёрша в этот момент клеила мне нос, чтобы Керн выглядела не слишком юной, и я по молодости лет кокетничала:

— Ну, что вы со мной возитесь? У меня же нет носа от рождения… Мама называла меня *безносая*. Да и к моему маленькому носику трудно что-либо приклеить.

В этот момент Бирман, которая была лет на 30 старше, отодвинула своего гримёра, строго посмотрела на меня и сказала:

— Деточка, при мне о маленьких носах попрошу никогда не говорить!

Я покраснела, стала извиняться — ведь у неё был большой, с горбинкой нос, отчасти именно из-за него её часто приглашали на характерные роли. Кстати, режиссёр Алексей Дикий однажды оказался в ЦДРИ на каком-то мероприятии, где Бирман рассказывала о своём знакомстве со Станиславским: «Константин Сергеевич ценил всё прекрасное!» И вдруг Дикий не выдержал: «Прекрасное? А ты свой профиль видела?» Но при невыигрышных внешних данных актрисой Бирман была замечательной.

На съёмочной площадке я подружилась с Валентиной Серовой, которая играла жену Глинки. Валя всего на два года старше, но в отличие от меня, уже тогда была знаменитой. Её имя прогремело ещё до войны, когда Серова сыграла центральную роль в фильме «Девушка с характером», а потом были «Сердца четырёх» и «Жди меня» — фильм, снятый по сценарию её мужа Константина Симонова в 1943 году. И сейчас, когда я смотрю на Лизу Ермолову в исполнении Вали, вспоминаю молодость. Такой она и осталась в моей памяти: молодая, искренняя, с непростым характером.

Из рассказов Вали я поняла, что где-то после войны у Константина Симонова появился так называемый «открытый счет». То есть счет, с которого можно было снимать бюджетные средства для своих личных нужд без ограничения суммы. В реальности за тем, как расходуются деньги с такого счета, власти, конечно, следили. Говорили, что такой счет для Симонова был открыт по личному указанию Сталина — вождь ценил его, как «правильного» и талантливого автора. Кстати говоря, такой же «открытый счет» был и у дочери Сталина — Светланы Аллилуевой, с которой я познакомилась позже. По её словам, отцу регулярно докладывали, как она тратит деньги.

«Открытый счет» позволял Вале не ограничивать себя в расходах. Чем она, к несчастью, нередко злоупотребляла. Валя стала водить меня по ресторанам. Запомнились «Националь» и «Гранд-отель». Серова заказывала много спиртного, и мне казалось, она способна выпить целое ведро. Наши посиделки Валя забавно называла репетициями:

— Идём, Кира, порепетируем, — говорила она.

А когда мы усаживались за столик, речь, ясное дело, шла обо всём, но только не о съёмочном процессе. Рассказывала, как выходила замуж за военного лётчика Серова и родила от него сына, но Серов погиб на испытаниях какого-то самолёта ещё до появления ребенка. Потом в неё влюбился Симонов, а вскоре стал оказывать знаки внимания и маршал Рокоссовский. Серова вышла замуж за Симонова, хотя все знали, что и с Рокоссовским у неё ещё какое-то время продолжались отношения. Говорят, Симонов догадывался об этом параллельном романе, но всегда прощал, хотя это было нелегко. Они жили в центре Москвы — в роскошной квартире на улице Горького. У Вали была красивая иностранная машина с открытым верхом, которую она водила сама. На их застольях часто бывала столичная богема, но так продолжалось недолго. К началу 1950-х годов лоск красивой жизни исчез: Вале не везло в кино, вместо главных ролей стали предлагать эпизоды, да и отношения с Симоновым осложнились: в конце концов супруги расстались. Не стало и открытого счёта. А Валя стала злоупотреблять алкоголем и с годами совсем опустилась. Впрочем, это уже другая история…

Лео Оскарович несколько раз приглашал меня в гости. У него был очень хлебосольный дом. Жена Люся замечательно готовила, и ещё у них была домработница Сима, которую Арнштамы называли «доморабыня». Эта доморабыня всячески старалась меня подкормить. Хотя, скорее всего, это делалось по указанию Арнштамов, ведь они знали, что я осталась без родителей, живу в коммуналке на Малой Дмитровке (году в 1947-м я переселилась туда из подсобки коршевского театра).

Но с какой стати Арнштам решил помогать именно мне? Ведь я всего лишь снимаюсь в его картине, равно как и десятки других актёров. Почему их не зовёт он в дом? Моя сестра, как обычно, открыла мне глаза на жизнь:

— Кирка, всё ведь так просто: Лео Оскарович влюбился в тебя…

— Ну что за глупости? — не сдерживалась я. — Он старше на 14 лет!

Но, увы, сестра оказалась права: Лео стал вдруг очень навязчиво выражать свои чувства, писал откровенные письма, а позже его не смущал даже мой брак с Арсением Григорьевичем. При этом он настойчиво приглашал в другие свои картины, но я отказывалась, поскольку работать с ним было тяжело: он существовал на площадке в режиме землетрясения, я не могла сосредоточиться и боялась, что играю не так… Только после смерти Арсения Григорьевича снялась у него в 1967 году в «Софье Перовской», потому что нужны были деньги.

Помню, летом 1947 года, когда «Глинка» уже вышел на экраны, как-то ночью раздался стук в дверь. Мы с Ниной испугались, но послышался голос Арнштама. Когда открыли, — поняли, что он пьян. Переступил через порог, поцеловал меня, крепко пожал Нине руку и сказал, что съёмочной группе и нескольким актёрам присуждена Сталинская премия второй степени. Он был настолько счастлив, что той же ночью решил обойти всех лауреатов. Кроме меня премию получили Валентина Серова, её мама — актриса Клавдия Половикова, сам Арнштам, операторы Иоланда Чен и Александр Шеленков.

Вскоре на «Мосфильме» режиссёр Сергей Юткевич приступил к съёмкам картины «Свет над Россией» (по пьесе Николая Погодина «Кремлёвские куранты»). Искали актрису на роль Маши Забелиной, и Арнштам предложил мою кандидатуру. А после кинопроб я поняла, что не переживу, если вместо меня возьмут другую актрису — настолько Юткевич очаровал меня своими рассуждениями о предстоящей работе. И, к счастью, меня утвердили.

После Арнштама работать с Юткевичем было наслаждением. Мне казалось, что, наконец, я могу раскрепоститься перед камерой. Но когда в промежутках между съёмками показали отснятый материал, я разрыдалась. Все меня обступили:

— Кира, что с тобой?

Я продолжала реветь:

— Надо переснять мои сцены!

— Почему?

74 Кинорежиссёр Сергей Юткевич

75 С Валентиной Серовой Кира Головко подружилась на съёмках

— Эти никуда не годятся! Я слишком кручу задницей.

Но режиссёр на меня прицыкнул:

— Ты с ума сошла! Куда тут переснимать, когда плёнка очень дорогая!

Вмешался и оператор, который с ярко выраженным еврейским акцентом произнёс:

— Если кто-нибудь скажет, что может снять вас красивее, чем снял я, — плюньте ему в лицо!

Они утешали меня, но мне казалось, что это настоящий провал. Подошла Любовь Добржанская и тихо мне сказала:

— Кира, пройдёт лет двадцать, и вы с удовольствием посмотрите, какой хорошенькой были…

Я, конечно, красавицей себя никогда не считала. Но в чём-то она оказалась права — сейчас с удовольствием смотрю фильмы, в которых снималась в молодости. Правда, «Свет над Россией» посмотрела только в 2011 году, и не в кинотеатре, а на экране телевизора. Сын где-то откопал не очень качественную копию фильма, записанную на диск. А тогда, в сталинские годы «Свет над Россией» на экраны так и не вышел.

Причины назывались разные. Говорили, что актёр Михаил Геловани, игравший Сталина, располнел, и на просмотре картины в Кремле Сталину не понравился. По другой версии фильм в чем-то уклонился от линии партии. Но Юткевич не терял надежды:

— Кира, не беспокойся, обязательно всё поправим и выпустим фильм.

Так продолжалось несколько лет, но однажды он встретил меня и сказал подавленным голосом:

— Всё, поставь крест, Кира. Половину плёнки смыли, и это уже невозвратимо.

Больше полувека прошло, и лишь совсем недавно я узнала, что «Свет над Россией» всё-таки сохранился — лежал на полках.

Влюблённого в меня матроса играл Николай Крючков. Когда он приехал на съёмочную площадку, то, увидев меня, сделал так:

— А-а-а-а-а….

Потом, собравшись с мыслями, пояснил:

— Как же я с ней играть-то буду, она на две головы выше меня…

Но оператор сказал, что подставит скамеечку. И когда снимали признание в любви, Крючков действительно стоял на скамейке.

Моего отца, профессора Забелина, который не сразу принял революцию, играл Николай Охлопков. Высокий статный красавец. Думаю, женщины часто влюблялись в него, и актёр он был замечательный. В ту пору Охлопков возглавлял Московский театр драмы, который позже переименовали в Театр Маяковского. Как бы между делом он интересовался, много ли у меня ролей во МХАТе (а тогда их было немного), и сказал:

— Ну, переходи ко мне.

Слава Богу, я не перешла, потому что вскоре там на первых ролях появилась Евгения Козырева — актриса удивительной красоты.

В фильме речь шла о внедрении плана ГОЭРЛО. Сюжет был, возможно, наивный: профессор Забелин после революции торгует спичками, не может устроиться на достойную работу. Его дочь (то есть моя героиня) встречается с революционным матросом, что профессору тоже не нравится. Однажды его вызывает к себе Ленин и предлагает возглавить проект электрификации страны. В результате профессор влюбляется в большевиков и счастлив, что за дочерью ухаживает именно матрос с «Авроры».

Трудно снималась одна из финальных сцен, где профессор прямо из Кремля прибегает домой, за окном лютая зима, но он, воодушевлённый, распахивает окна и зовёт Машу. А дальше он втаскивает меня за руки на второй этаж, я падаю в его объятия;

он подхватывает, сажает в рабочее кресло-вертушку и сильно вращает его вместе со мной. Чтобы кресло быстро вертелось, его щедро смазали машинным маслом. И в итоге, я не могла удержаться — всё время падала. Вскакивала, извинялась — просила переснять.

«Профессорский дом» снимали в Кривоарбатском переулке. В одной из сцен я подъезжала к этому дому в санях с возницей. А поскольку гримировали меня в коршевском филиале МХАТа, то кто-то решил, что в гриме идти по улице мне не следует, и сани подали к театру. К сожалению, на улице почти не было снега, и бедная лошадка с трудом потащила нас по асфальту. Полозья издавали громкий скрежет, я чудом не выпадала на мостовую на поворотах, а как только мы выехали на Страстной бульвар, троллейбусы и трамваи остановились, пропуская наш необычный экипаж. Я старалась не глядеть на прохожих, которые недоуменно рассматривали сани и девицу в старомодной шубке и замотанном платке, тем более что в те годы лошадей на московских улицах почти не было.

В послевоенные годы я снималась достаточно часто, вслед за «Светом над Россией» была приглашена в «Первоклассницу». Выше я вспоминала, как обиделась на режиссёра Фрэза за то, что он повёз меня встречать Новый год к Абакумову. Но всё же я не отказалась от съёмок, поскольку была уже утверждена на роль, да и по молодости не умела сказать нет. В общем, началась работа. И я была очарована Наташей Защипиной, которая играла мою дочку. В силу своей детской природы, она вела себя в кадре удивительно органично — будто я и в самом деле её мама. А во время перерыва всерьёз повторяла:

— Я играю по системе Станиславского! — чем веселила съёмочную группу.

…Каждый советский актёр хоть раз в жизни приезжал на киностудию не для съёмок и даже не для кинопроб. На студии Горького, например, работали замечательный портной и его жена, которые обшивали меня. Я изредка ездила к ним, а однажды, уже в 60-х годах отправилась туда вместе с артистками Таней Ленниковой и Любой Пушкарёвой. Мы шли длинными коридорами, и вдруг Пушкарёва увидела Василия Макаровича Шукшина, который прошёл мимо и скрылся в одном из кабинетов. Она кинулась за ним, а потом пришла багрового цвета. Но я не была с ней настолько дружна, чтобы

76 Для фильма «Председатель» Кира Головко освоила нелёгкий крестьянский труд

расспрашивать о причинах. А через некоторое время ко мне подошёл сам Василий Макарович и отвёл в сторонку:

— Скажи мне, пожалуйста, а эта женщина сумасшедшая? — он кивнул в сторону стоявшей вдалеке Пушкарёвой.

— Нет, что вы. Почему вы так думаете?

— Ворвалась, упала на колени, стала руки мне целовать…

Он был ошарашен её поведением.

«ТЫ ИЗ КАКОГО КОЛХОЗА?»

В начале 1960-х режиссёр Алексей Салтыков пригласил меня в картину «Председатель», где мне предстояло сыграть Надежду Петровну. Это гражданская жена главного героя (Егора Трубникова), которого невероятно колоритно сыграл Михаил Ульянов. Я была счастлива нашему знакомству, поскольку высоко ценила талант Ульянова, видела все его роли в Вахтанговском театре и в кино, а теперь мы встретились на съёмочной площадке. Конечно, я нервничала. Потому что Михаил Александрович на редкость одарённый человек, и «уживёмся» ли мы с ним в одном кадре — я не знала. К тому же, он на восемь лет

меня младше, и гримёры могли не справиться, чтобы уравнять нас в возрасте. Я всё время думала, как он отреагирует на такое распределение ролей. Но он на разницу в возрасте даже внимания не обратил. Знакомство завязалось само собой — очень легко, с шутками, взаимными комплиментами. Это был добрейший человек, хотя, едва началась работа, я почувствовала всю сложность его характера. Он постоянно был недоволен собой. Даже если режиссёра устраивал сыгранный эпизод, Ульянов просил снять ещё дубль, затем ещё и ещё. У него был невиданной мощи талант, замешанный на крутом темпераменте. Мне и сейчас кажется, что многие вещи во время съёмок у Миши рождались сами собой — он интуитивно чувствовал своего Трубникова, и интуиция ни разу не подвела его. Сегодня в передачах про Ульянова любят повторять эпизод, в котором Председатель материт колхозников. Мне кажется, это не самый главный эпизод фильма, хотя, конечно, Мишин крик и на меня производил впечатление. Там такие слова:

— Вы что же, хотели меня удивить? Меня, который обкладывал целые батальоны! Да я матом вышибал страх из людей и гнал их под кинжальный огонь — на смерть, на гибель и победу. А ну, бабы, закрой слух!

Старухи в кадре затыкали уши, а дальше раздавался мат, который в картине не слышно, но по губам Ульянова все эти слова легко читаются, поскольку на съёмочной площадке для большей достоверности он в самом деле матерился.

Энкавэдэшника Калоева в картине играл Владимир Этуш, который со мной подружился и говорил:

— Обязательно меня поправляй, если собьюсь. Мне нужен грузинский акцент в этой роли.

Он играл такого отъявленного подлеца.

— Даже когда я молчу, всем должно быть понятно, что молчит грузин, — говорил Этуш. — Если хоть на минуту возникнет в этом сомнение, то мои еврейские родственники меня просто сожрут!

Но если с мужчинами мои отношения складывались благополучно, то никак не удавалось найти общий язык с Нонной Мордюковой. Она волчьим взглядом смотрела на меня с первых же дней съёмок. Я ничего понять не могла, а потом администратор съёмочной группы объяснила мне, что Нонне Викторовне обидно, ведь роль председательской жены досталась не ей, а мне. После этого ответа

я основательно задумалась: как здесь поступить? Может, и правда Мордюкова всю жизнь ждала такой роли, а тут появилась я и разрушила её мечту? Терзала себя сомнениями и в итоге пошла к Салтыкову советоваться. Однако моих домыслов он даже недослушал и сказал, что такое распределение сделал умышленно, чтобы новая роль не была похожа на ту, которую Мордюкова сыграла в «Простой истории». Он и ей уже говорил, что повтор для столь мощной актрисы невыгоден. Не знаю, он ли повлиял на неё или нет, но через неделю Нонна Викторовна вдруг подошла ко мне, держа руки за спиной, и сказала:

— Ладно, надоело мне тебя ненавидеть. Будем подругами!

Достала из-за спины бутылочку и два стакана. Мы выпили с ней на брудершафт, поцеловались, и я заплакала — настолько искренней она была.

Съёмки проходили под Можайском — в одном из колхозов. Когда грим был готов, ко мне подошла одна из местных старушек:

— А ты с какого колхоза?

— Я из МХАТа…

— Сколько лет живу, а о таком не слыхала…

— МХАТ — это театр, я артистка.

— Врёшь, артистки чумазыми не бывают!

В общем, благодаря местной публике в роли Надежды Петровны я почувствовала себя уверенно.

ЕГЕРЬ НЕ ВЫГОВАРИВАЛ ПОЛОВИНУ АЛФАВИТА

Роль в «Председателе» оказалась заметной. Посыпались предложения, но все их затмил звонок от Сергея Бондарчука. Он хотел попробовать меня на роль графини Ростовой в экранизации романа Льва Николаевича Толстого «Война и Мир».

— Вы трагические роли играли? — спросил у меня режиссёр.

— Сергей Фёдорович, играла, но только в театре. Не знаю, хватит ли моего темперамента для кино.

— Ладно, я сам пойму…

Он спросил про трагические роли именно потому, что сцену, где графиня узнаёт о гибели своего сына Пети, считал ключевой в моей сюжетной линии.

До меня Бондарчук не утвердил на эту роль многих актрис. Среди них — Любовь Добржанская и Елена Гоголева. Уже много лет спустя, когда «Война и мир» вышла на экраны, я прочитала в книге Гоголевой, что актриса Кира Головко не была никакой графиней, поскольку в Головко нет светскости. Когда подвернулся удобный случай, я спросила у Сергея Фёдоровича:

— Почему вы взяли меня?

Он ответил:

— Очень просто. Мне нужно было, чтобы семья Ростовых изначально не была развалена. Мы должны верить, что это семья молодая, живая, что у них маленькие дети. И ваша внешность лучше всего этому соответствовала.

…Мой первый съёмочный день начался с такой сцены: в доме Ростовых празднуют именины двух Наташ. Бондарчук решил первым делом снять эпизод, где графиня Ростова беседует с Марией Львовной Карагиной (её замечательно играла Галина Кравченко — живая история советского кино). Карагина рассказывает о последней столичной новости — о кутеже у Анатоля Курагина, о том, что Пьер «такие ужасы наделал». Съёмки эпизода продолжались долго, с перерывами. Но атмосфера в студии была очень благоприятной. Я такой атмосферы вообще нигде не встречала. Артисты легко общались между собой. Галина Кравченко, которой в ту пору было под шестьдесят, рассказывала бесконечные истории о том, как за нею пытался ухаживать Горький (правда, эти истории были достаточно интимные, поэтому в книге мне неловко их повторять). Видно было, что в молодости Кравченко привлекала мужчин, поскольку и в пожилом возрасте она была стройна и очень обаятельна.

Вслед за нашим эпизодом Бондарчук решил снимать сцену с Пьером Безуховым. Бондарчука загримировали. В гриме он крикнул:

— Мотор!

И вошёл в кадр. Огромная гостиная в доме Ростовых, мы все сидим по мизансцене в глубине кадра, а на первом плане Ахросимова (Елена Тяпкина) отчитывает Пьера:

— Хорош, нечего сказать! Отец на одре лежит, а он забавляется, квартального на медведя верхом сажает! Стыдно, батюшка, стыдно! Лучше бы на войну шёл!

И вдруг во время её монолога взрывается мощная лампа прямо над Галей Кравченко, и осколки падают ей на декольте. Запахло гарью, а Галя молчит и боится остановить съёмки. Она страшно трепетала перед Бондарчуком во имя своей небольшой роли. Тогда я не выдержала и сама крикнула на весь павильон:

— Сергей Фёдорович, стоп!

Галя на меня чуть не набросилась. Недовольный Бондарчук подлетел:

— Что случилось?

— Помогите! — воскликнула я и показала на Галю.

Все подскочили с мест. Сергей Фёдорович объявил перерыв, вызвал медсестру, Гале обработали ожог.

Потом съёмку продолжили, но за всю смену он ни разу ко мне не обратился. Я очень переживала, потому что прервать сложнейшую сцену считалось недопустимым. Каждый лишний истраченный метр дорогой цветной кинопленки обходился в копеечку …

Когда Бондарчук сказал, что сцену ночного разговора Наташи с мамой в кровати мы будем снимать целиком, не маленькими кадрами, не по репликам, а всю сразу, меня, как театральную актрису, такой подход обрадовал. Роль я учила с удовольствием. Сергей Фёдорович говорил, что весь роман на язык кино не переложить, но, если уж выбрал сцену, надо дать её во всей толстовской полноте. И ни на йоту не отступал от текста. Ассистентом режиссера была Вера Серафимовна Никольская. Она постоянно держала при себе огромный дореволюционного издания том «Войны и мира» и следила, чтобы актёры не упустили ни единого слова:

— Кира Николаевна, вы интонационно не поставили запятую, — говорила она.

— Что, что?

— У Льва Николаевича здесь запятая.

Как я боялась этих замечаний! Мне казалось, что меня просто вышвырнут с киноплощадки, поскольку уследить за всеми знаками препинания Льва Николаевича я не могла. Но позже обвыклась, поскольку замечания она делала всем. Доходило до смешного. В сцене «Охота» крохотную роль доверили настоящему егерю. Тот должен был погрозить арапником графу Ростову (как замечательно его сыграл Станицын!) и сказать:

— Жопа вы, граф! Просрали волка-то!

И вот начинаются съёмки этой сцены. Мотор, камера. Выходит егерь:

— Зёпа! Пъёслали волка-то!

Оказалось, что егерь не выговаривал половину алфавита. Впрочем, Бондарчуку такой «колорит» понравился. Он потребовал, чтобы артисты прекратили свой неуместный смех или покинули площадку. Не смеялась в этот момент только Вера Серафимовна. Она так и не подняла головы от своего дореволюционного тома. Сняли несколько дублей, и вдруг Вера Серафимовна отложила книгу в сторону и направилась к несчастному егерю:

— Вы забыли сказать «жопа».

— Как?! Зёпа я сказал!

— Не сказали. Я же слежу по первоисточнику.

Кстати, смешная история была и со Станицыным, который тоже участвовал в этой сцене. Правда, эту историю он рассказывать не любил, всегда вспоминал о ней вскользь. А дело в том, что в некоторых эпизодах он ездил верхом. Обычно удавалось снять один-два, максимум три дубля, после чего лошадь ложилась и поднять её никакими силами было нельзя, потому что наездник весил 120 килограммов.

77

78

77 «Война и мир», Кира Головко в роли графини Натальи Ростовой. 1968 г.

78 Кинопробы

Бондарчук на площадке голоса не повышал. Со мной он был предупредителен и галантен, но когда мы начали готовиться к сцене, где графиня узнаёт о гибели Пети, я, наконец, в полной мере почувствовала, что значит сниматься у Бондарчука. Репетировали не меньше недели. Он говорил:

— Мне сейчас слёз ваших не надо. Попробуйте ощутить, как такой удар примет ваше тело. Вы окаменели, или у вас подкосились ноги, вы упали в кресло, в беспамятстве качаете головой и только повторяете: «Петя, Петя, Петя…»

И ободрял:

— Не волнуйтесь, обстановку создадим.

Обычно к нам в павильон набивалась масса народу. То иностранцы, то мосфильмовские работники. Все рассматривали великолепные декорации, поглядывали горящими глазами на артистов, — особенно на Бондарчука, ведь он был удивительным Пьером и знаменитым режиссером. Как правило, он воспринимал любопытных зевак добродушно, а тут приказал выйти всем. Даже двери велел запереть. Остался только оператор Петрицкий со своими помощниками.

И он настроил меня так, что я перестала видеть перед собой камеру, которая ездит на рельсах туда-сюда. Сосредоточивалась как на сцене. Да, это переживание я должна найти в себе сама, но чтобы оно выплеснулось и волнами разошлось, мне пустая тишина была не нужна, мне нужна была тишина внимающая. И я почувствовала сострадающее дыхание целого зала, которое шло от одного Сергея Фёдоровича. От него одного! В тот ответственный момент проявилась не просто проницательная, щедрая режиссёрская душа! Свершалось таинство нашей профессии!

На съёмочной площадке порой возмущались тому, что на две важные роли, Наташи Ростовой и Сони, он взял балерин Люду Савельеву и Иру Губанову. Мол, что могут сделать выпускницы хореографического училища в таком драматическом действе? Но он перед очередной сценой уходил с Людой или Ирой в сторонку и объяснял нюансы эпизода. И в итоге они всё сделала очень даже неплохо.

…Прошли годы. Как-то был вечер памяти Сергея Фёдоровича, и я рассказывала, что режиссёр измучился искать актрису на роль старшей Ростовой, а в итоге остановил свой выбор на мне. После вечера его вдова, Ирина Скобцева сказала мне:

— Ну к чему такие эмоции, не нашёл актрису — я сама бы сыграла, и все дела.

В её словах не было злости. А потом мы встречались ещё и в Доме актёра в 1999 году (отмечалось 30-летие присуждения «Оскара» «Войне и миру»). Я сказала ей:

— Может, в личном плане ещё что-то наладится?

— Ну что ты, Кира. Я живу только воспоминаниями.

Кстати, после «Войны и мира» наше сотрудничество с Бондарчуком продолжалось в «Борисе Годунове»… В этом фильме я играла маленькую, почти без слов роль «мамки» царских детей, одного из которых играл сын режиссёра, тогда совсем ещё кроха Федя Бондарчук. Мне говорили в кулуарах:

— Ай да Кирка, народная артистка, ну и роль оторвала!

Шутили, ясное дело. Но я серьезно отвечала, что у Сергея Бондарчука я готова играть и в массовке. Или изображать пожар. Как в начале службы во МХАТе.

ГЛАВА 12

МНОГИЕ ДРУЖИЛИ С АРСЕНИЕМ…

ПЕРЕДЕЛКИНО

С мая по сентябрь мы обычно жили на казённой даче в Переделкино. У Арсения были вестовые, которые не только сторожили дом, но и выполняли всякую работу. Например, слева от калитки построили для нас большие качели, на которых можно было кататься стоя. И все, кто у нас бывал, с удовольствием шли на эти качели. А ещё был один забавный вестовой, которого Арсений удачно пародировал. Потому что в самый неподходящий момент, когда, например, семья садилась пить чай или Арсений хотел, наконец, отдохнуть, вестовой подходил и заводил долгую беседу:

— Товарищ адмирал, разрешите обратиться.

И рассказывал, какая погода ожидается летом и когда что лучше сажать. Арсений покорно слушал.

…Какие замечательные люди обитали в ту пору в знаменитом дачном посёлке. И сколько! Для этого понадобится отдельная книга. Но некоторые эпизоды я вспомню.

Когда в 1958 году МХАТ собирался на гастроли (везли в Лондон «Трёх сестёр»), мне позвонила Анастасия Платоновна Зуева, исполнительница роли Анфисы, и попросила забрать у Корнея Ивановича Чуковского её записную книжку, в которой она собирала автографы и остроты известных людей.

Записная книжечка Анастасии Платоновны упоминается и в полном собрании сочинений Бориса Пастернака. К её 60-летнему юбилею

Пастернак написал такие стихи, которые запомнились и Кире Николаевне:

Великой истинной артистке
Поклон мой низкий поясной
И в телефонном этом списке,
И в этой книжке записной.
У нас на даче въезд в листве,
Но, как у схимников Афона,
Нет собственного телефона.
Домашний телефон в Москве,
Где никогда нас не застать.
На всякий случай: буква В,
Один, семь, семь, четыре, пять.

После стихов приписка: «Но это всё глупости. Но как сливается с огнями улиц, фонарями, огнями рампы, вечерним светом Ваш священный огонь артистки. Ваша искра божия, в одно мерцающее целое городской ночи, тепла и света, творческой тревоги и тайны! Вот это-то и есть счастье, и другого не надо. Ваш Б. П.»

Корней Иванович жил недалеко от нашей дачи. Он принял меня в саду — в уютной беседке. Прежде мы не были с ним близко знакомы, хотя я бывала на его знаменитых «кострах». Впрочем, кто из жителей Переделкино на них не бывал?! Собиралось много гостей, читали детские стихотворения, играли в театр, водили хороводы, взрослые межу делом обсуждали литературу, которая помогает воспитанию, но всё было очень легко и весело.

Когда я пришла за книжечкой, Чуковский много меня расспрашивал о МХАТе, и стало очевидно, что на спектаклях он бывал. Я всё равно чувствовала себя неловко: а что если писатель начнёт говорить со мной о литературе? В общем, тревожные мысли терзали меня, хотя читала я много. Мне было и неудобно отрывать от работы Корнея Ивановича. Я, наверное, нелепо перед ним извинялась… Наконец он принёс книжечку, я поблагодарила и засеменила к калитке. Но когда открывала её, оглянулась и увидела, что Чуковский крестит меня широким крестом. И у меня потекли слёзы от радости, что Корней Иванович так расположен ко мне.

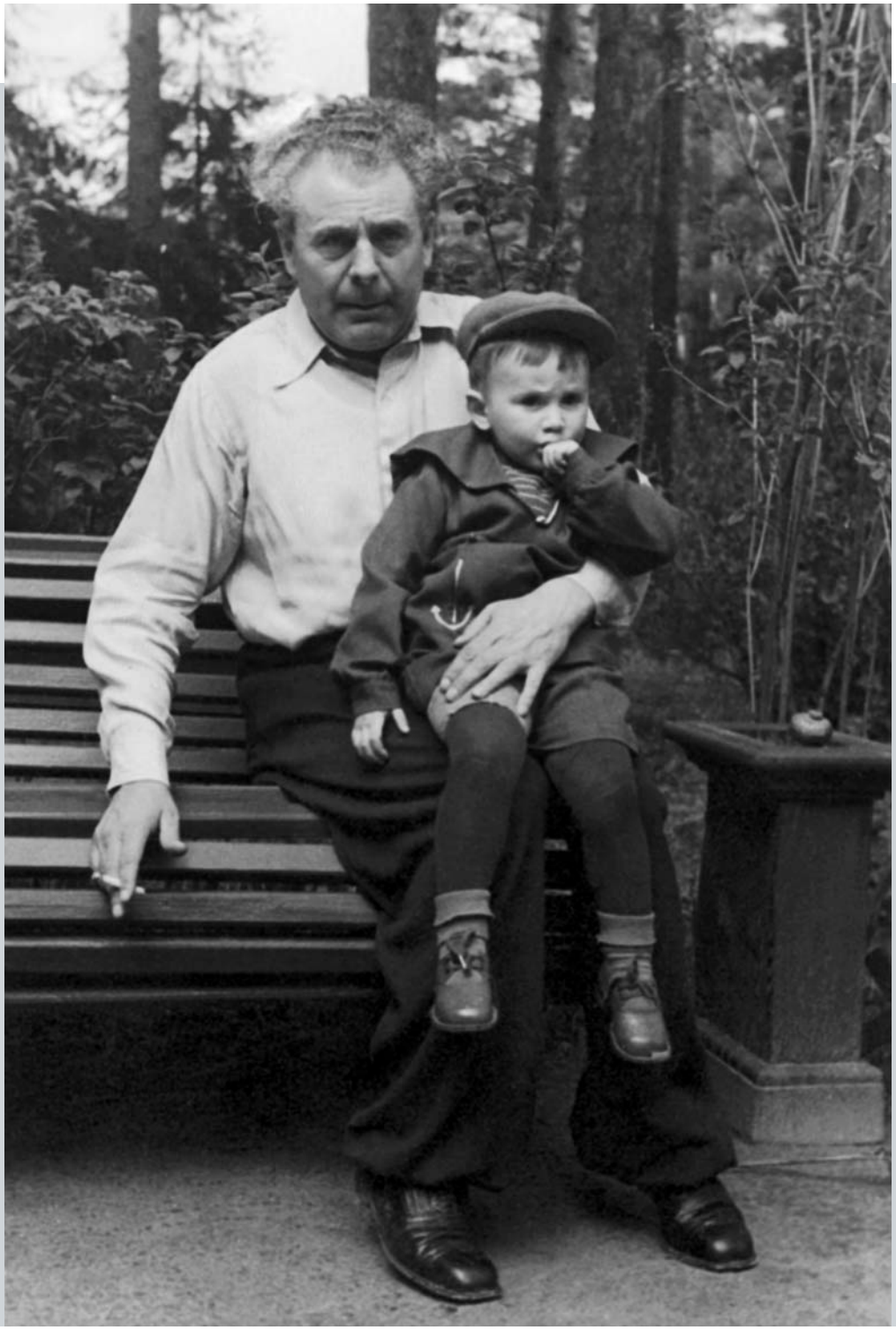
Кстати, в Переделкино была чудная церковь. Но я туда не ходила — боялась навлечь неприятности на Арсения, поскольку органы внимательно следили за семьями военачальников. А ещё Чуковский запомнился мне тем, что перед каждым ребёнком в посёлке он с поклоном снимал шляпу. И Наташка моя пару раз даже

пряталась от Корнея Ивановича в канаве — видимо, не знала, как реагировать на такие поклоны.

С Арсением многие дружили. Кто только у нас ни бывал! Леонид Леонов, Константин Симонов, Ираклий Андроников, Николай Погодин. Много раз появлялся Сергей Михалков и просил, чтобы Арсений устроил детей его знакомых в Нахимовское училище. А потом приходил снова и просил вернуть их назад. Ближайшим соседом по даче был драматург Александр Штейн (вся его семья из настоящей еврейской интеллигенции), который часто вызывал Арсения к забору. Я поначалу думала, он о прополке сорняков спрашивает, а оказалось, пишет пьесу о флоте и обращается за советами. Штейн был мне очень симпатичен, и семья у него была замечательная — тихая, благородная. Любили угощать, мы часто друг к другу в гости ходили. Люся Штейн со мной подружилась, но при этом любила вспоминать про роман Арсения Григорьевича с Горской. Я и сегодня уверена, что в этих разговорах не было никакой интриги — ей просто было интересно, чем закончилась та драматичная история, но я каждый раз уходила от ответа. Там же на даче они праздновали свадьбу — их дочь выходила замуж за Игоря Квашу. По молодости лет он был очень эмоциональный, и Люся старалась его попридержать: «Игорёк, ну подожди…»; «Игорёк, позже это обсудим…» Она была эффектная, авантажная женщина с какой-то невероятной завивкой.

Вспоминает Игорь Кваша: «Арсений Головко дружил со Штейнами, родителями моей жены, они ходили друг к другу в гости. Однажды я и его уговорил вспомнить что-нибудь. И он рассказал о таком случае. Шло заседание Политбюро совместно с военными, решали, как быть с флотом: тогда отдельно существовало Министерство военно-морского флота. К примеру, военно-воздушный флот входил в общевойсковое подчинение, а военно-морской флот почему-то имел свою автономию. И были противники этого, предлагавшие влить флот в Министерство обороны. Сталин слушал. Причём когда он слушал, то опускал голову, а когда поднимал её, все замолкали. Иногда на заседаниях никому не предоставлял слова. Ходил вдоль стола. И говорил: «У нас сегодня на повестке вопрос такой-то. Предлагается следующее решение: первое — то-то, второе — то-то. Есть возражения? Нет. Решено». Но если давал обсуждать, то сидел и слушал.

На этот раз особенно старался Ворошилов, который относился к сторонникам объединения министерств. Сталин слушал, слушал, вдруг поднял голову. Сразу воцарилась тишина. Он вперил тяжелый глаз в Ворошилова и сказал: «Если встать на точку зрения товарища Ворошилова, это



79 Арсений Головко с сыном на даче в Переделкино. 1953 г.

будет на руку только нашим врагам». Поднялся и вышел. Ясно, что Ворошилов — германский или японский шпион, что с ним дело кончено, потому что работает на руку нашим врагам. А после заседания полагался фуршет. Его участники пошли выпивать, закусывать, Ворошилов же бегал от одной группы к другой, но никто с ним не общался, у всех жуткое состояние. Военачальники проработали с ним всю жизнь, а сейчас понимают: всё кончено, поэтому отмалчиваются, оттесняют его от себя. После фуршета, как принято, состоялся просмотр фильма. Входят в зал, на экране «Огни большого города» Чаплина. Все садятся, Сталина ещё нет, идёт фильм, но никто не смеётся. Потом появляется вождь, как всегда с трубкой, садится в своё кресло, смотрит кино. Он обожал Чаплина и помногу раз смотрел его фильмы. Встал, утёр слезу. Все тоже встали. Он пошёл между рядами. Проходит мимо Ворошилова, утыкается головой в его плечо и говорит: «Старые мы стали, Клим. Беречь друг друга надо». И ушёл. Сразу у всех прекрасное настроение. Ворошилов опять друг, и опять всё нормально».

Однажды пришёл Константин Симонов и вызвал Арсения в сад, а я возилась с грядками, но заметила, что у Симонова по щекам текут слёзы. А потом из сада были слышны его жалобы:

— Я ничего не могу с ним поделать! Он же вор и врун!

Речь шла о сыне актрисы Вали Серовой от первого брака, когда Симонов женился на ней, мальчику было лет шесть–семь.

— Я его бью, но ничего не помогает.

И Арсений был в ужасе:

— Никогда не делайте этого, — ответил он. — Как бы меня ни возмущали матросы, я никогда не поднимаю на них руку.

Симонов производил на меня странное впечатление. Какая-то женственность в нём была. Красивый мужчина, но носил мягкие сапоги, бесшумно ходил, да ещё и слёзы эти…

Арсения постоянно кто-то уводил. Часами любил с ним гулять, как я уже сказала, Сергей Михалков. О чём они говорили — не знаю. А ещё к нам приходил живший по соседству писатель Александр Фадеев. Однажды я пригласила на дачу мхатовского помрежа — Ксению Яковлевну Бутникову. Она была много старше меня. Пришёл выпивший Фадеев. Увидел постороннего человека и тихонько спросил:

— А она не настучит?

У него были проблемы в Союзе писателей. Я стала оправдываться:

— Что вы, что вы, нет, она очень интеллигентная женщина.

Но он всё равно ушёл. Почувствовал себя неловко.

Мне кажется, что сегодня Фадеева помнят только как советского писателя, но мало кто знает о его, выражаясь учительским языком, «гражданских заслугах». Ведь именно он спас десятки писательских судеб. К нему обращались родственники тех, кого сажали в тюрьмы, отправляли в лагеря, истязали на Лубянке… Рассказывали, что однажды Фадееву сделала замечание Ольга Берггольц. У них завязался спор, точку в котором поставил сам Фадеев:

— Молчи, Ольга! — Крикнул он. — Ты не представляешь, какую беду я от тебя отвёл.

И Берггольц всё поняла…

Последние дни Фадеева были самыми тяжёлыми в его жизни. Он застрелился в Переделкино через подушку, чтобы не напугать маленького Мишку — своего сына, которого очень любил. В те дни у них на даче гостила давняя приятельница Фадеева по литераторским кругам. Накануне вечером он сказал ей, что будет ночью работать, и попросил разбудить его к обеду (его жена Ангелина Степанова была в это время в отъезде). Будить пошёл Миша. Когда он открыл дверь, то женщина услышала истошный крик:

— Папа застрелился!

Подбежала, мальчик на её глазах побледнел и потерял сознание. Мы услышали о смерти Фадеева по радио, когда ехали в машине из Риги в Калининград. Мы ещё не знали подробностей, но Арсений утверждал, что фадеевская болезнь ускорилась от жутко прямолинейного характера. В чём эта прямолинейность? Вот, например: однажды муж ждал меня возле театра, разговорился со Шверубовичем, вдруг подошёл Фадеев, поглядел на Шверубовича и сказал:

— А этот стрелял в наших…

Конфликт быстро замяли, списав всё на писательский алкоголизм. Хотя Шверубович действительно вначале пошёл по пути белого офицерства (никто ведь не знал, чем закончится революция), потом Василий Иванович Качалов долго хлопотал, чтобы снять с Вадима обвинение. Видимо, Фадеев знал об этом.

Арсений говорил, что Фадеев после смерти оставил большой конверт, на котором было написано «В правительство». Конверт этот сразу изъяли, но Арсений знал его содержание, правда, он так и не решился сказать мне, что там было. Сегодня это письмо

опубликовано: Фадеев каялся, что далеко не всех писателей смог защитить от Сталина.

По иронии судьбы, совсем скоро после его смерти начались процессы по реабилитации заключённых, многие стали возвращаться из лагерей — наступила та самая хрущёвская «оттепель», но душу Фадеева она уже не отогрела.

Несколько дач в Переделкино принадлежали морским военачальникам. Когда там разливался пруд, то выехать из посёлка

80 Александр Фадеев последние дни жизни провел в Переделкино

81 Корней Чуковский любил «экстравагантные» шутки

было сложно: вода заливала дорогу, ведущую к шоссе на Москву. Приходилось объезжать по ухабам, вплотную прижимаясь к дачным заборам. Самое сложное место было под забором у маршала Захарова. Он, кстати, хорошо относился к Арсению. Но поскольку каждый день с утра до ночи машины «прижимались» к забору его дачи, захаровская жена наняла рабочих, и те вырыли канаву. В итоге, единственный путь на Москву оказался отрезан.

Но ситуацию спас морской военачальник Кулаков. Он сразу оповестил весь посёлок. И машины, ехавшие по ухабам, не выключали сигнал. Шум стоял дикий, так что Захаровской жене пришлось снова вынести два литра водки, нанять рабочих, и они засыпали лужу.

С Переделкино связано много приятных воспоминаний. Там царила особая тёплая атмосфера. Там можно было прийти в себя от московской суеты и шума… Можно сказать, в Переделкино выросли наши дети. После смерти Арсения мы ещё год пользовались нашей дачей, но без адмиральских льгот это оказалось нам не по карману.

«ВАША ЖЕНА ВАМ ИЗМЕНЯЕТ…»

Об Арсении можно написать отдельную книгу. Он был замечательный муж и отец, выдающийся военачальник и смелый человек. Скажем, когда фашисты бомбили Полярный, где располагался штаб Северного флота, Арсений наблюдал за бомбёжкой в бинокль, рискуя жизнью. Его тащили в укрытие, но он твёрдо стоял на ногах. И мало кто знает, что он был одним из немногих военачальников, которые не имея личного указания Сталина, приказал стрелять по вражеским самолётам, нарушающим нашу границу, ещё до начала войны. Далеко не каждый мог на это осмелиться.

Мужественный человек, он становился легко ранимым, когда дело касалось личной жизни. Считается, что супруги не должны ничего скрывать друг от друга. Я верила в эту заповедь и растрепала ему о своих прежних влюблённостях. Арсений отнёсся с пониманием. И на этом мне следовало бы поставить точку: ну, растрепала и не возвращайся к этому больше, но я по глупости разрешила ему почитать свои старые дневники, когда те случайно нашлись после уборки. До сих пор ругаю себя за это, поскольку в дневниках говорилось о моих чувствах к другому мужчине. И когда Арсений полистал эти записи, у него на глазах появились слёзы.

Был непростой разговор, который закончился для меня стрессом. Так что, на нервной почве свой дневник я сожгла и больше не повторяла этих глупостей.

Однако лет десять спустя вновь возникла похожая ситуация: теперь уже из-за анонимных писем наша жизнь с Арсением оказалась под угрозой. Сначала я получила весточку странного содержания: «Ваш муж будет знать, какая вы б…дь». Кому

понадобилось написать такое? Я не была ни в чём виновата. Никому не делала гадостей. И, конечно, мужу не изменяла даже в мыслях. Поэтому, решив, что кто-то балуется, постаралась об анонимке забыть.

Прошло несколько дней, и я замечаю, что настроение у Арсения совсем не радостное. И вроде бы говорить не хочет, но что-то его волнует. Вот когда я об анонимке вспомнила. Оказалось, что и он получил письмо, написанное печатными буквами. В нём говорилось: «Вы верите своей жене, а она вам изменяет с Солодовниковым (директором МХАТа)». Боже мой, я даже представить этого не могла. Однажды он при всех поцеловал мне руку, но это был всего лишь благородный жест, какая же это измена?

Не скрою, семья Солодовникова была мне симпатична, но мы лишь поддерживали дружеские отношения с Александром Васильевичем и его женой. Однако после гастролей в Японии пошли слухи о моём романе с Солодовниковым — в театре вообще многое строится на домыслах.

Арсений считал, что анонимки пишут завистники.

— У тебя враги в театре есть? — спросил он.

Явных врагов не было. Тогда мы стали думать, кому я могла хотя бы настроение испортить. Вспомнили об артистке Р., которая совсем недавно была у нас на ёлке с сыночком, и тот вёл себя просто ужасно — у других детей отнимал подарки, бесконечно требовал конфеты, а Р. восхищалась:

— Ах, какой у меня сыночек!

Его шалости перерастали в драки, смех — в крик, я постоянно пыталась его унять, но мамаше это не понравилось. Детский праздник превратился в муку. Сомнений в том, что анонимки писала именно она, у меня не осталось, поскольку (на воре шапка горит) в письмах она упоминала детские праздники. Да и на этих ёлках не было других мхатовских детей.

Но к счастью, эту неприятность мы быстро пережили, и больше анонимок не поступало, а вот праздники в нашем доме не прекращались. Однажды меня подбили собраться наши мхатовские женщины — Нина Базарова, Галя Шостко, Люба Лабзина, Софья Пилявская, Женя Петрова, Ольга Фрид (из Школы-студии), Васильева (мама модельера Саши Васильева)… Был огромный стол,

82 Софья Пилявская
83 Морская прогулка

две наши поварихи наготовили как на свадьбу. И когда все наклюкались, появился, наконец, Арсений Григорьевич. Тогда Шостко отколола косу, очень смешно стала бить ею по столу:

— Идите к нам, Арсений Григорьевич. Ну, идите… Мы примеряли ваш мундир. И всем казалось, что носить его невозможно — он тяжеленный от медалей.

Панегирик в его честь произнесла, но Арсений так и не присоединился. Потом все уехали на такси — был второй час ночи. Арсений благородно оплатил всем дорогу.

ДОЧЬ ОТЦА НАРОДОВ

Я прошу прощения у читателя, если эти воспоминания покажутся путаными, а хронология событий не выстроенной. Но чтобы рассказать о Светлане Аллилуевой, нужно вернуться в сороковые годы.

В январе 1949 года я вышла замуж за Арсения, а летом, ожидая рождения ребёнка, мы поехали в Кисловодск отдыхать. И сделали на день остановку в Нальчике, в санатории Совета Министров — с тем, чтобы заехать на родину мужа, в город Прохладный, бывшую казачью станицу. Это было несложно, поскольку Арсению полагался

отдельный железнодорожный салон-вагон. Кто-то из встречавших сразу сказал, что тут отдыхают Светлана с Юрием Ждановым — они только что поженились. Отец Юрия — Андрей Александрович Жданов, один из руководителей партии и правительства, незадолго до этого умер.

Начальником санатория был Журавлёв — тот самый, что потом в Москве, лет десять был начальником управления знаменитого Дома на набережной, где позже нам доведётся жить. А тогда, в 1949-м, у Журавлёва была какая-то просьба к Арсению, поэтому он старался всячески нам угодить. И в виде особой любезности познакомил нас с Юрием и Светланой. Мы разговорились. Светлана была очень мила, вспоминала, как с отцом приходила во МХАТ. Стройненькая, без каблуков — видимо из-за того, что Юрий Андреевич был небольшого роста. Юра и Светлана рассказали, что тоже думают о ребёнке — у меня-то беременность была более чем явной, поэтому мы и обсудили эту тему. В общем, получилась у нас приятная, ни к чему не обязывающая светская беседа.

Прошло несколько лет.

В Москве у нас с Арсением образовалась небольшая компания — два семейства братьев Яковлевых, один из которых был довольно крупным дипломатом, а другой — адмиралом. Оба они были в хороших отношениях с Арсением, и мы стали бывать друг у друга в гостях. И вот как-то у Яковлевых в числе гостей оказались Юрий Андреевич и Светлана. Юра сел за рояль, он прекрасно играл и симпатично пел. Я тогда тоже пела, и так, дуэтом мы долго всех развлекали. Дней через десять этой же компанией мы собрались у нас, на Серафимовича. Так завязалось, или, вернее сказать, продолжилось наше знакомство.

Вечерами мы пели, танцевали, иногда слушали пластинки, о чём-то спорили. А Светлана (она заканчивала тогда истфак, собиралась преподавать) почти всегда сидела где-нибудь в уголочке, отстранившись от общей компании, но не замыкаясь совсем — если к ней обращались, то охотно, но тихо разговаривала, что-то рассказывала. Никогда не танцевала. Пружиной веселья неизменно становился её Юра — с роялем, музыкой, пением, анекдотами. Светлана очень хорошо одевалась, у неё была спортивная фигура — как-то я с удивлением и восторгом видела её в Серебряном бору, катающуюся за катером на специальной доске — прообразе

водных лыж (мне это запомнилось, так как сама бы ни за что на такую доску не встала). Общее впечатление немного портила лёгкая сутулость. Но, может быть, Светлана сутулилась по той же причине, по которой носила туфли на низком каблучке, — чтобы не выглядеть выше своего мужа.

В какой-то период наши встречи стали регулярными. Правда, Юрий и Светлана к себе нас никогда не приглашали — видимо, потому, что жили тогда в Кремле, кажется, в квартире отца Юрия.

Как-то раз, в один из наших вечеров, Светлана подсела ко мне и заговорила о том, что вот, Кира, у вас голос, вы хорошо поёте, вы учились этому?

— Училась и продолжаю учиться, — отвечала я. — У меня замечательный педагог.

Ещё до войны я занималась у Елены Юльевны Жуковской, ученицы Рахманинова — к ней меня привёл отец. Однако Елена Юльевна умерла в сорок пятом, но я могла познакомить Аллилуеву с другой своей учительницей — Софьей Андреевной Рачинской, с которой занималась уже во МХАТе. Она жила на улице Воровского, ныне Поварской, в огромной, с эркером, комнате коммунальной квартиры. Этот старый московский дом сохранился и сегодня, он стоит почти на углу Нового Арбата, напротив церкви. Софья Андреевна была женщиной совершенно очаровательной — образованной, воспитанной, с прекрасным голосом и, главное — отлично знающей своё дело.

И вдруг Светлана стала меня просить:

— Кира, если вам не трудно, устройте меня к ней… Дело в том, что я от природы тихо говорю, а мне сейчас придётся читать лекции, нужно хоть как-то поставить голос, а я, к тому же, часто простужаюсь, болит горло… А потом… Юра, он ведь человек общества, он любит петь, а я, как видите, рта не раскрываю, Юра у рояля, а я сижу одна…

И я загорелась…

На следующий же день отправилась к Софье Андреевне, заранее предвкушая, как моё предложение её обрадует. Но когда я сказала, что брать у неё уроки хочет дочь Сталина, у Софьи Андреевны отвис подбородок и задрожали руки.

— Кира, что ты со мной делаешь? — сказала она.

Я помогла ей сесть и продолжала рассказывать, какая Светлана симпатичная, как ей это нужно и важно — лекции, Юра,

компания — как будет интересно с ней заниматься, как я верю в её способности и талант преподавателя… Минут через десять Софья Андреевна, тяжело вздохнув, согласилась:

— Ну ладно, Кира, ради тебя… Только не знаю, что из этого выйдет…

Когда через два дня я пришла к Софье Андреевне на очередное занятие, то руки у неё дрожали ещё больше. Она стала рассказывать:

— Светлана мне позвонила, мы договорились о встрече. А за два часа до начала занятий раздался звонок в дверь, и, представляешь себе, вошли трое мужчин в штатском и перевернули, перерыли и пересмотрели всё в моей комнате… Это был такой стыд…

Надо было видеть жилище Софьи Андреевны — огромные старинные шкафы и буфет, рояль и сундук, коробки и корзинки, стопки нот и книг — всё это старое, нужное и ненужное, но действительно уютное и милое сердцу немолодой хозяйки барахло, перемешанное с антиквариатом!

— Ничего не стали объяснять, но это ведь и не нужно было, я и так всё понимаю, — продолжала Софья Андреевна. — А через 20 минут после их ухода появилась Светлана — принесла цветы, конфеты, два огромных пакета продуктов. Мне даже неловко стало.

Не помню, сколько продолжались их занятия. Может быть, месяц, или два. Вряд ли за это время можно было поставить голос. Но каждый раз, вновь и вновь, трое в штатском перетряхивали комнату. И каждый раз это были новые люди.

Я, конечно, чувствовала угрызения совести, несколько раз хотела поговорить со Светланой и попросить её прекратить занятия, ведь на дрожащие руки Софьи Андреевны страшно было смотреть, но она сама останавливала меня:

— Нет, нет, Кира, если Светлане нужно, то будем продолжать.

Потом у меня началась напряжённая работа в театре. Муж часто уезжал в командировки, постоянно задерживался у себя в штабе — часто до утра, а иногда и на несколько суток. И нам стало не до наших прежних вечеров.

Добираться от улицы Серафимовича до МХАТа и обратно было довольно неудобно — троллейбусы ходили редко и постоянно были переполнены, а ехать автобусом с пересадкой получалось ещё сложнее. И часто я ходила пешком через Каменный мост, мимо Кремля, через Манежную площадь. И вот, как-то раз, когда я проходила

возле Боровицких ворот, меня кто-то окликнул по имени. От неожиданности я вздрогнула и немного растерялась (шла задумавшись, настраиваясь на спектакль). Подняла глаза — и увидела Светлану.

— Давай пойдём вместе, я хочу с тобой поговорить — сказала она.

Вид у неё был расстроенный. Дальнейший разговор я хорошо запомнила, потому что это был наш единственный разговор по душам. На вечерах Светлана вела себя очень сдержанно, мы никогда с ней о чём-то серьёзном не говорили, об отце даже и не упоминалось (как и об отце Юры). Из-за негласного, но строгого «табу» все даже звали её просто Светланой и никогда — Светланой Иосифовной. Для всей страны он ведь был товарищ Сталин, а не Иосиф Виссарионович. Сознательно или подсознательно, но все избегали называть это имя…

— Кира, — начала Светлана — Мы разводимся…

Я опешила. Мне казалось, что Юра и Светлана созданы друг для друга. Ведь и пение, и туфли без каблуков — всё это делалось ради Юры. И девочка родилась — видно было, что Светлана души в ней не чаяла, несмотря на всю свою сдержанность.

— Это мама Юры. Она с самого начала была против того, чтобы он на мне женился. И вот сейчас всё на грани катастрофы. Знаешь, дошло до того, что я даже кидалась к отцу за советом…

— И что же он тебе сказал? — спросила я.

— Он сказал, что брак — это бесконечная цепь взаимных компромиссов, и что если вы родили ребенка, то вам следует так или иначе семью сохранить.

— Ты рассказала Юре об этом разговоре?

— Да… Но не подействовало… Юрина мама считает, что я загубила его талант, как учёного и как пианиста. На занятия уже не хожу, не до того…

Возле театра мы попрощались. Так закончились мои относительно близкие отношения со Светланой…

А дальше, в конце 1952 года, последовал наш внезапный отъезд на Балтику, о котором читатель уже знает. Вернулись мы в Москву в январе 1957 года. И снова поселились в Доме на набережной. Я знала, что Светлана живёт а одном из соседних подъездов. Но отношения не возобновились, несмотря на то, что несколько встреч у меня с ней было. Хорошо помню одну из них — году в 1963-м или 1964-м в квартире у контрразведчика

84

85

84 Светлана Аллилуева

85 Юрий Жданов и Светлана Аллилуева на похоронах И. Сталина. 1953 г.

Андрея Яковлевича Свердлова и его жены Нины Николаевны Подвойской. Семью эту со Светланой связывали давние отношения через родителей, революционеров, известных партийных деятелей — Якова Свердлова и Николая Подвойского. Когда я вошла, Светлана сидела у них за столом, ещё более замкнутая и зажатая, чем двенадцать лет назад. Выглядела она ужасно, была очень странно одета. Я тогда играла во МХАТе старшую сестру в пьесе «Дом, где мы родились». Свердловы видели этот спектакль. И Нина Николаевна, со свойственным ей комсомольским энтузиазмом стала говорить:

— Светлана, вам обязательно надо ходить в театры! Вот Кира, у неё очень хороший спектакль, она вас устроит. Обязательно сходите.

На это после паузы Светлана ответила тихо, но страшно определённо:

— Я никуда не хожу, кроме консерватории…

Я тут же вспомнила, что и в бытовой, по сути, пьесе Когоута, несколько раз резко отрицательно говорится о культе личности Сталина. Наверное, это вспомнили и Свердловы. Все замолчали. Светлана сказала, что ей пора, и ушла…

Вот, собственно, и всё, что я могу рассказать о личных встречах со Светланой Аллилуевой. После этого Андрей Яковлевич несколько раз говорил со мной о ней. Он очень переживал, что у Светланы меняются мужья и любовники, а жизнь не складывается, и никто ничего сделать не может или не хочет, а надо бы.

Ещё через несколько лет Светлана эмигрировала, а точнее, как тогда говорили, стала «невозвращенкой». Выпросив с помощью Косыгина заграничный паспорт, она уехала в Америку через Индию, куда она отвозила прах мужа — индийца, умершего в Москве. После этого я несколько раз встречала во дворе нашего дома дочку Светланы — Катю. И каждый раз, когда она видела меня, глаза её наполнялись страхом — дескать, сейчас тётя Кира подойдёт, и будет расспрашивать… Я, конечно, никогда этого не делала. Было очень жаль её, но как ей помочь, не знала. Отец её Юра тоже был далеко — к тому времени он возглавил университет в Ростове-на-Дону.

Потом до меня доходили только рассказы о Светлане.

В 1973 году я два месяца прожила в Соединённых Штатах, в Нью-Джерси, у Светланы Салерно-Нагоровой, дочери русских эмигрантов, уехавших из России ещё в 1918 году. Мы познакомились и подружились во время гастролей МХАТа в Америке в 1965 году, и она прислала мне приглашение. В её окружении были русские, живущие за границей, которые всегда держатся общиной. Они рассказали мне, что недалеко, в получасе езды по хайвею, в Пенсильвании, живёт Лана Питерс (так теперь звали Светлану Аллилуеву); что у неё дочка двух с небольшим лет, и её только что бросил муж — югослав. И ещё у неё была покровительница — миллионерша, помогавшая ей. Светлана написала и издала две или три книги, получила неплохие гонорары, но пустила их на пожертвования, так как стала очень религиозной, а большую часть — на помощь мужу, у которого начались сложности в бизнесе. Многие считали, что он решил бросить её после того, как получил деньги.

Что думала на этот счёт Светлана — я не знаю, ведь больше мы не встречались…

СКОЛЬКО ТАЙН ОН УНЁС С СОБОЙ…

О своих военных делах Арсений мало что рассказывал мне, даже если я приставала к нему с расспросами. Уже потом, после его смерти, я многое узнавала из книжек и рассказов сослуживцев. Например, что Арсения, якобы, назначали Главнокомандующим флота. Правда, что-то не срослось, и ровно

через сутки адмирал Сергей Горшков добился через Полянского отставки Арсения Григорьевича. Это был единственный случай, когда Политбюро переголосовало по чьим-то хлопотам. И Главкомом назначили Горшкова, а Арсений стал его первым замом. До конца жизни между ними оставались сложные отношения.

Хрущёв моему мужу тоже не нравился. Он отзывался о нём, как о слабом политике, забавно пародировал, запоминал для меня неграмотные фразы. И кто бы знал, что по нелепой случайности Арсений станет жертвой жестокой политики Хрущёва. Я, наверное, самая последняя из окружения Арсения узнала, что 30 октября 1961 года мой муж участвовал во взрыве термоядерной «Царь-бомбы» на Новой Земле.

Мощность взрыва была огромной. Это теперь уже знают, чем опасна радиация, а в 1960-е годы взрывы ассоциировались с газовой атакой Первой мировой войны. Поэтому когда этот «гриб» поднялся над Новой Землёй, все вышли из укрытий — смотреть.

А у меня даже предчувствия не было, что с Арсением может случиться что-то страшное. Я прозевала этот момент и по сей день простить себе не могу. После возвращения домой у мужа начались боли в сердце, весной 1962 года к ним добавились приступы удушья. При этом Арсений в больницу ехать не хотел, но я сама настояла на госпитализации. Каждый день он просил:

— Забери меня домой.

А как я заберу? Дома ведь нет ни врачей, ни медсестёр, ни аппарата дыхания. 8 марта я вошла в палату и ужаснулась от бледности и проступившей седины Арсения. Впечатление было, что из организма ушла кровь. Теперь любой врач скажет, что это явный признак лучевой болезни. Но в ту пору ему лечили сердце. И когда он умер, мне сказали:

— Перенёс третий инфаркт.

А как «третий», когда и первых двух не было?

Каждое утро, до репетиции, я ехала в больницу, потом в театр. Днём снова возвращалась к Арсению. Однажды привела детей, и какая-то медсестра сказала мужу:

— Арсений Григорьевич, какие у вас чудные внуки!

В тот же день он шёпотом попросил не приводить больше детей. Я его прекрасно понимала: в свои 55 лет он на глазах превращался в старика.

18 мая порог больничной палаты я переступила в 8.30. Арсений при мне позавтракал. Но был бледен. Как обычно, поцеловался со мной. И несколько раз сказал:

— Мам, возьми меня домой.

Потом к 9.30 я поехала в Школу-студию, меня ждали студенты. Едва подошла к театру, на пороге увидела Монюкова. Он обнял меня крепко:

— Кира, возвращайся в больницу, — сказал он.

И я всё поняла. Слово «смерть» не прозвучало, но оно и не требовалось. Я поняла, что в театр позвонили из больницы, пока я была в дороге.

Когда я вернулась в больницу, Арсений лежал ещё в палате. Сперва меня к нему не пускали. В коридорах был переполох. Помню, как плакала главный врач сердечно-сосудистого отделения Ольга Николаевна. А я почему-то не плакала, хотя всегда была слезливой. Я словно омертвела и не могла поверить, что Арсений покинул меня.

Домой плелась как в полусне, или меня привезли на машине — я очень плохо помню окончание дня. Когда сообщила эту новость детям, Мишка схватил подушку и зарыдал. Ему было двенадцать лет.

86 Внук Киры Головко Кирилл и актриса МХАТа Марина Добровольская рядом с ракетным крейсером «Адмирал Головко»

87 Адмирала увековечили на родине — в городе Прохладном под Нальчиком

А девятилетняя Наташа вроде бы и не отреагировала. Но вдруг у неё температура 40, потом 41. Я вызвала «неотложку». Думала, её заберут. Ей сделали уколы. И вот Наташино недомогание меня отвлекло от горя. Ближайшими помощниками на похоронах стали наши няни. Конечно, были и товарищи Арсения, и мои коллеги по сцене. Первой пришла Зося Пилявская. Чудесный человек, она никогда не вмешивалась в чужие дела, но всегда была рядом. Я знала, что могу опереться на неё.

Через три дня были похороны. По советской традиции, прощание с военачальниками обычно проходило в Колонном зале Дома союзов, однако там велась реконструкция, и панихиду устроили в Доме Советской армии — в том, который рядом с Театром Советской армии. Пришло всё политбюро, кроме Хрущёва. Но Брежнев был, подходил поцеловать мне руку. Потом я шла за гробом, потом было кладбище, панихида и огромный стол на поминках, но детали не запомнились.

Арсению не было и 56 лет…

Внезапная кончина Арсения Григорьевича — как гром среди ясного неба. Когда эта книга готовилась к печати, Кира Николаевна перечитывала главы о нём и неизменно повторяла: «Как я была счастлива!» и «Сколько тайн он унёс с собой». Спустя годы, она узнавала новые подробности из жизни своего легендарного мужа. Коллеги, приятели, исследователи морского флота рассказывали десятки удивительных историй. Одну из таких историй нам рассказала старейшая актриса Малого театра Татьяна Панкова:

— Я объездила все фронты. Но самая впечатляющая поездка на Северный флот. Нас встретил легендарный адмирал Арсений Головко. И когда мы показали ему путевые листы, он закричал — и на нас, и на подручных генералов: «Куда вы пустили актёров?! Кто вам дал право так близко подпускать артистов к фронту?!» А потом замолчал, и все услышали, как на его столе работает приёмник. Шёл бой. Головко командовал действием по радио. Оттуда доносилось: «Я 613-й, прикройте хвост. Иду на таран. За родину! За Ста…» Даже не договаривали до конца, потому что погибали от удара. И только было слышно, как самолёт падает с визгом.

Головко был прав, мы и правда забрались на очень опасную территорию, но думали, что беда обойдёт нас стороной. А через несколько дней по пути на полуостров Рыбачий наш катер попал под сильнейший артобстрел. Ливень огня! Мы чудом спаслись, но всё же сыграли вечером спектакль. И вот когда об этом узнал Головко, он дал нам медали «За оборону Заполярья».

ГЛАВА 13

ШКОЛА-СТУДИЯ МХАТ

КАРЛЫЧ

Преподавать в Школе-студии МХАТ я никогда не стремилась, потому что всегда говорила себе:

— Кира, идут годы, ты играешь в Художественном театре, и великое счастье, что никто не требует у тебя диплом.

В самом деле, как может преподавать человек, у которого нет документа о высшем образовании?! Мысли о педагогике меня не посещали даже в Калининграде — в минуты, когда на репетицию приходила какая-нибудь неопытная артистка. Я не давала советов, поскольку считала, что каждый из нас должен заниматься своим делом. Когда я вернулась с Балтики в Москву, меня вызвал однажды Станицын и сказал, что в Школе-студии набирает курс Виктор Карлович Монюков и что дирекция театра, посовещавшись, решила, будто я смогу быть его достойной помощницей. Я сказала:

— Не знаю, какой из меня педагог, но если дирекция считает, что моя помощь необходима, я постараюсь не подвести…

Так я познакомилась с Виктором Карловичем. Артистки судачили, что актёра из него не вышло, но зато он обладал редчайшим педагогическим талантом. В этом легко убедиться сегодня, посмотрев на его выпускников: Николай Караченцов, Игорь Золотовицкий, Марина Голуб, Вячеслав Езепов, Альберт Филозов, Александр Коршунов, Евгений Киндинов, Алексей Гуськов, Владимир Машков, Наталья Егорова и многие другие.

Мы настолько с ним сроднились, что официальное имя сократилось до краткого — Карлыч, так мы его звали в своем кругу.

Он был младше меня на пять лет, но я старалась у него учиться. Он действительно был талантливым педагогом, блестящим теоретиком. Мог подолгу выстраивать логику образа, при этом обладал богатой фантазией, наверное, поэтому мы часами беседовали с ним, а казалось, что прошло совсем мало времени. Иногда он говорил:

— Кира Николаевна, давайте посоветуемся…

Мы запирались в пятой аудитории, а когда выходили — студенты на нас лукаво поглядывали. Наверное, думали, что мы целовались. Единственный, кто не мог и мысли такой допустить, был сам Карлыч. Он происходил из очень интеллигентной семьи прибалтийских немцев. Причём характером и воспитанием был в маму. Говорю об этом с уверенностью, потому что с его мамой мы тоже быстро подружились, а потом я много помогала, когда её парализовало. Лет восемь длились мамины мучения. Так что наше общение невольно вышло за рамки студенческой аудитории. И, вероятно, Карлыч считал меня членом семьи.

Я была вторым педагогом на курсе, преподавала актёрское мастерство, но когда Арсения не стало и мне понадобились деньги, стала участвовать в гастрольных концертах, которые устраивались летом. Поэтому я не всегда бывала на вступительных экзаменах. В компании с Виктором Авдюшко и Юрием Беловым я ездила по городам Советского Союза от Москвы до Камчатки. Читали стихи, играли отрывки из спектаклей. Я открывала концерт приветственным словом — говорила о МХАТе, знаменитых актёрах, мхатовской молодёжи. И однажды сказала к слову:

— Я молодых уже не играю.

Из зала в ту же секунду мужской голос ответил:

— А выглядишь хорошо.

Я была польщена. Мы много веселились в тех поездках. Однажды на Дальнем Востоке я потащила Авдюшко с собою в обувной магазин — хотела, чтобы он помог подобрать мне обувь для сына. Но когда я попросила в магазине 42-й размер, Авдюшко удивился:

— Это для кого же?

— Да для сына, для сына…

— Такого сына быть не может …

Он подозревал, что ботинки — подарок для любовника.

Как я уже говорила, эти концерты порой проходили в дни вступительных экзаменов, поэтому в Школу-студию я приезжала ко второму или третьему туру. Однажды Монюков встретил меня мрачный:

— Мама умерла, — сказал он. — Почему ты уехала, когда маме было плохо?

Но паралич продолжался восемь лет. Никто не знал, что смерть наступит именно в моё отсутствие. Я думала, что вернусь и снова стану помогать Карлычу, как было уже не раз.

Мамину смерть Монюков перенёс тяжело, поэтому всё своё время посвятил работе — студентам. Однажды после моих очередных гастролей он представил мне набранный курс, на который взяли и Колю Караченцова. Я подумала: *Боже, какой невзрачный, с прощелиной между зубами. Куда смотрел Монюков?!*

А когда начались занятия, я и сама влюбилась в Колю — сколько обаяния было в нём! Его испепеляющий взгляд невозможно описать. А эта расщелина! Он же был сексуальный невероятно. После Школы-студии МХАТ его взял к себе Марк Захаров. Прошло время, и вдруг Монюков мне говорит:

— Захаров занял Колю в главной роли в спектакле «Тиль». Это что-то феерическое! Только прошу тебя — не ходи — у тебя сердце разорвётся от сопереживания, я тебя знаю.

Но, конечно же, я пошла и по окончании не сдержалась — побежала целовать и Колю, и Марка Захарова.

Если говорить о Школе-студии, то нельзя обойти вниманием Иосифа Моисеевича Раевского, который на занятиях бесконечно искал правду образа. И он заразил меня своей неповторимой манерой ещё в ту пору, когда я была молоденькой артисткой. Например, спрашивал:

— Как ты готовишься к спектаклю?

Я говорила:

— Иосиф Моисеевич, это какая-то беда. Я за кулисами легко всё чувствую, и говорю с верными интонациями, и слезами заливаюсь, а выхожу на сцену — сухая, как столб.

Он меня упрекал:

— Ну и дура ты после этого! Ты не должна повторять текст перед выходом на сцену. Ты ведь знаешь, что у тебя память прекрасная,

совсем о другом нужно думать. Думай о предлагаемых обстоятельствах, но слова повторять нельзя.

Это был очень важный для меня урок. Действительно, память меня не подводила, разве только один раз произошёл жуткий случай на спектакле в Калининграде. Мы играли «Смерть коммивояжёра», была моя сцена, я произнесла первые фразы, а дальше — ступор. Чистый лист перед глазами и ничего не помню. Это продолжалось секунды, но страх передать невозможно: я была в полной уверенности, что уже и не вспомню монолог и нужно убегать со сцены. Но вдруг кто-то из партнёров шепнул мне следующую фразу и всё пошло своим ходом. Я немного успокоилась, кровь отлила, и доиграла спектакль. Потом благодарила Раевского — как он был прав: на сцену нужно идти слегка в расслабленном состоянии, тогда смотришь на вещи как бы со стороны и легче играешь.

88 Выпуск 1967 года в Североморске на крейсере «Адмирал Головко». В центре — Кира Николаевна с дочерью Наташей, вторая слева Галя Стецюк (Киндинова), второй справа — Николай Караченцов

Игорь Золотовицкий: «Начиная с третьего курса, мы могли отмечать праздники у неё дома — в просторной квартире в центре Москвы. В доме была гувернантка, которая очень вкусно готовила. При этом стол изысканно сервировался: и ты понимал, что обед — это тоже искусство. И если Кира Николаевна благодаря этим посиделкам научила нас красиво есть, то Виктор Карлович — красиво пить. С его лёгкой подачи Школа-студия считалась институтом благородных напитков. Мы издевались над ГИТИСом, поскольку там все были портвейнтисты, а Монюков нам внушил: если пить, то водку, если напиваться, то коньяком.

Иногда вместе со студентами в дом приглашались состоявшиеся артисты. Один актёр, изрядно поддав, заснул у неё на кровати и спал там всю ночь. Утром Кира Николаевна тихонько зашла в спальню, направилась к шкафу, чтобы взять вещички и, понимая, что он будет сейчас извиняться, сама решила сгладить недоразумение:

— Ничего, Мишенька, ничего…

Тот приоткрыл глаза:

— Как ничего, Кира Николаевна? Это было отлично!

Она такая во всём: «ничего, ничего». И при этом очень тактичная, в хорошем расположении духа. Всегда очень точную интонацию находила как на сцене, так и в педагогике. И эти интонации помогали раскрепостить студента, помочь человеку поверить в себя. Например, могла рассказать на ухо откровенный анекдот или же так подсказать слова на репетиции, что ты понимал — перед тобой сидит не педагог, не доцент, а живой человек.

ГЛАВА 14

КАК ПРОЛЕТЕЛА ЖИЗНЬ…

ОТ «ЛЕСА» ДО «ЛЕСА»

Как пролетела жизнь… Казалось бы, я только недавно играла Аксюшу в «Лесе» Островского… А ведь это было в 1948 году. Роль Счастливцева бесподобно исполнял Топорков, Несчастливцева — Ершов, Гурмыжской — Шевченко (очень колоритная артистка с тучной фигурой), Восмибратова — Блинников. Я в этой цепочке талантов была очень слабым звеном, но любила «Лес»: что-то магнетическое было в нём, вспомнить хотя бы живописные декорации, созданные Дмитриевым.

Так сложилось, что последнюю роль я тоже сыграла в «Лесе», о чём уже и мечтать не могла: на тот момент мне было 85 лет. В моей квартире раздался телефонный звонок. Я сняла трубку, обычно в это время звонит соседка сказать, что ей принесли свежее молоко, но совсем неожиданно услышала голос молодого человека:

— Кира Николаевна, я хочу пригласить вас в свой спектакль «Лес» на роль госпожи Милоновой!

Первое, что меня смутило — «госпожа Милонова».

Я подумала:

— Вот она, старость! Мне ведь казалось, что у Островского господин Милонов.

Но молодой голос в трубке пояснил, что в своей постановке он намеревается господ сделать дамами. А после я переспросила, как зовут молодого человека, и услышала: Кирилл Серебренников.

Признаться, я ничего не смотрела из его постановок, но слышала это имя. Первым делом отказалась. Я не против экспериментов, но пусть в них участвует молодёжь. Отнекивалась долго, но Кирилл не отступал. Он предложил для начала встретиться. За мной прислали машину, всю дорогу я думала, как деликатно отказать, чтобы Кирилл не обиделся. Однако при встрече я поддалась и его обаянию, и уговорам, хотя меня и «пугали» его именем: «Авангардист! Все переделывает! Для него нет авторитетов! Он так вольно обходится с классикой!»

Мне вдруг стало так интересно! Словно азарт меня охватил. Может быть, за это сравнение надо мной будут смеяться, но я вспомнила, что точно так же «пугали» Мейерхольдом и его постановкой «Леса»! Спектакль был поставлен Всеволодом Эмильевичем в 1924 году, а я видела его уже году в 1937–м. У нас в классе были любительницы Мейерхольда, одна из них — Юлия Криницкая, очень красивая девушка из интеллигентной еврейской семьи, несколько раз спрашивала меня:

— Кира, а ты видела, что сделал Мейерхольд из Островского? Что ты об этом думаешь? Тебе понравилось?

Конечно, видела, и не раз. Это было так необычно и в то же время так интересно! В центре сцены располагалось имение Гурмыжской, а слева (если смотреть из зала) полукругом шла дорога, по которой спускались Счастливцев и Несчастливцев. Пьеса была разбита на несколько десятков эпизодов, и каждый из них имел свое название, которое появлялось на специальном экране над сценой. В памяти остались такие: «Аркашка и курский губернатор», «Аркашка-куплетист», «Объегоривает и молится, молится и объегоривает», но особенно меня веселили названия «Пеньки дыбом» и «Пеньки ещё раз дыбом». Позже я где-то прочла, что Мейерхольд «нарезал» эти эпизоды из текста Островского совершенно произвольно и сам придумывал названия. Счастливцева играл молодой Игорь Ильинский. Других я уже и не вспомню, но Ильинского забыть невозможно. Обаятельный, прыткий, он появлялся на этом мосточке-дороге и с каждым эпизодом постепенно спускался всё ниже и, наконец, попадал в имение Гурмыжской. Когда заканчивался один эпизод и начинался следующий, на сцене тускнел свет, и световой лучик спускался на шаг ниже по мостку-дороге — артисты переходили вслед за ним. Кстати, мостки шатались, и я думала: как же они

Премьера состоялась 24 декабря 2004 года

Александр Островский

ЛЕС

Комедия

Действующие лица и исполнители
(в порядке появления на сцене):

Аксюша	АНАСТАСИЯ СКОРИК
Буланов Алексей Сергеевич	ЮРИЙ ЧУРСИН
Улита	народная артистка РФ ЕВГЕНИЯ ДОБРОВОЛЬСКАЯ; заслуженная артистка РФ ЯНИНА КОЛЕСНИЧЕНКО
Гурмыжская Раиса Павловна	народная артистка РФ НАТАЛЬЯ ТЕНЯКОВА
Милонова Евгения Аполлоновна	народная артистка РФ КИРА ГОЛОВКО; заслуженная артистка РФ ГАЛИНА КИНДИНОВА
Бодаева Уара Кирилловна	народная артистка РФ РАИСА МАКСИМОВА; заслуженная артистка РФ ГАЛИНА КИНДИНОВА
Восмибратов	заслуженный артист РФ АЛЕКСАНДР МОХОВ (артист Театра п/р Ф. Табакова); ОЛЕГ ТОПОЛЯНСКИЙ
Петр	ОЛЕГ МАЗУРОВ
Геннадий Несчастливцев	народный артист РФ ДМИТРИЙ НАЗАРОВ
Аркадий Счастливцев	народный артист РФ АВАНГАРД ЛЕОНТЬЕВ

89

90

89 Программка знаменитого спектакля «Лес» по пьесе А.Н. Островского в постановке Кирилла Серебренникова

90 Сцена из спектакля. Милонова — Кира Головко, Бодаева — Галина Киндинова, Буланов — Юрий Чурсин

там держатся?! Между тем, Ильинский чувствовал себя уверенно. В одном из эпизодов он забрасывал удочку и ловил рыбку, которую помещал потом в чайник. Это было ужасно смешно. Мы видели, как он насаживает червяка на крючок, как червяк извивается, как Ильинский забрасывает удочку подальше от берега, как бьется готовая сорваться с крючка пойманная рыба… Всё это, без лишней бутафории, артист создавал своей великолепной игрой. Так «входил в образ», что и рыбку, и крючок, и червяка легко было домыслить. Поэтому раздавались громкие аплодисменты. Кроме того, Счастливцев был весьма нелепо одет: например, под брюками у него оказалось чёрное трико с когтями, в котором он напоминал черта. Это трико артист Счастливцев якобы прихватил, покидая один из театров. Много было непривычного в спектакле: в имении Гурмыжской расхаживали настоящие белые голуби, что меня, признаюсь, отвлекало от действия. Я невольно наблюдала за парочкой пернатых, которая не могла поладить между собой и дралась клювами.

У артистов были необычные парики, что тоже вызывало споры. Например, парик купца Восмибратова издали был похож на шерсть, у Счастливцева была лысина, прикрытая бутафорской шляпой какого-нибудь Дон Карлоса, а у сына Восмибратова были зелёные

волосы. А может быть, это были не волосы, а водоросли — понять было трудно. Да и зачем? Одноклассница мне говорила, что такой парик нужен, чтобы подчеркнуть «зелень», неопытность молодого человека. Видимо, она была права. В общем, очень много споров вызывал тогда мейерхольдовский «Лес», но мне было интересно отгадывать загадки и шифры, которыми был наполнен спектакль. Господина Милонова Мейерхольд сделал священником, как бы подчёркивая его сладкоречивость. А Кирилл Серебренников сделал меня госпожой Милоновой: ему этот персонаж тоже казался мягкотелым.

Когда начались репетиции, я боялась подвести Кирилла и что-нибудь сделать не так, хотя он много возился со мной и ни разу не упрекнул. Он не давил на артистов, а только подбрасывал советы, и всё получалось. Во всяком случае, со мной он был щедр на похвалу. А может быть, боялся, чтобы я не «откинулась» здесь же на сцене, услышав замечание — возраст ведь налицо… Если что-то не нравилось, то просто молчал. И тогда я начинала волноваться, тихонько советовалась со своей спутницей по спектаклю Галиной Киндиновой. В самом деле, как играть, чтобы авангардный режиссёр был доволен? Иногда выручала одна его фраза. Например, он сказал мне:

— Крутите палку!

Я попробовала — и нащупала нужную чёрточку своей героини. Милонова этой палкой жестикулировала, как могла.

Кирилл Серебренников: «В начале 2000-х годов я видел Киру Николаевну в спектакле «Учитель словесности», где она играла Коковкину. Роль небольшая, но когда актриса появлялась на сцене, у меня было ощущение, что на сцене человек из другого времени. Но не в смысле «плохо, ретро и скучно», а в том смысле, что она несла какой-то другой тон. Я подумал: «Какая потрясающая школа». И когда мне предложили выбрать кого-то для «Леса», я сказал: «Конечно, Головко».

Снял трубку, набрал номер: дескать, можно ли пригласить вас в спектакль? На том конце провода сразу же замешкались: «Ну, что ты, деточка, я уже старая» - «Кира Николаевна, всего несколько сцен». И её привезли на репетицию. Я говорил ей: «Не бойтесь, вы будете с палочкой, вы будете красивой. Одна из сцен будет, где вы в подвенечном платье, то есть невеста». Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Но в принципе, с этого момента началась невероятно профессиональная и очень осмысленная работа над ролью. Она задавала мне очень точные вопросы. Мысль о том, что она не впишется в общую картину не то, что меня не посетила (мол, взял нафталин, женщину из прошлого века), - наоборот, она играла так современно, так внятно, что у меня никаких

особенных замечаний к ней не было с первой репетиции. Она абсолютно точно поймала тон, очень легко присвоила себе текст Островского, очень легко «оборганичила», сделала это очаровательно. Каждый раз её сцена шла на аплодисментах, все были очень довольны.

На первой репетиции Кира Николаевна сказала мне, что играла Аксюшу в мхатовском «Лесе». Я обалдел: «У нас Аксюша из первой постановки!» Я воспринял это как знак судьбы. Её привозили на машине, поскольку она не очень хорошо себя чувствовала, но никогда не отказывала, если я просил её сыграть. И вот когда она играла, у всех артистов спина становилась несколько ровней, потому что с ними на сцене Кира Головко.

Когда я общаюсь с Кирой Николаевной, я думаю: «Вот оно, одно рукопожатие, которое нас отделяет от Станиславского». И вот я могу её поцеловать. Это единственная ниточка, которая сегодня соединяет нас с тем временем. И уже больше таких людей не будет.

ОЛЕГ ТАБАКОВ

К 100-летию МХАТа Анатолий Смелянский подарил мне двухтомную энциклопедию о нашем театре. Листаю и щемит сердце: никого не осталось из моего поколения. Все ушли. Только я каким-то чудом задержалась…

За то, что задержалась, спасибо родителям и Богу (у нас в роду были долгожители), а за то, что «задержалась» в труппе — спасибо Олегу Табакову. Сейчас, когда заканчивается работа над книгой, мне 93 года, но я по-прежнему в штате Художественного театра. В последние годы на сцену выходила редко — сказывается возраст… Но Табаков обеспечил мне старость, что совершенно удивительно — времена ведь трудные, и держать «балласт» невыгодно. Тем более что в число «малополезных» актрис я попала уже в 1986 году, когда после известного раскола нашей труппы Олег Ефремов весьма прозрачно намекнул мне, что работы будет мало. Я написала заявление. Ефремов, ставя подпись, спросил:

— Может, останешься на полставки?

Я ответила «нет». И доигрывала свои спектакли, получая разовый гонорар. Так продолжалось несколько лет. С каждым сезоном спектаклей становилось всё меньше, и я совсем загрустила. К тому же, пришла пора оставить занятия в Школе-студии МХАТ.
Начались страшные дни для любого артиста. Мне не нужно было ездить в театр. В моём распоряжении оставались только телевизор,

91 Главный режиссёр театра Олег Табаков и ректор Школы-студии МХАТ Анатолий Смелянский

книги и телефонная болтовня. Так прошло несколько лет. Иногда бывала во МХАТе на премьерах, иногда встречалась с коллегами в Доме актёра, иногда меня приглашали играть в спектаклях театра «Сфера». Но всё это было временно.

И всё же у меня счастливая судьба. Сначала раздался звонок от мхатовской артистки Анны Комоловой, которая сообщила, что для спектакля «Татуированная роза» готовится ввод на роль Асунты, и все участники постановки во главе с Ириной Мирошниченко и режиссёром Романом Виктюком просят, чтобы именно я сыграла эту роль. С этого спектакля началась моя новая жизнь в театре. А вскоре — в 2000 году — когда художественным руководителем стал Табаков, ему завтруппой Сергей Десницкий показал моё личное дело, и, мне рассказывали, что Табаков воскликнул:

— Как! Ефремов держал Киру Николаевну на разовых гонорарах?!

И тотчас же восстановил меня в труппе, дал хорошую зарплату.

И всё это несмотря на то, что мы с Табаковым мало знакомы. Вместе на сцене почти не играли, разве что успели поработать на одной съёмочной площадке — в картине «Война и мир», где Табаков был моим сыном Николенькой. Когда мы встретились в работе, то моему восторгу не было предела, поскольку Олег бесконечно что-то придумывал и всякий раз так непредсказуемо и в то же время логически верно, что я порой немного терялась. А в итоге, получился замечательный эпизод, где Николенька приезжает с Василием Денисовым (его играл Николай Рыбников), стоит в стороне, а я выбегаю — обнимаю и целую его. Я не очень люблю себя на экране, но эта сцена мне нравится. Кстати, однажды я сказала Тарасовой, что стараюсь не смотреть фильмы со своим участием (думала найти единомышленницу), она ответила:

— Не знаю, Кира… Я наоборот обожаю на себя смотреть.

И я поняла, насколько мы разные.

Году в 1983-м Табаков стал артистом МХАТа. К тому времени за его плечами были съёмки в нескольких десятках картин, работа на зарубежных сценах и в зарубежных театральных вузах. Бывает, когда артист приходит в сплочённый коллектив, начинаются интриги и борьба за главные роли. В случае с Табаковым, как мне кажется, дело обстояло иначе. Его путь и на этой сцене начинался успешно. Вплоть до того, что в 2000 году он стал художественным руководителем и по сей день задаёт высокую планку. Как бы объяснить, что произошло? Я помню МХАТ, в котором тушили сигарету о батарею и за кулисами пахло канализацией. От некоторых артистов часто разило алкоголем. После того, как у руля встал Табаков, очень многое изменилось. Построена новая сцена, отремонтирован театр, впереди ещё масса проектов, но главное — в театр вернулась свежая мысль, появилась новая волна в режиссуре и актёрском творчестве. На спектаклях всегда аншлаг.

Василий Григорьевич Сахновский любил повторять слова Немировича-Данченко о том, что театр должен «отзываться на течения современной жизни, иначе он станет мёртвым учреждением». Мой МХАТ за долгие годы моей службы в нем мертвым учреждением не стал. Чему я чрезвычайно рада. Этим мне и хотелось бы закончить свои воспоминания…

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДНЕВНИКИ КИРЫ ГОЛОВКО

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ 1937–1943

Когда основная часть воспоминаний была записана, обнаружились дневники Киры Головко, которые она начала вести ещё до поступления во МХАТ. В этих записях удивительным образом отразилась атмосфера эпохи, словно перо держала в руках не актриса, а историк или репортёр. Комсомольские собрания, выступления вождей, спектакли московских театров, авиационные праздники, Пушкинский юбилей 1937 года, аресты знакомых, школа, выпускной вечер и, конечно, театр. Дневники, безусловно, заслуживают отдельной публикации и ждут своего часа, но в дополнение к этой книге приводим наиболее яркие страницы.

Орфография дана в соответствии с современными нормами

Тетрадь № 1
«А БУДУ ЛИ Я КОГДА-НИБУДЬ АРТИСТКОЙ?»

12 февраля 1937 года

Уже совсем пора заниматься, но не могу не написать нескольких слов по поводу моей новой тетради. Итак, чёрненький дневничок кончил своё существование, исписан. Взялась за эту рыженькую тетрадку. Будет ли к ней тянуть в минуты жизни трудные так, как тянуло к чёрненькому дневнику? Не знаю, время покажет.

Да будет мир с тобой, рыжеватая моя тетрадка! Послужи-ка мне верою и правдой до конца года. К тому времени, может быть, и тебя

прикончим благополучно. Бумага вот только в тебе неважнецкая. Ну, чем хата богата, тем и рада! У меня ведь и почерк не писарский. Обойдусь с такой бумажонкой. Промокашка же приехала сюда из прежнего дневника. Промокашка заслуженная — вся уже в чернильных пятнах. Ничего не могу сказать, служит мне верою и правдою! Хватит комедиантничать.

Ох! Засыплюсь я завтра. Беда мне будет. А эта шестидневочка будет жаркая. Во-первых, начнут же меня педагоги когда-нибудь спрашивать. Во-вторых, пятнадцатого будет проверка подготовленности комсомольской группы к конференции, групоргу работки немало! В-третьих, семнадцатого будет пушкинский вечер — надо же и к нему ещё подготовиться. Вот сколько забот на бедную мою голову. Никодиму Александровичу [Потёмкину] (преподаватель музыки. — *В.Б.*) написать надо — надо, но это только уже после вечера. Мишке Ионову — как давно не отвечаю, стыдно просто. Даже Таня [Меркулова] (школьная подруга, у которой летом Кира бывала на даче. — *В.Б.*) меня стыдит. Ване письмо написала, но ещё не послала — никак не соберусь купить марки. Стыд просто! Сейчас же надо заниматься. Надо выучить алгебру, немецкий, историю. Вот последнюю уже вовсе не хочется учить. Анна Гайковна [Богдатьева] — учительница истории — совершенно распустила нас за последнее время.

Интересно, когда же мне надоест писать дневник? Буду ли я когда-нибудь перечитывать его? Конечно, буду. Страшно люблю копаться в старых письмах, а здесь, в этих тетрадях я запечатлеваю свои собственные переживания, мысли… Фу! Паршивая бумага….

Когда я ставлю многоточие, вот так, как здесь, это значит, что прошло некоторое время с тех пор, как я бросила писать, но не целый день. Когда проходит целый день, я просто ставлю число. Впрочем, я не всегда ставлю многоточие в таком смысле. Одним словом, надо разбираться.

Я кончила заниматься. Не так, чтобы уж очень здорово всё знаю, но всё-таки ничего, прилично. Большего не хочется, не вижу необходимости вызубривать.

Сейчас уже около двенадцати часов ночи. Сейчас начнут передавать последние известия. С девяти часов передавали концерт Барсовой. Передают её концерт уже четвёртый раз. Всякий раз она поёт одни и те же романсы французских авторов. Но голос у неё, конечно, очень хороший, и слушать приятно.

Так Маринка Македонская познакомилась с Яхонтовым. Мне рассказала Таня. Она с подругой под каким-то предлогом пошла к нему за кулисы, познакомились, он их возил с собой на машине, проводил на свои концерты. Маринка, говорит Таня, совсем без ума от него. Он, должно быть, симпатичный, судя по всему этому, но, как он читает Пушкина, мне вовсе не нравится, совсем не нравится. Вот, говорят, он Маяковского читает хорошо. Впрочем, ведь я-то слышала его только по радио… Всё это не так уже важно. Таня говорит, что зря я не написала письма Лемешеву. Может быть, она и права. Соблазн написать письмо был очень большой. Но боязнь быть униженной этим самым письмом, попасть в неудобное положение, остановила меня. Это, конечно, всё носило бы шуточный характер, но всё-таки мне было бы неприятно, если бы Лемешев мне не ответил или ответил насмешкой. Ах! Да и это, наверное, было бы ничего. Я и сама не знаю, почему не написала ему…

Всё к лучшему. Вдруг он бы ответил милым, любезным письмом, да я бы с ума стала сходить. Чем меньше увлечений пока, тем лучше. Придёт время, будут у меня знакомства артистические. А знакомства артистические несомненно интереснее всех остальных знакомств. Люди искусства — самые интересные, содержательные и вместе с тем в своём большинстве привыкшие быть весёлыми.

Когда я встречалась несколько раз взглядом с Симоновым (здесь и далее речь о Рубене Николаевиче Симонове. — *В.Б.*), я всякий раз поражалась грустной серьёзностью его глаз, вернее взгляда его глаз. Выдержка ли это, или у него безрадостный характер. Впрочем нет, один раз его глаза улыбались, но не мне, конечно, а так вообще в публику. Это было, когда я второй раз смотрела «Много шума из ничего». На меня он смотрит с каким-то любопытством. Что это так, отчего это запомнилось мне лицо этой девушки? Часто я её что-то замечаю на спектаклях. Ах, фантазёрка я! А вдруг это не фантазия, а вдруг это действительно так. Ну и очень хорошо, если так. Как, наверное, скучно будет потом читать эти мои дурацкие рассуждения. Как будет, наверное, смешно, когда время покажет (ведь смогу же я узнать случайно!), что неверны были все мои предположения. Прекрасно — посмеюсь, по крайней мере.

Скорее бы зажила моя нога, чтобы можно было носить туфли, скорее бы прошла эта шестидневка, скорее бы кончился год, скорее бы в театр! А между прочим, скорее бы познакомиться с Симоновым, если это возможно. Ведь могла же Маринка… Э, какая я всё-таки ду…

19 февраля 1937 года

<…> Уже без двадцати пяти двенадцать. Уроки как будто бы выучила. По радио передают «Лес» Островского в постановке Малого театра. Играют Садовский, Пашенная и другие артисты. Садовский играет Несчастливцева. Хорошо играет, замечательно… Интересно его посмотреть. Ведь уже старик, а как играет. Я его ещё ни разу не видела. Посмотрю обязательно. Вообще надо побольше посмотреть вещей Островского. Я их, видимо, раньше не понимала. А сколько в них красоты! Надо, надо посмотреть. Но вот игра артистов Малого театра, мне кажется, уже слегка устарела. Теперь уже не так как-то играют. Я не могу рассказать хорошенько, в чём заключается существенная разница между Малым театром и другими, но она мне несомненна. И я не буду играть так, как они. Во-первых, негде получить ту школу, которую получили они, во-вторых, другие, несколько иные теперь законы сцены, условности. Это я всё изучу в будущем. Ах! Шикарно играют. Сейчас приближается развязка. Садовский замечателен. Вот уж настоящий барин. А вот молодых артистов в Малом театре совершенно нет. Складывается впечатление, что театр обрёк себя на вымирание. Может быть, не умеют молодые артисты играть по-ихнему. Да! Костя-то, Костя. Пошла это к нему мама, послала я ему записку. Приходит мама, а оказывается — он вовсе не отравился, никакой скорой помощи не было, всё это выдумка Миши Лейбмана. Костя, говорит мамка, как увидел её, так и замер: «Наталия Васильевна! Этого ещё не доставало. Я умру». И т.д. Не хочется об этом больше ничего писать. Только что закончилась передача «Леса». Как Садовский сказал заключительный монолог! Как сказал! «О люди, люди. Вы порождение крокодила!» (протягивая немного «р» в слове крокодил). Прекрасно играет Садовский. Непременно надо пойти в Малый театр.

14 февраля 1937 года

<…> Мне теперь совершенно ясно, что так или иначе я пойду в театр. Будет театральный вуз, если захотят папка с мамкой, то пойду в него. Но ни в какой другой. Зачем мне в другой? Тогда я пойду в студию; постараюсь даже, если только это будет осуществлено, будучи в вузе, поступать в студию. Надо скорее играть. Мне необходимо учиться играть, учиться управлять собой, своим телом, волей, желаниями. Сегодня, когда я пришла на своё место, ответить по геометрии, Галя Тарасова сказала, что вот, мол, в театре мне не придётся решать уже задач.

Я же сказала и подумала, что в театре, на сцене мне придётся решать более трудные, сложные же задачи, которые, быть может, я ещё совершенно не умею решать, но которые непременно хочу научиться решать. Научусь ли? Вот для меня вопрос жизни или смерти. Вложила ли в меня природа задатки, разработка и тренировка которых даёт мне возможность силой таланта разрешать сценические уравнения?

Очень хочется, чтобы к семнадцатому числу очистился голос от хриплости. Хотелось бы поприличнее пропеть. Я хочу петь «Я помню чудное мгновенье» Глинки и Аренского «Сновиденье». Дома я всё-таки пою с некоторым выражением, но боюсь, что на сцене всё забуду, всё растеряю.

Читать буду «Анчар» и «Зимнее утро». Пожалуй, папка прав, что «Анчар» гораздо лучше читать мужчине. Нужен крепкий, мужской голос. Но я всё-таки читать буду. Очень нравится мне это стихотворение. Как-то пройдёт вечер интересно? Как сойдёт наша «Барышня-крестьянка»?

<…>

…«Слова — ветер, крупные слова — сильный ветер, крупные слова, Сказанные вами — сильный сквозной ветер, а я боюсь простудиться», — говорила Беатриче Бенедикту. Но, слава богам, Игорь Геевский не Шекспир, т.ч. вряд ли ответит мне подобной колкостью.

Ах, Шекспир, Шекспир. Какая прелесть его произведение.

Немудрено мне, что «Гамлет» продержался недолго в Театре Вахтангова. Гамлета играл Горюнов. Мне кажется, что он вовсе негоден для этой роли. Игра его мне вообще не очень нравится: он недостаточно комичен для комика, и уж вовсе не трагичен для трагика. И вдруг он у них играл Гамлета, а Симонов, мой замечательный Симонов, играл короля. Уж во всяком случае, неплохо было бы им поменяться ролями. А жаль, что они не ставят сейчас «Гамлета». Уже шесть часов, проверка времени. Кончаю.

<…>

18 февраля 1937 года

И кончился пир наш бедою! Пушкинский вечер вчера прошёл с некоторым позором для меня. Охрипла я, конечно. Вышла петь (зачем, зачем я вышла — вот главная ошибка!) — взяла три первые ноты и дальше петь не смогла. О, ужас, о позор. Кто б знал, как мне было тяжко. Я очень чутка в этом отношении. Всё моё самочувствие до вечера за несколько дней указывало на то, что на вечере должно произойти что-то катастрофическое. Но не буду описывать моих переживаний. Скажу только, что мелькнула у меня мысль, что в один прекрасный

день рухнет так моя артистическая карьера, провалюсь в каком-нибудь спектакле. Но вслед за этим подумала, что непременно пойду в театр.

<…>

«Кто может не быть актёром, тот не должен им быть». Певцов. (В эти дни Кира читала книгу Иллариона Певцова о мастерстве актёра. — *В.Б.*). Ах, могу ли я не быть актёром? Могу ли? Откуда мне это узнать? Кто мне может это сказать? Вчерашний вечер многих сбил с пути истинного. Приходила ко мне Галя Т[арасова]. Хочется и ей на сцену. Мне кажется, что из неё может выйти бытовая актриса, может быть даже хорошая.

<…>

Занималась я (старалась заниматься), а потом взялась за книгу Певцова –как много интересного и полезного в ней. Её надо читать и перечитывать, особенно, когда буду готовить роли. «Буду готовить роли». Так вы, Кирочка, ещё не раздумали стать актрисой? Вчерашний скандал вас не охладил? <…>

Не помню, когда возникла во мне мысль быть актрисой. Но помню, что ещё с самого раннего детства я разыгрывала сценки перед бабушкой, которая добросовестно просматривала мои «спектакли», мной же сочинённые, аплодировала и кричала браво. Это была моя самая любимая игра. Обыкновенно занималась я ею чаще всего, когда мама уходила играть вечером, папа тоже уходил в театр (они тогда оба подвязались на театральном поприще), а меня оставляли дома с бабушкой. Вот тогда развязывалась моя фантазия, помню прекрасно, что бабушку я вовсе не стеснялась, а она всячески мне содействовала поощрениями и разрешала «наряжаться» во всё, во что мне было угодно.

Потом начались школьные годы. Тут начался и расцвет моей «сценической деятельности». Во всех наших спектаклях я играла главные роли и срывала, помню, бешеные аплодисменты. Мама и Нина [Гаспарини] постоянно сидели дома за шитьём моих костюмов. Правда, слава Богу, меня никогда не захваливали чрезмерно. Берегли и не хвалили в глаза или просто не хвалили, не знаю. Но я, кажется, никогда не зазнавалась, и со стороны моих маленьких подруг и партнёрш по выступлениям не чувствовала никогда зависти. И хорошо было. Зато, как чувствую я эту зависть теперь. Как презираю я людей за эту зависть!

Можно завидовать, завидовать разумно, полезно для себя и не вредно для других. Завидовать не успеху другого, а завидовать его знаниям, его умению что-либо сказать, завидовать с тем, чтобы эта зависть помогала тебе с большим упорством работать над собой.

<…>

Очень хороша коротенькая заметка Певцова о театральной критике. Он пишет о том, насколько чуток, внимателен должен быть критик для того, чтобы его критика помогала росту актёра. Он пишет, что знает звук замечательных критиков — это К. С. Станиславский и Вл.И. Немирович-Данченко. Он пишет о том, какое сладостное волнение в сердцах актёров вызвало появление в рядах партера седой головы Константина Сергеевича.

Даже пишет он, насколько вредна, убийственная может быть публичная критика, часто совершенно безапелляционная. «В принципе, очень досадно, — пишет он, — что иной раз оценка целого значительного периода творческой жизни иного серьёзного работника сцены упирается в личный вкус зачастую несерьёзного и мало квалифицированного работника прессы. Критик должен быть сам творцом-художником».

Ещё далее он пишет: «Критик должен писать и отмечать только то, что хорошо. Если не нашёл ничего хорошего, — пусть молчит: тогда и будем знать, что ничего хорошего в нас нет».

«Вот если дурное или слабое является результатом сложившейся рутины, слащавости, пошлости, наглой самоуверенности и т.д., то тогда надо не только отмечать это, но объявить этому беспощадную войну…» И т.д.

По-моему, Певцов очень прав.

И если сбудется моя мечта и буду я на сцене, то первым делом нужно будет научиться, как пишет Певцов, «философски» смотреть на безапелляционную критику. Ни в коем случае не поддаваться настроению, подобному тому, которое вызвано было во мне «апелляционной» критикой В. Никашиной. У меня сейчас же портится настроение. Я ничего не могу с собой поделать. Я ещё в толпе, а надо будет быть выше неё. Да, долго и упорно нужно будет упражнять свою волю.

А Певцов, видимо, был замечательный человек. Я страшно люблю смотреть на его портрет. Он некрасив, но умные, умные глаза и очень одухотворённое, я бы сказала, лицо. Страшно нравится мне, как он отзывается о моём полубоге — К. С. Станиславском. Он пишет, что это гениальный человек.

«На каждой новой репетиции он был совсем иной, — настолько это гениальный человек. Когда он впадает в творческое состояние с таким проникновением во все психологические тайны всех людей, — (*нрзб.*) ею нельзя не увлечься. Нужно прибавить к этому неисчерпаемое, колоссальное богатство познания, совершенно необходимое в этом человеке».

Какой счастливый Певцов! Он видел Станиславского, он учился у него, он говорил с ним, он играл с ним. А я, может быть, уже не увижу Константина Сергеевича. Господи, скорее, скорее бы на сцену. А я ещё и школу не кончила. Ничего, Кирка, до конца года осталось не так уж долго, а там летом я смогу себя уже посвятить подготовке для поступления в студию. Буду читать, много читать, буду заниматься своей дикцией, дыханием. Буду всем петь, всем читать стихи, чтобы упражнять себя. Скорее бы лето! Хотелось бы мне страшно иметь собственную книгу «Моя жизнь в искусстве» Станиславского. Её тоже надо читать и перечитывать. Пора спать, а спать ещё не хочется. Начинается ещё одна шестидневка. Ещё шесть дней в школе. Пройдёт шестидневка, и на шесть дней будет ближе к концу года!

19 февраля 1937 года

Утро. До школы. Умер Орджоникидзе.

Вечер. Около двенадцати часов ночи. Да, вчера в 17 ч. 30 м. вечера от разрыва сердца умер Серго Орджоникидзе. Тяжёлое чувство. Ушёл вождь из жизни масс, ушёл навсегда. Был человек, и нет его, совершенно нет и никогда не будет. Непостижимо.

Проводили мы митинг. Противная Анна Гайковна — кривляка, ломака, не знающая меры, — ревела на обоих уроках. Никогда я не поверю её слезам. Фу, нехорошо как-то, ну зачем она? Володя тоже чуть не заплакал на митинге.

А я не переношу этих надуманных высказываний. Например, говорил Игорь Разорёнов (одноклассник. — *В.Б.*): «Трудно, товарищи, говорить». И т.д. А эту фразу повторил раза четыре. Фу! После него ещё Наташа [Арефьева] раза два повторила. Зачем они врут, что им трудно говорить? Если действительно тебе трудно говорить, то ты совсем не будешь говорить. Если же скажешь, значит не трудно говорить, но если говорить, то говорить от души, а не надуманно, обыденно. Просто обидно. Я бы ни за что не стала говорить, если бы не почувствовала в себе нужного подъёма.

Костя сказал что-то более проникающее в душу, но всё-таки недостаточное. Эх! Вот Лёша Кукамов тут же взял и написал стихотворение. Передал его мне. Я прочла и решили, что стихотворение написано достаточно сильно, чтобы прочесть его вслух. И прочла. А Лёшка молодец. И похоронный марш Бетховена играл хорошо (очень приятные у него «тугие»), только рояль уже больно паршивый.

<…>

Сегодня целой оравой попытались пройти в Колонный зал, но не тут-то было. Провоевав с милиционерами, часа два с половиною, не солоно нахлебавшись поворотили домой. Завтра пойдём опять. <…>

20 февраля 1937 года

<…> Сразу после школы пошли смотреть Орджоникидзе. Страшно замерзла. Была такая давка, так сжали грудь, что я несколько раз думала, что вот-вот что-нибудь случится. В такой сумасшедшей толпе полностью ощущаешь свою беспомощность и ничтожность полную. В колонном зале страшно торжественная и тяжёлая обстановка. Кто-то из женщин при нас (и часто слышно по радио) истерически кричит. О! Одним словом, тяжело. Видела там Микояна, Постышева и Книппер-Чехову.

Домой попала только к 7-ми часам и прямо на конференцию. На конференции не выступала, но будет ещё одна, и выступить всё-таки придётся. Сейчас иду спать. Надо посмотреть у Симонова «Дубровского». <…>

1 марта 1937 года

<…> Завтра иду в театр. <…> А вдруг увижу там Симонова? То, что он мне нравится — наверное, ложное чувство, ведь я его совсем не знаю. Надо познакомиться. Не написать ли ему, действительно?

Зовут его Рубен Николаевич. Во!

…Мне вдруг пришла в голову очень ясная мысль: чем я, собственно говоря, могу объяснить своё влечение к Симонову? Только тем, конечно, что очень нравится его игра, что он меня ею увлёк, что он сильный актёр и т.д. Но чем он завоевал во мне такие чувства восхищения им? Своим исполнением роли Бенедикта?

Совершенно верно — он чудесный Бенедикт. Но ведь одного Бенедикта мало? Да, мало. Я видела его ещё в «Аристократах». И там он очень хорош. Замечателен. Но и этого мало. Я видела его ещё в «Принцессе Турандот»… Вот тут он вовсе не играл, так, отбывал службу. У! Варвар! Неужели смеет он осквернять сцену? Берегись, Рубен Николаевич, посмотрю тебя ещё в чём-нибудь, и если будет то же самое, что в роле Панталоне, то мигом слетит с меня эта дымка очарования и останется для меня почти обыкновенный, достаточно уродливый еврей. Но пока, пока он ещё совершенство. Он создаёт свой театр, создаёт неплохо, он прекрасно играет Бенедикта и вообще прелесть!

<…>

16 марта 1937 года

«А сердце манит, да щемит у меня,
Как будто век с ней не видался…»

13-го слушала Лемешева в концерте. Была с Юлей и с Таней. Сидели в амфитеатре. Было душно, и давил потолок.

На этот раз Лемешев пел без подъёма, хуже. Понятно: не его концерт. Но всё-таки у этого человека есть душа — душа русская, которую он вкладывает в своё пение. Так не поёт ни красавец-исполин Рейзен, ни сладенький Козловский, никто из нынешних певцов.

Выходит маленькая, почти невзрачная фигурка, вынимает записную книжку, незаметно кивает головой пианисту, приготовляется петь и, наконец, начинают литься звуки.

Голос его не так силён, как мягок, нежен, обволакивает и чарует тебя… Вредно слушать Лемешева! Ужасно страшно хочется уметь петь, уметь рисовать картины голосом, уметь творить при помощи голосовых связок. И вот думаешь: будет у тебя препаршивный голос, все будут уши затыкать, а ты сама будешь уверена, что голос твой чудесен. <…>

19 марта 1937 года

Ужасно хочется, чтобы скорее было 25 марта — потому что в сей достопримечательный день мы пойдём с Танькой смотреть «Аристократы». Буду смотреть их в третий раз, но дело не в «Аристократах», а в Симонове. Но вот будет ужасно обидно, если Рубен Николаевич не соизволит играть. Я соскучилась по вас, дорогой месьё Симонов, и я требую, чтобы вы играли 25-го. Иначе будет безобразие: мы важно заседаем с Таней в первом ряду партера, а Симонов не играет! Нет, нет, Рубен Николаевич! Я хочу, чтобы вы играли. Ужасно? Ну, вот и хорошо. Прекрасно! Договорились. Однако я серьезно соскучилась по Симонову. Ужасно хочется увидеть его талантливое, некрасивое, еврейское лицо. Но поступать всё-таки буду не к нему, а к Хмелёву. Видела сегодня вывеску на Тверской: Театр под руков. Хмелёва. Вот и он получил помещение. Скоро начнёт соревноваться с театром Симонова. У меня такое предчувствие, что я должна непременно сделать наперекор своему желанию: ведь хочется-то мне к Симонову, а заставлю я себя пойти к Хмелёву! Вчера весь вечер, как зачарованная, слушала концерт Лемешева, передаваемый по радио. О! вчера С. Я. был в голосе (как жаль, что я не была там в зале!). Успех, конечно, колоссальный. Мне нравится, как он поёт, нравится! У человека есть, несомненно, есть душа, и её он вкладывает в свой чудесный голос. Невольно думаешь словами из картины «Цирк»: «Если бы был голос, как бы я спел!» Обладать хорошим голосом — эта мечта не оставляет меня, несмотря на то, что после заболевания гриппом и моей скандальной хрипоты, голос мой никак не может прийти в нормальное состояние, а тем более нет прогресса…

Когда вчера кончили передавать концерт (я слушала его в учебной части — дома галдёж и ничего не услышишь), я осталась совсем одна и распелась. Совсем забыла обо всём, что кто-нибудь может случайно услышать, всё, всё, и пела. Голос ещё не окреп! Но голос всё-таки есть, есть. Учиться петь, учиться!

…Но не тщеславное ли желание толкнёт меня идти на сцену? Проанализируй-ка себя, Кирка!.. Нет, нет, снова совершенно забываю в своих мечтаниях, да и слишком я не уверена в себе, слишком мало верю.

<…>

4 мая 1937 года

<…> Мне нравится Пенкин. Да, Петя Пенкин (у меня всегда сумасшедшие увлечения!), секретарь нашего райкома комсомола. Очень симпатичный. Понравился он мне ещё тогда, когда я была на активе. Критиковали его и ругали почти все ораторы. Мне же почему-то очень понравилось, как он себя держал и его выступление: умное, дельное, веское. Юльке я это рассказала, сказала, что секретарь райкома мне понравился, что такие люди, как он, никогда не захотят быть со мной более или менее близко знакомы. Одним словом, я нашла в нём некоторое сходство с Берёзкиным (последний совсем опаршивел!). Всё это было в первую очередь рассказано, конечно, Тане. Как назло, через некоторое время я увидела Пенкина на вечере Трёхгорки 30-го мая. Мы познакомились. Т.е. что значит познакомились? Он даже имени моего не знает, а я его имя узнала из разговора, случайно. Но мы просто болтали. Он очень славный, простой, весёлый. Нечего говорить, что мне страшно хочется его увидеть. Но вряд ли. Где уж теперь! Он очень хороший работник. Работе отдаётся весь. Дни и ночи проводит в райкоме. Бедный! Интересно, женат ли он? Наверное, да. Ведь ему уже 30 лет. Очень симпатичный. Я, конечно, сумасшедшая. Но я скажу одно: я очень рада, что мне нравятся такие люди, как он. А они нравятся мне во сто раз больше, чем все эти гнилые, безвольные, слабенькие интеллигентики.

Теперь, по всей вероятности, опять долго не буду писать. Некогда. Да. Хмелёв-то в «Анне Карениной». А я ещё не видела! А ордена-то.

Рада за них за всех! Особенно за Константина Сергеевича и за Николая Павловича.

6 июня 1937 года

<…> Был ещё один актив. Я была. Очень интересно. Вообще прежде всего хочу сказать, что комсомольская работа меня очень увлекает. Буду делать отчёт, за работу группы будут ругать, вот и хорошо… Пенкину досталось на активе… Он страшно похудел. Жалко мне его ужасно (ещё бы!). Массу времени отдаёт работе.

Узнала я о нём, не справлялась, у как-то случайно, следующее: он женат, ему 29 лет, у него семилетняя дочка; жена работает секретарём одного из заместителей наркома обороны (это мне не нравится), она член партии (это мирово!).

Сам Пенкин в докладе говорит, и говорил об этом Ильинский (секретарь Московского комсомола. — *В.Б.*), что Пётр Ильич (хорошее имя) совершенно оторвался от семьи, не видит ни жены, ни дочки, даже выходные дни проводит с ним. Бедные! Да! Вот это человек. Воля, ум, семья и какая-то невольно внушаемая симпатия. Таким людям никогда не понравлюсь, не буду нужна, а мне они нравятся. Вот беда. Но я просто сумасшедшая. Влюбиться в секретаря райкома — с ума сойти можно. На что это похоже?! А он и не чувствует, какую бурю поднял в моей душе! Сидит в президиуме и смотрит в мою сторону и улыбается добродушно… Ах! Чёрт побери. Не везёт мне в этом отношении. Что может и влюбиться в Пенкина, выйдет история ещё хуже и тяжелее, чем с Берёзкиным, но сердцу не прикажешь, однако. Пусть бы он приехал к нам на выпускной вечер. Ах! Пётр Ильич, Петенька.

13 августа 1937 года

<…> Мои записи июня месяца обрываются на мыслях о Пенкине… Сколько мыслей в дальнейшем и сколько фактов остались незаписанными!.. Да! И что осталось теперь.

С Петром Ильичом я неожиданно познакомилась довольно близко. Помогли случайности. Был, кажется, ещё один актив. Потом поехали с Юлькой приглашать его на вечер выпускной. Тут уже я чувствовала, что лицо моё ему ужасно знакомо. Позвал он нас тогда себе в кабинет, помню. Потом, несмотря на то, что он ночами не спал, он все-таки приехал к нам на вечер. Я два раза тогда танцевала с ним. Затем мне нужно было ехать в райком. А оттуда меня сразу же направили в МК для подготовки

к выступлению на общегородском московском вечере выпускников. Вечер этот был 7 июля, и день этот, по всей вероятности, запомнился мне на всю жизнь, но сейчас хочется писать о П.И.П. — слишком тяжелым грузом лежит это на сердце — а о вечере позже. В течение подготовки к вечеру мне несколько раз приходилось видеться и говорить с Пенкиным. Мы здоровались уже за руку. Кажется, числа 29 июня был Краснопресненский вечер школьников в нашем парке. Я выступала с речью — как бы репетируя генерально перед общемосковским вечером, выступал и Пенкин (он не хотел, а Лернер — председательствующий — взял и объявил, вышло довольно комично), но Петя (да простят меня за то, что я его так называю!) не растерялся и сказал довольно прилично. Сидели мы вместе в президиуме. Затем поехали вместе на автомобиле в Колонный зал, чтобы привезти Отто Юльевича Шмидта. Но не тут-то было: Отто Юльевич делал на вечере в Колонном зале сообщение, к нам, конечно, не поехал. На обратном пути Пётр Ильич угощал апельсинами, шоколадом, конфетами, которые в неимоверном количестве извлекал из своих многочисленных карманов… Хорошо было… Приехав, вместе слушали эстрадный концерт в парке… Последний раз я видела его мельком в саду «Эрмитаж», 1 числа, после своего выступления. Он гулял с каким-то мужчиной по аллее. Раз прошёл и не заметил меня. Потом заметил, остановился, я подошла. Он протянул мне руку, крепко пожал мою и начал говорить: «Ну, ты сегодня молодец….», — я не дала ему договорить и всунула ему в руку маленькую, алую, свеженькую розочку, которую мне за несколько минут до этого подарил один дядя с Трёхгорки — некто Шультин — страшно я сердилась на него за приставания. Пенкин сразу смягчился, замолчал, ни с того ни с сего спросил, ему ли эта розочка («это мне?»), как-то наспех ещё раз пожал мне руку и быстро отошёл. Это была наша последняя встреча и вообще, видимо, я видела его в последний раз. А кто бы мог подумать? Да и сейчас я по-настоящему ещё не верю в случившееся, но могу себе представить вероятность произошедшего.

Я прочитала в газетах о том, что секретарь Московского комсомола Ильинский и ответственный редактор «Комсомольской правды» Бубекин, с которыми я познакомилась на вечере 7 июля, оказались врагами народа. Читала я и раньше о разоблачении врагов народа, испытывала к ним ненависть, а тут растерялась. Вот они враги народа: 7-го числа сидела я с ними вместе в президиуме, мило разговаривала, 5-го Ильинский застрелился, Бубекин арестован. Надо быть больше, чем артистом. Какие прекрасные выступления были Ильинского, как чудесно, остроумно говорил Бубекин,

какой глубокий ум чувствовался в нём. И вот. Как же это так. Вот мерзость! Меня просто в жар бросило от этих известий: почему-то сейчас же вспомнила Пенкина, вспомнила его хорошие отношения с Ильинским, и недаром замерло у меня сердце.

Недавно была в райкоме: надо получать мандаты на районную перевыборную конференцию. Что же? Какая-то простовато-нахальная девушка сообщает с весёлым лицом: «Давно же вы, видно, не были в райкоме — Пенкин давно уже разоблачён. Тупик тоже, Журавлёва тоже». В райкоме опустение и запустение.

Так значит Петя Пенкин, человек с хорошими, добрыми и улыбающимися глазами, чужой мне человек, мало того — враг народа. Человек, который, как казалось (о! всем казалось), весь умел отдаваться работе, все силы отдавал ей, похудел он страшно (а может быть, угнетало предчувствие близкой развязки –не знаю), этот человек всё время лгал. Всем лгал, мне лгал. Ехал в автомобиле из Колонного зала и восхищался речью Отто Юльевича, которую слушал в течение 20-ти минут. Он говорил: «Замечательно говорит. В каждом слове так и звучит настоящий, испытанный большевик». Рассказывал, как хорошо Шмидт говорил о Сталине…

Значит, Пенкин кривлялся и тогда лгал мне. Но зачем? Какой ему был смысл? Никакого. Это ясно. Мог свободно ничего не говорить. Но ведь он говорил, говорил с чувством. Не смогу понять, не смогу поверить! Скорее была бы, что ли, конференция, узнаю факты, тогда, возможно, осознаю случившееся. А так — не могу, сердце не сможет сразу понять такой перемены. Остаётся написать: «Я верила в Вас, как Бога, а Вы обманули меня!» («Овод»). Ах! Пенкин, Пенкин! Как же это так? А? Больно как!

Ну вот! А я уже студентка. Получила известие, что зачислена на 1-й курс Моск. госуд. института истории, философии и литературы. Подала я на литературное отделение. Нас, отличников, подало 200 человек, а мест дали всего 100.

Был отбор. Вызывали к декану. Проторчала там целых два дня. Но меня приняли. В этом году в театральной студии нет приёма, к тому же, я решила получить высшее образование и уроки пения буду совмещать с институтом. За этот год «попробую и проверю» годность и качество своего голосишки. Скоро должен приехать в Москву Никодим Александрович. Страшно хочется его увидеть!

День 7-го июля знаменателен для меня. Мне теперь как-то верится, что из огромного числа выпускников для выступления выбрали меня.

Не верилось мне до самой последней минуты, даже тогда, когда на моём пригласительном билете стояла уже печатка: «Трибуна». Речь свою я написала, конечно, сама, написала от души. В МК несколько поправили, посоветовали, и вот я выступила. Выступала от имени собравшихся шести тысяч выпускников. Волновалась ужасно. Своё выступление я подробно описала в письме к Никодиму Александровичу, черновик остался, и если когда-нибудь захочется вспомнить подробности, то перечитаю там. Здесь же замечу, что самое яркое, самое сладостное воспоминание от вечера для меня то, как меня слушали. Какое замечательное ощущение, что тебя с затаённым дыханием слушает толпа, когда ты, выражаясь несколько смело, «владеешь толпой, зрителями». До тебя выступал оратор. Говорил длинно, тягуче и довольно скучно. Несмотря на то, что он очень известный человек, его слушали плохо, разговаривали, слышался гул. Но вот начинаешь говорить ты, и вдруг ясно чувствуешь, что толпа сжимается в один кулак, на тебя смотрят в один огромный глаз, тебя слушает одно огромное ухо. Ты хочешь, чтобы слова, сказанные тобой, вызвали аплодисменты, и публика аплодирует, открываешь рот, и всё смолкает…

Нет, нет, я непременно пойду на сцену. Непременно! Что-нибудь, да выйдет из меня…

<…>

С 1-го числа, значит, я уже буду настоящей студенткой. Не оскандалиться бы только, не подорвать бы своё звание отличницы! Как-то интересно пойдут мои занятия? Заинтересует ли меня? Эх! Наверное, заинтересует. Для театра всё готова сделать. Художественный театр сейчас в Париже.

А Константин-то Сергеевич не поехал. А моё письмо к нему?! Боже мой, как обидно и стыдно! Ужасно! Вот дура я! У меня теперь есть его книга «Моя жизнь в искусстве» — Таня мне купила. Я страшно ей обрадовалась. Теперь для полного убранства моей комнатки не будет только хватать портрета Константина Сергеевича. Надо его обязательно приобрести. Когда же я напишу Игорю? Он, чудак, ничего не написал о том, когда приедет. Не знаю уже, и писать ли ему. Вдруг моё письмо его не застанет? Напишу несколько слов. Сейчас написать, что ли?

А Пенкин-то?!

Увлекаюсь Чеховым. Вот когда только я начала его понимать и чувствовать. Страшно люблю его юмор, но и того более его замечательную лирику. Как прекрасны «Цветы запоздалые», «Цвибуш и Илька», «Драма

на охоте». У меня висит его портрет. Прочла его переписку с Книппер-Чеховой. Очень понравилось, но как-то обидно делается за Чехова — зачем всё-таки Ольга Леонардовна опубликовала письма! Как ей не стыдно!

Не понравилась мне книга Немировича-Данченко «Из прошлого». Не понравилась. Станиславский лучше, и пишет он куда лучше. Вот.

Вдруг понравился мне опереточный артист Урбан. Увидела его в действительности, а он оказался крайне интересным. Скорее бы заживала у Таньки нога — пойдём в оперетку развеять тоску души. 26-го конференция. А душе есть о чём тосковать. Вот ведь неожиданное несчастье. А я-то мечтала увидеть его на конференции! А я-то так верила ему! Дура!

13 августа 1937 года

<…> Скучаю я ужасно без писем. Нет и нет. Уж не пропадают ли они? Завтра, по всей вероятности, поедет в Москву Таня, а, может быть, и я не выдержу. Никодим Александрович не пишет — это очень странно, наводит на печальные размышления: когда же он приедет? (К этому моменту Н. А. Потёмкин был арестован. — *В.Б.*). А ведь скоро уже будет конференция, и у меня тогда будет мало свободного времени. Надо ещё за мандатом в райком ехать, да и номер комсомольского билета я не написала в анкете. А как не хочется, как тяжело туда заходить! Даже трудно себе теперь представить то, сравнительно недалёкое время, когда я входила туда, когда там меня встречали славные, хорошие глаза, встречали толковые, спокойные разговоры.

Если человек мне понравился с первого взгляда, понравился очень, то я редко потом изменяю своё мнение. Нет, конечно, правил без исключений. И вообще, пожалуй, глупо и неверно писать подобную ересь. Но Пенкин понравился мне внезапно, сразу. Он ещё не имел обо мне никакого представления, не обращал никакого внимания, а я уже следила и запоминала каждый его жест, каждую интонацию его довольно неприятного голоса… А он этим самым голосом всё время лгал! Но не могу я ещё пока этому поверить! Уверит ли меня конференция? Там должна узнать всё подробно. Кто же будет делать доклад? Ведь должен был делать он… А он сейчас в тюрьме. Жена у него должна была родить летом (такие подробности случайно узнала от его шофёра — везло же мне!). Не она ли его и поддела? Ведь была же у Тухачевского жена шпионом.

<…>

19 августа 1937 года

Я уже в Москве третий день. Были с Танькой в оперетте. Аникеев — это просто прелесть! Чудесный комик. Замечательно смеётся. Я просто влюблена в него! Наступила, видно, «аникеевская» пора. У меня сложилось почему-то впечатление, что в жизни он вовсе не такой весёлый, как на сцене. Ну, это-то факт, но мне кажется, что он в жизни, пожалуй, более грустный, чем весёлый. Ах! Сама себе удивляюсь: какая у меня «жалостливая» душа — чуть чуточку нравится мне человек, вынь да положь жалеть его. И Кольку-то я жалела, и Серёжу жалела, и Мишку жалела, и Коську жалела, и Пенкина жалела, а теперь вот Аникеева собираюсь жалеть. Но дудки! Номер не пройдёт: влюбленья разные, жалость разная бывает! А Аникеев прекрасный опереточный артист. Честное слово!

Мне никто по-прежнему не пишет. <…> Да! Мучает меня немножечко ещё одно обстоятельство: были мы вчера на Тушинском аэродроме с Юлькой, на авиационном празднике. Эстер должна была достать нам два билета, даже получила их, но потом перепутала, отдала их по ошибке кому-то другому, а нам уже 18-го достала один билет хороший в 1 сектор 1 участок, а другой билет 10 сектор 2-ой участок. Самое главное, что очень не хотелось там разъединяться: народу такая уйма, что вряд ли смогли бы потом вновь объединиться. Доехали мы туда благополучно. Подошли к первому сектору. Нас, конечно, не пропустили. Стояли мы в печальном раздумье, как вдруг перед нами очутился загорелый, высокий, довольно стройный и какой-то внушающий доверие, несмотря на простоватость, парень, очень похожий на Кольку Берёзкина. Потом выяснилась ещё одна замечательная истина: оказывается, зовут его Николаем, что ещё замечательнее, фамилия его Иванов. Он сказал, что уже два часа ждёт товарища, тот, видимо, не придёт, и он может уступить нам один билет в 1-й же сектор. Мы очень обрадовались, конфузливо предложили ему купить билет, он от денег отказался, сказав, что билеты выдавались ему по профсоюзному билету бесплатно. Мы его угостили мороженым, он нас грушами и шоколадными конфетами. Завязалось знакомство. Вместе шли обратно. Он проводил нас. Шли под ручку. Недалеко от аэродрома есть тоннель, через который надо проходить. Там скопилось много народа, мы могли легко потерять друг друга; я взяла под руку Юльку, а Николай попросил разрешения взять меня. Я разрешила. Правильно ли я сделала? Не знаю. Иначе на смогла бы. Так и шли всю дорогу.

Дойдя до школы, Юлька с нами распрощалась и побежала домой. Ну, а мы… Николай спросил, сможет ли увидеть меня ещё раз. Я ответила сначала уклончиво, а потом согласилась. Правильно ли я сделала? Не знаю — будущее покажет. Иначе не могла: всю обратную дорогу я ужасно хотела в «оптику», испытывала страшные мучения и готова была, кажется, согласиться на что угодно, лишь бы добраться поскорее до дому.

Но, говоря серьёзно и откровенно, я так или иначе дала бы своё [зачёркнуто: согласие]: я, действительно, не смогла бы отказать. Я понимаю, что это не Яковлев — тому бы отказала. Предложение было сделано в очень вежливой форме. Подкупила меня фраза: «Если не хотите, то скажите откровенно — так ведь лучше». Тут бы, кажется, и отказать, а я наоборот после этого и сказала своё «ладно». На такие, может быть, опрометчивые поступки, должно быть, способна только молодость. Не знаю, чем кончится эта история. Завтра пойду. Дома я рассказала о том, что познакомилась, но о том, что собираюсь пойти на свидание, ещё не говорила. Но не сказать, наверное, не смогу: всегда говорю рано или поздно. Знаю я об этом Николае сравнительно маловато. Всё, конечно, с его слов: он довольно откровенен. Мне кажется, что ему можно верить. Но ведь мне даже не казалось, что Пенкину можно верить — я просто верила. Правда, в Пенкине я души не чаяла, а тут я ещё совсем холодна, да и думаю, что больше, чем на хорошее отношение, не способна.

Не хотела бы, чтобы знакомство продолжалось дольше завтрашнего дня. Во всяком случае, скажу ему, что у меня начнётся комсомольская конференция. Николай с 28-го года комсомолец, а сейчас кандидат партии. Ему 23 года. Он имеет какое-то отношение к авиационному делу, т.к. состоит в авиационном клубе и здорово разбирается в аэропланах. Живёт он на Таганке. Очень любит музыку. Довольно сносно воспроизводит мотивы из оперетты, но оперные ему не даются — врёт ужасно. Знает много наизусть из «Евгения Онегина». Боюсь, что меня больше всего подкупает то, что он смахивает на Берёзкина. У него такие же волосы. Глаза тоже голубые, но у Кольки лучше. Хорошая фигура, лучше, чем у Кольки. Нос тоже лучше. С боков есть вставные зубы, блестящие, что тоже напоминает Кольку. У него, кажется, спокойный, уравновешенный характер. Не курит. Не увлекается футболом. Кольку не знает, не слышал о нём (а жаль!). Говорит, что первый раз познакомился со своей фамилией.

<…>

Сегодня были с Таней и с Юлькой на Пушкинской выставке. Шикарно обставлено. Много интересных экспонатов. Вечером транслировали по радио «Роз-Мари». Слушала вместе с Юлькой сцену вранья. Аникеев смешон даже по радио. Бедный Аникеев!

<…>

Таки взяла сегодня билеты на 24-ое на «Цыганскую любовь». «Фиалка Монмартра» до осени не пойдёт. Хоть бы Аникеев. А Урбана хочется? Конечно, хочется. Пойдём пораньше, чтобы непременно посмотреть артистов, когда они будут приходить. Вот дураки! Это тоже молодость.

Занимает меня ещё один вопрос: а буду ли я когда-нибудь артисткой? Буду ли? Да, непременно буду!

Никодим не пишет, не едет. Почему не получает моих писем. Может быть и Юрка, и Никодим тоже не получили? Кому же это понадобились мои письма? Нет, этого не может быть. Глупость! Но почему же. <…>

Я пишу вечной ручкой (начало дневника писалось чернилами, перьевой ручкой. — *В.Б.*). Она папкина, но я её у него стащила, с его милостивого согласия. Собираюсь ею записывать лекции в институте. Хотя бы не сломать её до института. А писать ею удобно. <…>

20 августа 1937 года

<…> Надо написать Никодиму Александровичу ещё одно письмо. Ничего понять не могу: почему он не пишет и не едет?

<…> Сейчас напишу несколько слов Никодиму Александровичу, а там лягу и почитаю ещё немного Чехова.

21 августа 1937 года

<…> Ясно чувствую, что манера моих записок очень часто изменяется под влиянием прочитанной книги; несколько дней тому назад я писала под свежими впечатлениями книги «Как мы спасали челюскинцев», и фразы, записываемые мною, были несколько грубы и как бы современны, немного раньше записи должны носить «чеховский» отпечаток, сегодня я пишу под впечатлением перечитанного только что мною «Героя нашего времени».

Бессмертное произведение. Сколько глубокого понимания натуры человеческой в нём, сколько типичных и именно бессмертных, повторяющихся и часто встречающихся черт характеров действующих лиц находишь в нём! Мне нравится Печорин. Но я прекрасно ощущаю ненависть Княжны к нему.

Между прочим, мне кто-то говорил (Юлька, кажется), что я ей во многом напоминаю собой Печорина. Я, кажется, тоже могу найти некоторое

сходство. Именно только некоторое, крайне отдалённое, иначе мне было бы стыдно написать ту фразу, где я сказала, что Печорин мне нравится. впрочем, к чему эта деланная вежливость: разве я сама себе не нравлюсь? (замечаю, что начинаю быть с собой так же откровенной, как и Печорин в своём дневнике — ах, Лермонтов, какое магическое действие. Итак, я невольно подражаю Печорину, точнее Лермонтову — боже, какое магическое и пошленькое подражание, но что же поделать, коли на большее не способна — от себя же не уйдёшь, не правда ли?). Однако надо добавить, что чаще бывают минуты, когда я презираю себя, ненавижу и сержусь на себя, реже, когда нравлюсь себе, а самое обыкновенное и, следовательно, наиболее наполняющее весь промежуток времени между минутами «чаще» и «реже», — это те минуты, когда я вовсе не задумываюсь над тем, как склонна я относиться к собственной персоне. Считаю этот факт достаточно положительным для меня: задумывайся я чаще, придётся рассердиться на себя так, что вряд ли сумею потом понравиться собственной персоне… Однако я не на шутку увлеклась философскими (достаточно глупыми!) рассуждениями о моей психике и совсем уже забыла основную мысль, мелькнувшую в моих записях: моё сходство с Печориным… Мне кажется, что часто мучения моих поклонников доставляют мне такую же радость, как доставляли Печорину вздохи Мэри и процесс её влюбления в него. Я способна жалить так же, как Печорин, только с меньшей силой, по всей вероятности, ввиду недостатка духовных и физических качеств, которые в противоположность были у Печорина. Слово «жалить» я взяла из Чехова. Взяла я его из «Драмы на охоте» и именно потому, что герой чеховской «Драмы на охоте» напоминает мне Печорина. А слово «жалить» так замечательно подобрал Чехов!

Как увлекает меня иногда время, когда я втягиваю свою жертву в свои сети! Какое волнение в крови, какое сладостно-захватывающее чувство обволакивает душу! Мне кажется, что я страстно люблю свою будущую «жертву», что я имею все полные права любви. Увы! Как только «жертва» заболевает ответной страстью ко мне, как только почувствую я нежность и покорность во взоре, как я начинаю быстро приходить в себя и ощущать в себе… увы, только некоторое отвращение к этим масляным глазкам, нежно смотрящим на меня, как ясно выплывают передо мной жертвы: большие руки, слюни, появляющиеся у губ при разговоре, длинная голова, узенькие брюки, мальчишество в манерах и т.д. Я начинаю пугаться будущего и стараюсь разрешить

ситуацию. В этом моё отличие от Печорина. Я не могу говорить: «Я не люблю тебя!» Не могу. Иногда мне кажется это подлостью с моей стороны. Почему не сказать прямо? Почему не сказать сразу правду? Я стараюсь обыкновенно утешить себя тем, что «он» должен сам понять, что я не люблю его. Я прекрасно знаю, что это только отговорка: если только «он» любит меня, то уже никогда не позволит себе уверить себя, что я к нему равнодушна, без решительного объяснения со мной: иначе в нём всё время будет гореть луч надежды: а может быть, он ошибся? Может быть, ему только показалось? Возможно, что я только сердита и скоро сменю гнев на милость? Я пока сталкивалась только с такими. Думаю, что есть и другие. Эти «другие», наверное, не позволят над собой издеваться и резко порвут со мной. Вот когда я влюблюсь-то, наверное! Знали бы вы, мои бездушные «жертвы» — Миши, Игори, Кости, Вити, как нужно со мной обращаться, тогда… не знаю, что было бы тогда.

<…>

Сегодня Юля дала мне прочесть в «Правде» (дома мы выписываем только «Известия») статью о том, как занимается Станиславский со своими питомцами-студийцами. Студия К.С. Станиславского!

Как обидно мне стало, что я, вместо страстно желаемой мной студии, иду в какой-то институт. Приведёт ли меня этот институт ближе к театру? Неизвестно. Я не хочу в институт. Я хочу в студию. Хочу в театр. Пока молода, пока есть силы. С каким удовольствием бросила бы сейчас всё и постаралась бы поступить в студию. Я хочу быть актрисой. И я буду ей непременно. Но нужно ли идти в институт? Нужно ли? Кто сможет мне ответить на этот вопрос? Только время. Но это жестокий ответчик. Мог бы ответить ещё один человек, человек этот — Константин Сергеевич. Но он не захотел мне отвечать и, наверное, правильно сделал.

<…>

23 августа 1937 года

Сегодня на общем собрании окончательно исключили Мурата из комсомола. Мне жаль его. Так захотелось приласкать его чем-нибудь… А сама я ворона. Совершила акт политической беспечности. Оскандалилась на всё собрание: меня выбрали секретарём, Володю — председателем. В перерыве я забыла про протоколы и пошла гулять с Юлькой. Володя тоже не вспомнил. А Басс забрал их потихоньку, а потом заявил при всём собрании, что вот, мол, говорили о бдительности,

а тут такая беспечность. Правильно, конечно. У меня сразу сердце упало. Настроение ясно испорчено: стыдно. Поделом!

А Мурата жалко. Ужас, как жалко. Если бы все знали, как жалко, наверное обязательно бы меня исключили, по меньшей мере из комсомола. А если бы знали, как жаль мне Пенкина, моего милого, голубоглазого Петра Ильича, то не знаю, что со мной сделали бы! А как мне жаль его. Сердце сжимается, как вспомнишь его. Нет! Я ещё не настоящая комсомолка. Я не знаю ещё, за что я должна ненавидеть Пенкина, и не могу его ненавидеть. Мурату приходится переживать жуткие минуты, а Пенкину — сколько ему пришлось пережить минут, ещё более жутких. И за что? Что он сделал? Чего он хотел? Для меня это загадка. Тяжёлая загадка. Разрешилась бы она на конференции. Пенкин — враг народа. А как это расшифровать?

Завтра мы должны идти в оперетту. А у меня на лбу громадный прыщ. Весь лоб болит. Поставлю пластырь, но не знаю, что из этого выйдет. Придётся надевать шляпу. Тогда надену и пальто.

<…>

12 октября 1937 года

Скорей, скорей бы решилась окончательно моя судьба! Так больше невозможно: я ничего не делаю, ничем не занимаюсь, совсем как-то не ощущаю жизни…

В конце сентября я сдавала испытания во вспомогательный состав МХАТа. Дни эти промелькнули, как во сне.

Выяснила я одно: в театр я не могу не пойти! Господи, хоть бы приняли меня в эту школу при Худ. театре. Век не забуду им этой услуги. Может быть, и пригожусь им кое на что.

Нет, не примут меня! Ох! Тяжко!

<…>

Тетрадь № 2

«ПОЛОЖИТЕЛЬНО 1937 ГОД БЫЛ ХОРОШ»

19 декабря 1937 года

Ужасное настроение! Всё думала, что начну эту тетрадочку тогда, когда всё более или менее уладится. Но, видно, этому не бывать, во всяком случае, в скором времени не бывать… Всё спуталось, смялось, а распутываться не хочет: от института оторвалась, а к театру пристать не могу.

В институте ничего не делаю. Не хочу! Лень ли это? Папка утверждает, что лень, и сердится. Но я, честное слово, никак не могу себя побороть, не могу. Мне хочется работать, я с рвением сажусь за книги, начинаю заниматься древней историей, но что-то мешает отдаться этому делу совершенно, мешает неопределённость моего положения… Примут ли меня?

Жестокие люди: они всполошили самые сокровенные, самые затаённые мои мечты; я не мечтала попасть в Худ. театр, не смела даже думать об этом; я ни о чём не просила, пока они сами не сказали мне о том, что я нужна им. Пускай они скажут, что я не нужна им, тогда… тогда… ну, я, пожалуй, не знаю, что будет тогда.

Но я знаю, что тогда не будет этой неопределённости, этого угнетающего чувства собственного ничтожества.

Мне стыдно перед отцом, который презирает меня за моё слабоволие, жалко Машку, которая сама не знает, что мне посоветовать: то соглашается, что учиться в институте не за чем, то переходит на сторону папы и говорит его словами. Советовать? Что можно мне посоветовать? Учиться в институте, сдавать сессии. Но у меня совершенно нет желания, нет цели вперед, для занятий. Я понимаю, что заниматься нужно теми предметами, которые пригодятся мне для театра. И я буду ими заниматься, но что-то должно чуточку войти в норму.

А сейчас я ещё ни разу не занималась с Орловым, следовательно, не чувствую совершенно своего положения в театре, а кроме того, эти сессии, висящие над головой.

Я не могу советоваться с папой. Он накричал на меня, сказал, что его решение непреклонно, и у меня теперь язык совершенно не поворачивается заговорить с ним о животрепещущих для меня вопросах. Как-то не принято у нас, чтобы отец выслушивал мои доводы. Если я и пробовала когда-нибудь говорить с ним, советоваться, то никогда так и не решалась рассказать ему свои действительные мысли, после первого же резкого

его слова все мысли вылетали из головы или казались мне уже настолько глупыми, что говорить их вовсе не было нужно. Папа всегда бывал прав, ругал меня, я, поревев и позлившись, признавала-таки его правоту и старалась исправить случившееся.

Но сейчас получилось совсем не так. Сначала всё шло как по маслу: отругали меня, я рассердилась, потом думала исправить, но исправить, надо сознаться, не только не могу, но и не хочу. Не хочу. Боже мой! Почва уходит из-под ног…

Но всё-таки, мне кажется, что всё должно разрешиться. Если скажут в театре ещё раз, что они действительно меня примут, то я начну заниматься. Если не разрешат посещать лекции в институте, то буду заниматься дома в читальне…

Для чего я пишу всё это? Надо заниматься, а не писать пустые фразы. Да!

Выбилась из колеи, но нужно начать. Начну завтра.

Сегодня слушаю вечером радио. Завтра буду заниматься древней историей.

Какая я подлая дура!

25 декабря 1937 года

Вчера занималась с Орловым. Надежда попасть в театр упрочивается. Но нечего закрывать глаза на то, что даже попав в театр, путь будет крайне тяжёлый. Но зато какой желанный!

Институт брошу, с благословения Орлова.

Вас[илий] Ал[ександрович] — обворожительно симпатичный человек!

Сейчас писать много некогда, надо заниматься тем, что задал Вас. Ал.

Новый год буду встречать с Таней из института и с их ребятами. Видела их уже два раза. Славные ребята.

Особенно Юра (возможно, речь идёт о поэте Юрии Левитанском, учившемся в ИФЛИ. — *В.Б.*). С ним, кажется, будем друзьями! Это будет неплохо! Ну-с, к делу, к любимому делу!

5 января 1938 года

С Новым годом, Кирочка! С новым годом, и да принесёт он столько же приятного, сколько прошлый. Положительно 1937 год был хорош.

<…> В институте: подала заявление. Бумаги ещё не взяла. О! Как не хочется затевать скандалов. Но скандал уже затеян — заявление подано.

Что будет дальше? Дальше: с завтрашнего дня начинаю заниматься дома, играть каждый день на рояле — это тоже принесёт некоторую пользу. Вот. Надо только заниматься с пользой, только бы не обманывать себя и не просто проводить время. Буду работать над заданиями Орлова. Так.

<…>

3 февраля 1938 года

Вернее 4 февраля. 1 час ночи

Была на «Платоне Кречете» в Филиале (имеется в виду Филиал МХАТа. — *В.Б.*)!

Настроение в эти дни стало портиться: в театр не вызывают, надежда попасть таяла. Но сегодня я воспрянула духом: во-первых, узнала, что в театре меня не забыли и собираются всё-таки принять, во-вторых, видела «Платона». Чудесный театр! Недостойна я помышлять о том, чтобы стать актрисой такого театра. И трудно будет ею стать. Как отделано у них всё, как реально. Ведь в сущности в пьесе очень много напыщенных и нежизненных фраз; некоторые из них они совсем выкинули, а другие произносятся просто, крайне просто, и они, зрители, ощущали жизнь. Чудесный театр! Неужели меня примут?

8 февраля 1938 года

Ура! Послали с Кузей письмо Лемешеву с просьбой прислать фотокарточку. Письмо сочинила я вчера в минуту вдохновения. Забавы было сегодня на целый день: носились друг к другу, переписывали и т.д. Копия письма осталась.

Думала сначала не записывать сего «прискорбного» факта в дневник и подождать результатов, но теперь решила, что вряд ли, конечно, будут результаты: никакой карточки он не пришлёт, ну а факт останется фактом. Вот я его и записала.

Вот, ей-богу, делать мне нечего — придумала развлечение. Юлька в восторге от затеи.

Сегодня записываю всякие глупости:

Мне нравится Ливанов, Борис Ливанов (отчества, к сожалению, ещё не знаю! «Ещё» — хм, примечай!). Это очередное «сумасшедшенькое» увлечение. Не знаю, во что оно выльется, потому что подталкивающего ничего не предвидится, увы!

Он хороший артист. На сцене видела его первый раз 4-го. Смотрели с Юлькой «Хозяйку гостиницы» Гольдони. Ливанов прекрасен. Юрий рас-

сказывал мне про него такой случай: Ливанов был в Ленинграде на похоронах Монахова. После того, как могилу засыпали, и все ушли, Ливанов и ещё один ленинградский артист остались там и решили справить поминки; что и привели тут же в исполнение: выпили без закуски пол-литра водки.

После этого Ливанов, попрыгивая на одной ноге, кричал: «И вот ты умер! И вот ты умер». Пробовали разрывать могилу и т.д. В таком состоянии застала их жена Монахова (бедная!). Позвала милиционера. Историю, якобы, с трудом удалось замять.

Не знаю и далеко не уверена, насколько она правдоподобна, но «если это и неправда, то хорошо придумано». Забавно! Ливанчик! Каков!

У него толстый подбородок. Вообще отъевшийся мужчина. Он играет в «Балтийцах». Потащила Юльку смотреть спектакль ещё раз. Ливанов несомненно интересен. Громадная, сильная фигура, пропорциональное сложение, красивая форма головы, небольшие, но чрезвычайно острые, если можно так сказать, глаза, длинный, тонкий нос. Руки как будто бы красивые, и уши нормальные. Вот.

В театр меня не вызывают. И это весьма, весьма печально. Я изнываю. Таньке по этому поводу написала «воющее письмо». Действительно, страшно хочется, если они меня хотят принять, чтобы приняли.

Я с ума схожу: стоит мне остаться одной, как я начинаю играть; даже в уборной потихоньку читаю монолог Катерины. Слёзы почему-то в такой обстановке не особенно хорошо льются. Что же делать?! Документы из института не взяты, членские взносы в комсомоле не заплачены, и в театр и не думают вызывать.

Но я не могу без театра. Если не примут в Художественный, то пойду в студию Хмелёва. Кончу ее. Начну с провинции. Может быть, это будет даже к лучшему.

<…>

9 февраля 1938 года

Если Лемешев принесёт карточку, можно будет про него сказать: «Вы не только артист, но и артист-человек!»

10 февраля 1938 года

Сегодня весь вечер проболтали с Верой Плотниковой (речь идёт о той самой подруге Вере, которая в воспоминаниях Головко фигурирует, как Вера Робинсон. — *В.Б.*). Она заехала ко мне после института. Я ругаю себя за то, что говорила раньше, что она мне надоедает и т.д. Жгут меня теперь эти слова. Славная, очень славная она

девчонка. Я прихожу к выводу, что с ней никогда не будет скучно. С ней не нужно измышлять тем для разговора: во-первых, темы как-то сами собой всплывают, а во-вторых, она сама всегда найдёт, о чём говорить.

Замечательная девушка!

Русская от головы до пяток.

<…> А Орлова нельзя не любить. Нельзя. Когда смотришь в его чудесные, добрые глаза, забываешь обо всем, думаешь только о том, какой достойный и замечательный человек Василий Александрович, и с трудом улавливаешь то, о чём он говорит тебе. Я старалась потом не смотреть ему в глаза. И не на меня одну производит он такое впечатление. Тогда же говорил мне об этом и Леонид (молодой человек, которого тоже слушал Орлов и который сказал мне: «Называйте меня просто Леонидом!»).

Ах! Василий Александрович! Не дайте мне разочароваться! Спасите бедную душеньку! Вызвали бы меня, действительно! А Танька что-то не едет. Почему бы это? И на письмо моё не отвечает. Очень хочется, чтобы она приехала. <…>

…Сейчас перечитала своё письмо к Константину Сергеевичу. Мне кажется, что в нём слышится искренний вопль. Может быть. Может быть, письмо не дошло до Конст[антина] Серг[еевича] — это было бы самое лучшее.

Но если Станиславский не ответил мне на такое письмо, то станет ли отвечать Лемешев. Конечно, нет. А у меня до сих пор осталась боль: зачем я послала это письмо. Говорила я, что не надо посылать в театр! Как неприятно и больно! И в театр не вызывают…

<…>

13 февраля 1938 года

Ах! Как славно Юлька надо мной подшутила! Изумительно! А я-то дура, дура! Вообразила-таки, что это письмо от Л. (Лемешева. — *В.Б.*). Сколько мыслей в голове пролетело за эти несколько минут! Нет, нет, Юлька просто не понимает, как зло она подшутила, какую причинила боль. Я бы так не сделала!

Но я ей ничего не сказала, да и не сержусь: мне по делом — каково размечталась!

Но письмо (наше!) было хорошее, и если он ничего не ответит, то значит, он зазнавшийся фат и совершенно потерял обличие простого человека. Нет у него правил посылать карточки — напиши об этом.

Интересно, если я буду артисткой, как буду я реагировать на подобные письма?!

18 февраля 1938 года

Меня вызвали в театр! Вчера праздновались Юркины именины. Утром была на уроке пения, после которого шлялась по городу, выискивая моему «Юрику» подарок. Начинала уже совсем отчаиваться в своей изобретательности, как мне на глаза попался изящный портсигар с нарисованной головой собаки — в память Бобки! Портсигар, наполненный папиросами, и с вложенной записочкой, был мой подарок.

Совсем уже собиралась ехать к Юрию, как меня позвали к телефону. Летела туда стремглав, шлёпая ночными туфлями (я ещё не совсем была готова к отъезду!). Заслышала трескучий голос Протасевича и обомлела от страха и радости.

20-го в 9 ч. вечера Вас. Алекс. просит меня приехать в Филиал и пройти к нему за кулисы.

Мне страшно. Протасевич сказал: «Вас. Ал. хочет с Вами поговорить и просит прийти…» Поговорить?! Может быть, он мне хочет сообщить, что они раздумали меня принимать? Печально! Машка смеется и издевается надо мной. «Подлец, — говорит, — не могли по почте сообщить, что не примут. Тревожат понапрасну!»

<…>

Как бы мне хотелось когда-нибудь сыграть Анну, ужасно хотелось бы. Но вряд ли когда-нибудь удастся сыграть те роли, которые сейчас мне так нравятся. Надо узнать свои силы, а там и вкусы могут перемениться.

…Сыграть Анну. Только чтобы Вронского играл не Прудкин, а Ливанов. Эх! Вот до чего доводит моё «ожидание» — начинаю мечтать о невозможном. Эдак и с ума сойти нетрудно.

<…>

5 марта 1938 года

Перечитываю «Анну Каренину», сейчас читала свидание Анны, вернувшейся из-за границы, с сыном. Плакала…

Если Тарасова не заставит меня зарыдать на этом месте, зарыдать так, что нельзя задержаться, то она не Анна, для меня она не будет Анной.

Я мечтаю о роли Анны.

Мне стыдно в этом сознаться. Но мечтать так отрадно. <…>

Я купила собрание фотографий «Анны Карениной». Смотрю и стараюсь угадать — Тарасова — та самая, которую жду, или нет. Наружность

её мне не нравится только на двух карточках. По радио она мне не понравилась. Но я не хочу делать преждевременных заключений.

Житьё моё становится несносным. Я провожу время. С отцом отношения сухие, натянутые. Он говорил как-то (говорил громко — я слышала из своей комнаты), что он не признаёт фамильярности между отцом и дочерью. Я же не помню, чтобы была фамильярна с ним, но преклоняться я не буду, не могу. Он говорит: это в ней век, современность. Мне всё равно что, но я не хочу неестественности, а признание мной абсолютного авторитета родителя будет этой неестественностью. <…>

8 марта 1938 года

<…> Видела сегодня «Горячие денёчки» (советская кинокомедия. — *В.Б.*). Денег больше нет. Но я смутно чувствую, что завтра непременно пойду смотреть ещё раз. Каким образом будет это непременно, я ещё не знаю, но я знаю себя в этом отношении.

Мне нравится Николай Симонов.

Ах! Послушав Лемешева, я мечтаю о нём, посмотрев Ливанова — о нём, Симонова — о нём. Одним словом, душа открыта для всех. И сколько страсти! Приблизительно с такой же страстью я любила Кольку Б[ерёзкина]. То, что не дано мне, то и волнует кровь. А к тому, кем быстро овладеваешь, ещё быстрее охладеваешь. Как это верно! <…>

14 марта 1938 года

<…> Завтра нужно звонить Орлову. Страшно, но я не хочу, чтобы было страшно. Почему страшно? Что я делаю преступного? Всё думаю, что я скажу ему, а главное — что он может мне сказать, но об этом думать очень страшно.

<…> Сегодня купила, наконец, рамку и повесила над столом портрет Станиславского. Всё время посматриваю на него: он меня так и притягивает. Смотрит Константин Сергеевич из рамки куда-то вкось, слегка прищурив глаза, внимательным, долгим взглядом. Лучшего портрета у меня пока нет. Но я всё-таки очень рада, что теперь постоянно вижу перед собой очаровательное лицо Константина Сергеевича. <…>

2 апреля 1938 года

<…> 20-го я говорила с Калужским. Говорит, что непременно примут меня к осени, нужна ли я им действительно? Когда мне приходят такие мысли, становится чуточку холодно. Но

всё равно, даже если меня не возьмут в этот театр, то я постараюсь сильно попасть либо в студию Станиславского, либо, что всего вероятнее, в училище Малого театра. Вот я и дождалась апреля месяца, а в театр меня и не приняли. Вдруг то же самое будет и осенью?

Впрочем, говоря с собой совершенно откровенно, я и не думала, что меня примут весной. Чувствовала, что Василий Александрович хочет меня подбодрить, говоря о весне, и, веря ему, утешала себя. Но и хорошо, что утешала, потому что киснуть всё время было бы невозможно, а продолжать учебу в ИФЛИ всё равно не смогла бы.

Комиссаржевская не окончила гимназии и впоследствии почувствовала недостаток образования. А у Комиссаржевской был громадный талант. Какое же тогда образование нужно мне? Да, да, много, очень много нужно будет работать над собой. Очень жаль, что я не знаю и не могу начать сейчас работать в системе, но пока я могу читать, читать и читать, что и делаю.

Но получить специальное высшее образование — не сценическое — я не могу, потому что я хочу в театр, не могу не пойти на сцену.

Калужский мне не понравился, несмотря на то, что он говорил мне комплименты. Он сделал одолжение Орлову и спустился поговорить со мной. Я постаралась как можно скорее уйти, чтобы «боже упаси», не задержать его слишком долго. <…>

15 апреля 1938 года

<…> Институт брошен — документы не взяты. Все недоделано, всё нескладно… Это мой дурацкий характер. <…>

Читаю, большей частью, перечитываю Мопассана. Прекрасный писатель! Но я, как и А. М. Горький, больше всё-таки люблю Чехова.

Роман Мопассана «Жизнь» читала первый раз. Он мне не особенно понравился, по сравнению с его другими романами. Но навёл на некоторые размышления. Я ведь ещё никого не любила по-настоящему, всё, что было — были увлечения, мимолётные, быстро проходящие (некоторые сравнительно быстро). Думаю, что и меня ещё не любили настоящей любовью… Полюбят ли?

Нужно сильно, очень сильно полюбить человека, чтобы отдаться ему. Мне кажется, что для женщин этот шаг гораздо более значителен, чем для мужчин. Как нужно следить за собой, как нужно взвешивать каждый шаг. Сумею ли я?

<…>

Нужна встряска. Нужна поддержка. Если бы позвонил Орлов… Но он не позвонит: ведь ему тоже нечего мне сказать, совершенно нечего.

<…>

Умер Шаляпин. Как-то жаль, что ушёл гениальный певец. Гениальный актёр. Один за другим уходят из жизни гениальные люди… Хоть бы мне увидеть К. С. Станиславского.

Зачем Шаляпин уехал из СССР? Зачем я не могла его ни разу услышать.

Мне начинает всё больше и больше нравиться опера «Демон». Сижу за пианино и долблю её мотивы одним пальцем. «А наказанье? А муки ада?» — «Так что ж? Ты будешь там со мной!». Бурлак хорошо поёт. Но как пел, должно быть, Шаляпин? Как пел?

Как он мог уехать?! Уехать в отгнивающие страны, из нашей, растущей и крепнущей. Нужды нет, что у нас пишутся ещё некрасивые и грубые оперы, что пьесы часто бывают несценичны и неостроумны. У нас будут красивые оперы, будет настоящее искусство. В это я верю твёрдо. Даже не знаю почему. <…>

27 апреля 1938 года

<…> Читаю переписку Чайковского с Фон-Мекк. Интересно. Постепенно вырисовывается образ П. И. Чайковского, как человека. Не слишком красивый, но он всё-таки нравится (может быть только потому, что я слишком люблю его музыку). Как жаль, что он был болен неизлечимой (излечима ли она в наше время?) болезнью — «любовь к мальчикам». Это портило ему жизнь. Какой это был русский человек: написать «Евгения Онегина», живя в это время вдали от родины, от России. Правда, задумана она была ещё в Москве. Его 4-ю симфонию приняли сначала крайне сдержано. А какая она чудесная! Так захотелось ещё слушать её. Непременно прочту все 3 тома. <…>

25 мая 1938 года

«Как моё сердце измучено,
Я и сказать не сумею…»

Итак, Сахновский передал мне через Орлова, что с 1-го сентября я могу приступить к работе в театре. Как странно: это известие не обрадовало меня сильно — нет веры в то, что это действительно так будет. Изуверилась я.

А если летом начнётся война, то, конечно, не возьмут… Страшно подумать.

Радует меня, что май уже подходит к концу. Останется три месяца, три долгих летних месяца.

Театр с сегодняшнего дня в Ленинграде. Орлов просил написать ему в Ленинград, чтобы он мог сообщить мне обо всех формальных подробностях начала моей работы.

А всё-таки я твёрдо знаю, что мой путь — это сценический. Скорее бы осень.

Ничего не делаю, дармоедничаю, опротивела сама себе донельзя. Никто меня не любит, и я никого не люблю. Агранова больше не видела, да как-то и не особенно хочу. Мечтаю о Лемешеве. Говорят, ему 31 год. Хорошо было бы познакомиться с ним.

Как-то я буду чувствовать себя в театре. А Мордвинов (актёр Борис Аркадьевич Мордвинов. — *В.Б.*) меня не забыл: спрашивал недавно обо мне у Орлова. А Василий Александрович прелесть! Внимательный, чуткий, добрый.

<…>

9 июня 1938 года

<…> Да! Ура! Мы идём с Юлькой 17-го на концерт С. Я. Лемешева. Мамка сама мне дала деньги. Билеты в 7 ряду. Увидим близко нашего Соловушку. Хочется с ним познакомиться. Он так славно говорил с Юлькой по телефону. И ещё 31 год. Впрочем, наверное, гораздо больше.

Душечка Лемешев, значит, до 17-го.

Кого же я раньше увижу — Лемешева или Агранова? Интересно, в скольких актёров мне предстоит ещё влюбиться? Число их, наверное, неисчислимо.

Скорее бы осень, скорее бы в театр.

Игорь говорит: в кино легче выдвинуться. Зачем мне выдвигаться? Не хочу я выдвигаться. Не с чем ещё выдвигаться. Я хочу учиться, хочу быть в театре.

Июнь пройдёт — останется июль, август. Надо написать письмо Орлову. Что же я напишу? А Калужский ведь тоже ничего не написал. Не знаю, что и думать по этому поводу.

<…>

12 июня 1938 года

<…> Читаю Орленева (Павел Николаевич Орленев, 1869—1932, актер. Автор книги «Жизнь и творчество русского актёра П.Н. Орленева, написанные им самим». — *В.Б.*).

Боже мой, я пошла на святотатство! Никогда раньше не позволяла себе этого. Но… Вдруг ужасно захотелось иметь перед собой изображение Павла Николаевича Орленева. Книга его меня страшно захватила. Ужасно обидно, что ушли из жизни «короли сцены». Почему не довелось мне никого из них видеть, узнать. Какой талант был у Орленева! И я вырвала его одну фотографию… Ведь нигде не достать, а так захотелось.

Павел Николаевич! Ведь Вы-то не рассердились бы на меня за такой поступок. Боже мой, какой это был артист! Как бы я хотела полюбить настоящего сильного артиста! Полюбить сильно, единственной в жизни любовью. И только артиста! <…>

«Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать». Фраза П. Н. Орленева, вставленная им самим в перевод «Гамлета».

Смирнов-Сокольский своим внешним видом напоминает мне П. Н. Орленева. Какая гадость! (Смирнов-Сокольский, конечно!)

19 июня 1938 года

<…> На киноф[абрику] не вызывали, членские взносы ещё не внесла. 17-го были на концерте. Лемешева «обложили» цветами — 5 огромных корзин и бесконечные букеты из роз, лилий, пионов. Это было красиво. После окончания концерта толкались в толпе, которая мешала С. Я. сесть в автомобиль. Занятно! Ох, и злое было у него лицо, когда он сел в машину.

Хорошо он поёт романсы. Очень приятный голос, в душу проникающий. Манера петь, тембр, изумительная дикция. Прекрасно подаёт мысль, чувство. Но почему только в романсах? Почему я не могу того же сказать о нём в ролях?

Говорят, он ещё молодой — 31 год. Я дала бы ему больше.

Елена Юльевна говорит, что он из совсем простой семьи. На сцене держит он себя прекрасно, одет изыскано. Но какая у него душа? На письмо он нам не ответил. Но по этому судить, конечно, смешно.

Ему одинаково удаются и грустные и весёлые романсы. Последние в его исполнении мне, пожалуй, больше нравятся, чем грустные: мне кажется, что он чуточку излишне сентиментален.

А всё-таки мне ужасно хотелось бы с ним познакомиться. У него приятные очертания рта. Славная улыбка. Некрасивый нос (напудренный). Довольно большой лоб со складкой горизонтальной посередине. Грустные, может быть даже нарочно грустные глаза, довольно большие,

как Юлька говорит, лягушачьи. Какого они цвета — судить при электрическом освещёнии трудно.

Фигурка стройненькая, тоненькая, изящная. Руки холёные, красивые. Ногти — неширокие, обыкновенные. Плавная, довольно быстрая походка.

Мне кажется, что шея выдаёт его возраст: под подбородком, когда он поёт, видны складки. Сколько ему действительно лет? Может быть, он пьёт? Умный ли он? Боюсь, что не очень.

<…>

29 июня 1938 года

Только вчера вечером решила сама поработать над стихотворением и рассказом Чехова, чтобы на всякий случай быть готовой к испытаниям куда-нибудь. И сегодня получила письмо от Вас[илия] Алек[сандровича]. Пишет, что на худсовете моя кандидатура прошла положительно. Нужно позвонить ему от 1-го до 5-го сентября. А там на работу.

Боже мой! Неужели правда, неужели я начну учиться, начну ступать по сцене. <…>

5 июля 1938 года

<…> Ездила 2-го в Третьяковскую галерею. Картины начинают производить на меня всё большее впечатление. Надо будет ездить почаще. Выставка Исаака Ильича Левитана очень понравилась. Какой замечательный был пейзажист! Получить бы письмо от Леши. Пусть он любит Нину. Но он ведь любил её уже тогда, когда согласился написать мне. Почему же он не пишет? Кого и когда я полюблю действительно?

Мне нравится Андрей Болконский из «Войны и мира». Очень нравится. Есть ли теперь похожие на него? Или все вывелись? Скорее бы заняться делом. В театр, в театр.

16 августа 1938 года

<…> Умер Константин Сергеевич Станиславский. Испытываю огромную, невыразимую и ещё не вполне объяснимую для меня сейчас боль при мысли об этом.

Задумала сделать альбом К. С. Станиславского. Сейчас живу этим. Немировича в этом альбоме не будет — не место ему.

Если Станиславский был и Моцарт и Сальери, то Немирович не тот и не другой и не будет ими. <…>

6 сентября 1938 года

Сегодня сдала в личный стол все документы. С 8-го я приказом буду зачислена во вспомогательный состав театра. Радость есть. Радость достижения желанного и долгожданного. Но больше настороженности, почти страху о будущем. Как я буду учиться? Что я буду делать? Я ещё не знаю. Для меня ясна цель — сцена, игра на ней, а средства достижения туманны.

Чувствую, что нужно будет самой, самостоятельно много работать над собой; читать, учить. Это ведь не студия, не институт, где всё по расписанию. Как-то я справлюсь?

Альбом К. С. я ещё не совсем закончила.

Вацлав Викентьевич [Протасевич] обещал мне 8-го числа показать театр, сцену, фойе, кабинеты Станиславского и Немировича. Как давно я мечтаю об этом? Осмотреть все уголки театра — неужто это будет возможно?

Начинается самостоятельная жизнь. Ну, смелее!

<…>

Знаю, что у меня будут занятия дикцией, голосом, гимнастикой, драматургические с В. А. Орловым, но неужели ничего теоретического? А теория искусства? Читаю историю западного театра. Потом хочу перечитать русского.

9 сентября 1938 года

Сегодня первый раз была в театре. На душе как-то грустно: чего-то хочется, но сама не могу понять чего. Сразу множество новых лиц, имён, которые не могу запомнить. Ощущаю какой-то совершенно своеобразный мир, к которому я ещё не имею сил приникнуть. Не могла запомнить даже входов, выходов и переходов в театре, которые без конца все смотрят, рассматривают, как диковинку, новинку.

Да ведь так это и есть. Сумею ли я войти в этот мир? И как скоро? Я ещё охрипла — как неприятно.

Репетировали «Горе от ума» — народную сцену. Репетицию вёл Вл.Ив. Немирович. Его очень уважают, но некоторые просто заискивают. Но я была дурой, когда воображала, что не смогу его уважать. Уже сегодня я почувствовала к нему большое уважение: как замечательно, на глазах, он настраивает репетицию. 80 лет. И какой бодрый старик. Кедров — наверное, симпатичный. Массальский хочет играть Чацкого. Коренева —

злая. Ливанов — сильно болен. Качалов — тоже болен — хроническое заболевание легких. Ужасно жаль. Как-то я завтра?…

10 сентября 1938 года

Ну вот, и «завтра» пришло. Чувство отчуждённости, ненужности и полнейшей неумелости, конечно, не покидает меня, а даже разрастается. Много неприятностей доставляет хрипота. Показать Елизавете Федоровне Саричевой голос я совершенно не могла. Горло, видимо, придётся лечить. Неприятность у меня с буквой «с» — это я сама замечала, и мама замечала, и Массальский заметил. Как-то сумею я исправить этот недостаток. Эх, поскорее бы втянуться в работу, — так уже больно тяжело.

«Девушки», с которыми теперь я буду коротать время, мне в большинстве своём не нравятся. Хочется, конечно, поскорее узнать, насколько они талантливы, а я по сравнению с ними насколько бесталанна.

Я предоставлена самой себе. Может быть, это и хорошо — сразу обрету самостоятельность. Но всё-таки, это тяжело. Не знаешь, куда себя приткнуть. Боишься с кем-нибудь заговорить — каждый чем-то занят, и я, конечно, буду лишней. Когда я освоюсь — бог весть! Но я не хочу отчаиваться. Всё обойдется. Только бы мне остаться самой собой. Не начать мазаться. Побольше скромности — её у многих «девушек» не хватает.

Горло бы, горло прошло. Я бы занималась. И начались бы драматические занятия с Орловым.

Буду ходить, ходить в театр. Пусть на сердце скребут кошки! Привыкну ведь когда-нибудь.

Надо получить пропуск. Надо прикрепиться к комсомольской организации. Очень рада, что я комсомолка — это будет большое сдерживающее начало — не для себя самой (на себя я надеюсь вполне), а для других. И хорошо, что мне 19 лет. Не так стыдно, что ещё ничего не знаю. А надо узнавать.

Немирович замечательно проводил репетицию. Страшно интересно.

11 сентября 1938 года

Мне приходят в голову мысли, что я никогда не привыкну к окружающим меня в театре людям (сейчас они, впрочем, меня даже ещё и не «окружают»). Совсем я не такая, неподходящая, маленькая, глупенькая, ничего не умеющая. Волнует меня, что я не смогу изучать систему Станиславского. Надо было идти в студию, а я вот втёрлась в Худ. театр. Вообразила себе бог знает что. Когда я выкарабкаюсь

из созданного положения? Ох, чует моё сердце, что нескоро. Заняли бы меня чем-нибудь определённым.

Ничего не знаю относительно денег — буду ли я получать? Или нет? Что-то мне кажется, что нет. Да и за что же мне?

Тяжело пока что. Долго ли будет это «пока что»? Скорее бы освоиться. Иначе я и продвигаться вперёд в учёбе совершенно не смогу.

Голосу, кажется, чуточку лучше.

На моём пропуске (вчера его получила) вверху написано «артистка». Теперь запрещено наименование «статистка». Но «артистка» — звучит просто, как насмешка. Впрочем, я ведь даже ещё и не статистка…

<…>

Скорее бы прошёл сорокалетний юбилей [театра].

14 сентября 1938 года

Сегодня день прошёл почти благополучно. Вот только очень глупо чувствовала я себя в перерыве между репетициями. Совершенно некуда себя девать. Сидела, как дура, в уборной. Фу, срам. Ужасно боюсь навязывать себя нашим «девушкам». Привыкнуть бы поскорее. Узнать бы хоть кого-нибудь покороче.

Вл[адимир] Ив[анович] [Немирович-Данченко] страшно настойчиво репетировал сегодня «шумы». И всё-таки не все внимательно слушают его замечания. Много о себе мнят.

Сын Качалова, кажется, Вадим Вас[ильевич] Шверубович, симпатичный. Такое приветливое у него лицо. У него обязательно должна быть любовница. Весь его облик твердит об этом.

Вчера была на вечере Толстого в МГУ. Не трогает меня талант Еланской: она плачет, а я остаюсь равнодушна к её слезам. Ершов — Нехлюдов — совсем не понравился.

Хорошо читал И[горь] Ильинский.

<…>

17 сентября 1938 года

<…> Сегодня видела Василия Ивановича Качалова. Страшное волнение почувствовала я, увидев его красивую, стройную, величественную фигуру. Сердце сжалось, всю вообще охватило какое-то необыкновенное чувство.

Он, кажется, спросил, кто я такая (возможно, что я и ошибаюсь!). Боже мой! Если бы мне удалось познакомиться поближе с этим человеком, я была бы очень счастлива.

Сын его очень милый, приветливый. На редкость.

Подошла ко мне сегодня Зуева. Тоже очень приятно. Спасибо ей. А то уж очень тяжко.

Слушала доклад Боярского. Доклад понравился. Действительно, я попала в замечательный театр. Теперь только учиться, работать на собой, набираться опыта на репетициях. Ах, только бы привыкнуть. Одна я пока. Хоть бы приняли они кого-нибудь ещё, что ли.

Прыщи-то не проходят.

Горе моё. Вот никудышная я: и так-то рожа с прыщами — боже мой!

А завтра пойдём на «Травиату». Пойдёт и Агранов. Свидимся, значит.

Сегодня Василий Александрович [Орлов] два раза усаживал меня поближе к себе. Милый, значит, не забыл о моём существовании.

Андровская, наверное, симпатичная и весёлая.

20 сентября 1938 года

Когда же начнутся у меня драматические занятия? Когда я начну изучать систему Станиславского? Пока только гимнастика и дикция. Гимнастика замечательно развивает тело. Очень довольна. С Сарычевой тоже занятия пойдут своим чередом. Конечно, присутствие на репетициях Вл[адимира] Ив[ановича] — это большое счастье, громадная польза для моего развития. Но многого ещё не хватает. У меня ещё много свободного времени, — и я чувствую всё ещё себя виноватой в безделье. Если бы не мои растерянность в театре, если бы не мой страх и стыд за своё ничтожество, я бы, несомненно, сумела использовать это свободное время: я ещё не кончила историю западного театра, надо перечитать историю русского, но… что-то мешает. Я ещё не вполне попала в свою колею.

Сегодня сказала Юльке, что если я когда-нибудь освоюсь в театре настолько, чтобы заводить «романы», то первым объектом будет [актёр] Леонид Князев. Я пошутила, конечно. Но действительно Леонид Князев сможет мне нравиться, но, боже мой, как я ещё далека от этого. Сомневаюсь, вообще буду ли я когда-нибудь кого-нибудь интересовать в театре. Они все так значительны по сравнению с моей незначительностью. Я совершенно не знаю, куда девать себя в перерывах. Я боюсь идти в буфет — ведь я могу оказаться там одинокой, это будет ужасно стыдно.

С девушками у меня отношения стали уже более простыми, но всё-таки я боюсь быть им в тягость. Я одна пока ещё.

Качалов. Я его больше не видела. Как хочется мне его послушать.

2 октября 1938 года

<…> Сегодня в первый раз Чацкого репетировал Василий Иванович Качалов… Видеть, как репетирует Качалов, как рождаются у него всё более глубокие интонации — это высшая школа. Какая простота и какое значение, мысль принимает в его устах каждое слово знаменитой комедии! Как свободно, как настоящий, единственный хозяин сцены, движется он по ней. Как замечательно звучит его голос! Этот голос… Наплевать на то, что мне неуютно, тяжело пока в театре, что я ещё не нужна театру, но я могу видеть, слушать Качалова — значит я учусь, учусь высшему сценическому искусству.

Надо заниматься, надо работать над собой.

Да и ещё Добронравов. Видела его ещё в «Любви Яровой». Прекрасный актёр. Замечательный. Иметь такую силу, как у него…

Борис Георгиевич Добронравов.

Не о силе мне нужно мечтать, а о занятиях, которые ещё не начались. Когда же они будут со мной заниматься. А я ещё над собой не работаю.

6 октября 1938 года

Сегодня занималась дикцией. Ну вот и началось моё сценическое развитие: гимнастика развивает тело, гимнастика лица — мимику, занятия дикцией, голосом — речевой аппарат, посещение репетиций, слушанья Качалова, Немировича делают первые вклады в мою сценическую сокровищницу. Вчера начала посещать драматические занятия с Василием Александровичем. Это будет страшно полезно и интересно. Не знаю, что будет, и будет ли вообще заниматься со мной системой. А на занятиях с Орловым я знакомлюсь с системой на практике.

Павел Александрович Марков начал читать нам историю Художественного театра. Там записывать было неудобно, вернувшись же домой, записала, что запомнила.

Вчера познакомилась ещё с двумя актёрами — Мишей Верёвкиным и Василием (фамилию не знаю!). Оба, видимо, славные. Вася — комсомолец. Увлекается футболом. Я их не видела раньше, т.к. они заняты в «Достигаеве».

<…>

Надо расхрабриться, пойти к Михальскому [за контрамарками] и начать просматривать репертуар.

<…>

16 октября 1938 года

Сегодня обещала повести Свету на «Синюю птицу», а её, конечно, не пропустили. Я дура! Нужно было не говорить вовсе. Жалко девчонку до слёз. Господи, хоть бы удалось мне повести её 24-го!

В театре моё положение прежалкое. Хоть бы юбилей скорее прошёл, что ли. Может быть, тогда начнут меня занимать.

Нет, мне ещё не хорошо сейчас. Я ещё не в театре.

19 октября 1938 года

Слушаю «Фауста» — трансляция. Не могу никак увидеть моего Лемешева. Сегодня он поёт Фауста. Мефистофеля — Пирогов. Какой потрясающий голос у Лемешева! Прелесть.

Я мала ещё, глупа, необразованна. Самая глупая во всём театре.

В спектакли меня не вводят. Не до меня, конечно, да и разве я сумею — системой не занималась. Голова наполнена всякой чепухой: Добронравов, Ливанов, Верёвкин, Князев.

Ах, как хороша Настя в «Достигаеве». Какой талант у неё. Надо посмотреть Женю Петрову в «Вишнёвом саде». В 20 лет уже играет такую роль — молодчина. А я ещё ничто. Это не зависть — просто я хочу учиться. Ведь зачем-нибудь они меня взяли. Скорее бы юбилей прошёл, скорее бы.

22 октября 1938 года

Как Качалов прочёл вчера свой последний монолог. Так вот что значит Качалов, вот что значит Артист. Все зааплодировали. Это я слышу первый раз в театре. Как он читал! Как звучал его голос…

Станицын — Репетилов просто прекрасен. Хорошо. Какое счастье, что всё это происходит на моих глазах. Будут ли сегодня транслировать концерт С.Я. [Лемешева]?

23 октября 1938 года

Сегодня я видела Качалова — Чацкого. Что может сравниться с сегодняшними впечатлениями? Ничего. Такому человеку-артисту я отдала бы всё. Ах, как хорош!

Нет, Немирович всё-таки нехороший человек. Большой человек, но нехороший. Для меня он не сравним с Константином Сергеевичем и Василием Ивановичем.

26 октября 1938 года

Завтра юбилей. Я уже получила билет! 9 ряд, 227 место на сцене. Как-то это будет? Платье готово, цветок куплен. Как-то я себя будут там чувствовать? Утром поедут на могилу к Константину Сергеевичу. Можно ли будет мне поехать — наверняка не знаю. Но в театр утром всё-таки поеду. Очень хочется. Что-то будет завтра. Мне хочется, чтобы юбилей поскорее остался позади. Я хочу поскорее включиться в работу театра.

Качалов — Чацкий — это восторг! К его ногам я принесла бы всё. Ляля Людвигова сказала, что Добронравов говорил ей: «Это ничего, я на 20 лет старше вас!» Как хорошо сказал, а?

29 октября 1938 года

Сегодня видела во сне Качалова… Я бросилась к нему с криком, я искала у него помощи, спасенья. И он помог. Я плакала, спрятав голову у него на коленях. А он гладил меня по голове и говорил хорошие слова… Это сон.

Я была на юбилее. Честь, которой я недостойна. Но мне тяжело. Скорее бы начать приносить свою малюсенькую помощь театру. Скорее бы ввели меня в спектакли. А вдруг всё так и останется, как сейчас: и я всегда буду одна в театре?

Вчера была на вечере у Юли. Был Агранов. Но был и Коля Алексеев. Как хорошо с ним танцевать. Прелесть. Он уже получил звание пилота. Молодчина. Кончает Институт связи. Потом пойдёт в истребительную авиацию. Получал не раз первые места в мировых стрелковых соревнованиях. И хорошо танцует. Чем не кавалер?

30 октября 1938 года

Получила сегодня один билет на «Горе от ума». Сегодня день рождения Юльки — билет ей. Но мне ужасно хочется, чтобы она увидела Василия Ивановича вместе со мной. Как мне пройти? Кроме того, есть билеты в Дом актёра. Но Юлька, конечно, должна идти на «Горе»… В крайнем случае (пожалуй, так и будет!) не пойду сегодня никуда. Но Василий Иванович… Ах, пускай посмотрит Юлька: ведь я его ещё увижу, я с ним ещё познакомлюсь. Непременно.

Вчера я слушала под дверью монолог Василия Ивановича, а потом вместе со всеми аплодировала ему. Я стояла близко. Мне кажется, что

он именно мне послал воздушный поцелуй. Вдруг он запомнил уже мою рожицу. Пусть мне, пусть мне: так приятно думать, так.

Вечер. Вернее, ночь.

Были, обе были на премьере. Я пошла на сделку с совестью: влезла в зрительный зал без контрамарки. Как мне удалось?! С моей трусливостью. Видно, всевышний угадал, ради кого хотела я пройти. Ах, Качалов… Юлька, конечно, в восторге. Как хорошо!

Теперь бы только начать работать в спектаклях и продолжать над собой. Как хорош Качалов. Артист! Человек-артист!

<…>

17 ноября 1938 года

<…> Меня ввели в шумы «Половчанских садов». Это уже хорошо. Кажется, введут в занятия «Синей птицей» — Молоко. Это было бы очень хорошо. Системой ещё не занималась. Это неприятно. А вообще — жизнь моя вся в театре.

Дружу с Лялей Людвиговой (замечательная!), с Ниночкой Лебедевой (прелесть!), с Ирой Мешалкиной (умная!).

[здесь записи обрываются — последующие страницы дневника уничтожены].

Тетрадь № 3

«ЦЕНТР МИРА — ИВАНОВА КИРА»

<дата не обозначена>

<…>

20 октября 1939 года.

<…> Видела Добронравова — когда он голосовал в зале К[омической] О[перы] и потом на «Турбиных» за кулисами. Мне кажется, что он тоже слегка рисуется при мне. Во всяком случае, он меня замечает.

И уезжает в Белоруссию. Говорили о нём (не только о нём!) с Колей Бриллингом (артист, который вместе с Кирой поступил во МХАТ в 1937 году, но после войны перешёл в Театр Ермоловой. — *В.Б.*).

Он его очень хвалит, но говорит, что он очень старый.

Старый! Неужели, правда?!

Хоть бы поиграть с ним ещё хоть разочек в жизни!

Вот о чём я мечтаю.

23 октября 1939 года

Сижу дома и читаю Горького. Получила я в учебной работе роль Наташи в «На дне». Снегурочка таким образом отпала. Педагог Раевский. Очень хочу скорее работать над ролью. Настроение рабочее. Этому очень рада.

Узнала об этом вчера — сказал утром Василию Александровичу. А сегодня уже было первое занятие.

Если будет делаться и конец III акта — то там у Наташи очень темпераментное место. Но надеяться на это нельзя. А впрочем, многое зависит от того, как пойдёт роль. Если не будет идти, пойду к Орлову. За помощью.

Наташенька моя сильная.

Сегодня подумала… и решила, что мне нужно почитать о жизни бедных мещан, т.к. у меня ещё нет того, что дало бы возможность правдиво нафантазировать биографию Наташи. Не могу себя ясно представить ту обстановку, в которой прошло её детство.

Добронравова видела в буфете.

Нравлюсь ли ему? Нет. Ему нравится, что он мне нравится.

Сказал подошедшему к нему Масальскому: «Вот Кира Иванова…», дальше я не расслышала. Массальский улыбнулся и раскланялся со мной издалека. Я постаралась выражение лица сохранить спокойным, только на секунду удивлённо улыбнулась. Глупо! Всё глупо!

И то, что он сказал обо мне, должно быть глупо. И кокетничаю я при нём неудачно — это нестерпимо глупо.

Но не могу — точно кто-то меня подгоняет, и я еле-еле успеваю сама следить за своими действиями.

А ведь, наверное, верно, что Добронравов старый.

Василия Александровича видела тоже в буфете.

Поздоровалась. Он стоял с Грибовым. Видеть его очень приятно, только слегка неудобно, неловко. Обаятельный он!

Есть у меня сейчас над чем работать. Теперь дело за мной.

Ну, это будет проверка моих сил и способностей.

Посмотрю, как пойдёт работа. А потом попробую приготовить монолог Заречной. Вот.

25 октября 1939 года

<…> Сегодня поняла: читаю «Фому Гордеева», и точно кто-то положил на сердце тяжёлую руку свою и давит. «Фома» подавляет меня.

Была в театре Ромэн — «Макар Чудра». Постановка Лесли. Приятно смотреть цыган — то пёстро-красивое гортанное пение, то плавные и вздрагивающие движения в танцах — хорошо! Никаких душераздирающих впечатлений — только приятно–пощипывающие переживания. Приятно.

Соскучилась по Орлову. Когда теперь я ещё поговорю с ним.

Если поставят «Фому» — его будет играть Добронравов, а Маякина — Москвин.

<…>

26 октября 1938 года

Сегодня начались занятия художественным чтением. Я в группе Татьяны Ивановны Дорохиной. Это будет интересно и полезно — она передаёт нам мысли Константина Сергеевича. Откровенничаю с Бриллингом: он говорит, что отдал бы 10 лет жизни за свидание с Андровской, а я тоже самое сказала о Д. (Добронравове. — *В.Б.*)

<…>

Сегодня подошёл ко мне Иван Сергеевич (лицо не установлено. — *В.Б.*) и посоветовал мне при режиссёрах не сидеть нога на ногу и вообще быть подобраннее, держаться прямо. Говорит, что сказал мне об этом, т.к. знает, что ко мне хорошо относятся.

Спасибо ему. Как важно уметь держаться, а я вот не умею. И теряюсь постоянно.

30 октября 1939 года

Сегодня я сыграла служанку в «Пиквике» — первая роль!

31 октября 1939 года

<…> Василий Александрович нравится. Но он даже не поговорил со мной сегодня. Боится на людях. Вот так.

4 ноября 1939 года

Одновременное развитие двух романов — с Бриллингом и с Орловым. Колька умный, несомненно талантливый человек. Он нравится мне. Эти дни он всё провожал меня со спектаклей. Разговаривать с ним очень хорошо. И я очень отчётливо поняла, что в этом совсем ещё мальчишке есть что-то такое приятное, что, несомненно, должно привлекать женщин.

Сегодня с «Горя» шла с Орловым. Шли зигзагами до самого дома. Сказали друг другу о том, что нравимся. Вот. Орлов захватывает больше, чем Бриллинг.

Это понятно, и вероятно нехорошо. Обаяние у Вас. Ал. потрясающее.

Сегодня был просмотр четырёх актов «Тартюфа». Потрясающий Топорков. Что это за мастер! Что это за художник! Страшно красива Коренева. Вообще это спектакль!

Завтра Бриллинг спросит: «Тебя провожал Орлов?»

<…>

14 ноября 1939 года

<…> Вчера был вторичный прогон «Тартюфа» — прошёл он хуже, чем первый. Но какой изумительный это будет спектакль! Занимаюсь одной Наташей. И то только в театре, а сама нет. На «Пиквик» ещё не вызывают нас с Женей [Петровой]. <…> Добронравов сказал Орлову: «Вот эта девушка влюблена в меня». Это про меня. Он больше этого не скажет. <…>

19 ноября 1939 года

<…> Перечитала все письма Никодима Александровича [Потёмкина]. Замечательный он человек. И ему я обязана тем, что выбрала Худ. театр и вообще театр. Какие хорошие советы он давал мне! Мудрые, добрые. Один из советов заключает в себя предостережение

не попасть в руки какого-нибудь светского хлыща, которых и в Худ. театре не мало. Вот «хлыщ» Орлов или нет? Вот вопрос. Как разобраться в нём?

<…>

21 ноября 1939 года

Утром занимались «Дном». Надо заняться самой и с Алексеем. Но главное, что что-то уже намечается — не в полной тьме блуждаю.

Потом была утомительная репетиция 5-го акта «Тартюфа». Затем урок дикции. Потом комитет — будь он неладен! И «Царь Фёдор». Вот.

Целый день не видела Орлова.

На «Фёдоре» видела его руку — он сидел перед выходом, а я вышла с кулис 2-го этажа и поднималась к себе. К нему не спустилась. Потом совершенно неожиданно увидела его в конце 8 картины около портала. Обрадовалась. Торопилась разгримироваться. Думала, что увижу его. Но не увидела.

<…>

23 ноября 1939 года

Сегодня наши были на «Тартюфе». Вчера были Вера [Плотникова] и Андрей [Робинсон] и тётя Лиля. Очень рада, что удалось всех сводить на этот спектакль. Очень рада. Всем понравилась. Ещё бы!

Сегодня была занята во «Врагах». Видела, как Орлов подходил к тому месту, где я сижу. Но на сцене были Кедров, Соколова и др., и он ко мне, конечно, не подошёл. Но не хочу упрекать его — это правильно. И он так долго говорил мне вчера об этом. Сейчас же ушла из театра и из телеграфа позвонила ему.

Настроение у меня неплохое. Сейчас хочу почитать Диккенса. Жалко, что Арабеллой не занимаюсь.

Раевский сказал Орлову и Протасевичу, что Наташа у меня идёт хорошо. Напрасно он это делает. А я лентяйка — мне нужно заниматься Наташей, чтобы каждую репетицию приносить что-нибудь новое. Мне бы надо было записывать многое, что говорит и рассказывает мне В. А.

<…>

29 ноября 1939 года

В. А. позвонил мне на «Воскресенье». Встретились в Газетном. Поехали на Пресню.

Сегодня В. А. говорил мне о театре, о том, что мне нужно работать над собой.

Он говорит: что все наши старики и середнячки упорно, всё время работают, делая подчас вид, что всё приходит с неба. Говорил о Б.Г.Д. (Борис Георгиевич Добронравов. — *В.Б.*).

Это понимаю.

Говорил о роли, что, получив роль, не нужно предаваться бурному веселью и думать о результатах — «Я Гамлет! Ура!», — а нужно сейчас же начать взвешивать свои силы, раскладывать их мысленно и прилагать к данной роли.

Говорил, как надо начинать работать над чем-нибудь.

Прочитать. Понравилось. Ещё раз прочитать. И после этого начинать постепенно приспосабливать себя к данной вещи — делать так, чтобы она становилась вторым моим «я», чтобы произнося её, я чувствовала интонацию. Всё.

Всё это тоже понятно. О очень нужно. Хочется работать. Хорошее чувство. Работать. Работать. Джульетта, Заречная, Наташа Ростова и многое другое. Надо сделать так, чтобы я не боялась показывать ему то, что буду делать. <…>

4 декабря 1939 года

<…> Сегодня была первая премьера в Худ. театре, в которой я принимала участие. Если бы у меня не было какого-то слегка подавленного настроения, вызванного отъездом В. А., думаю, что вся торжественность момента произвела бы на меня ещё большее впечатление.

Михеева подарила нам всем, служанкам, по деревянной пудренице. Мы вкатили ей в уборную шесть шоколадных бомб.

М.Н. Кедров прибежал к нам в уборную и поцеловал всем трём служанкам руки, а руки были намазаны коричневой пудрой! О! Все поздравляли друг друга. Не хочу писать больше о премьере.

<…>

После гимнастики я зашла на репетицию «Горячего сердца». В зрительном зале было темно, но я почувствовала, что Орлов был там. Через несколько секунд услышала его кашель. Потом он подошёл ко мне и посидел со мной несколько минут. Он не спал всю ночь, ни секунды. Был бледный, глаза грустные, но бодрый.

Я не могла найти себе места. Я боюсь, что многие заметили, как я исчезала и снова появлялась на собрании. Но я не могла сидеть на месте, хотя была уверена, что он не уйдет, не повидавшись со мной — конечно, сомнения были, но не они вселяли в меня беспокойство. Мне было как-то

нервно-весело: я кокетничала с Кудрявцевым, с Белокуровым, говорила с Веней.

Потом, посидев немного в учебной части у Протасевича, мы сказали, что пойдём на собрание. Пошли. Но почти дойдя до нижнего фойе, В. А. испугался, что его могут выбрать, и решили не ходить.

<…>

8 декабря 1939 года

Видела В. А. после «Врагов» (сегодня играл Качалов!), рассказывал о Горьком. Он сильно устал там, но вообще поездкой доволен: познакомился и подружился с очень интересной семьёй, кажется, председателя тамошнего обкома. Как он умеет хорошо говорить о людях! Рассказывал, какое удивительно трогательное впечатление произвела на него детская железная дорога. Рассказывал интересно и много.

В общих чертах и я ему рассказала, что происходило здесь.

По театру уже ходят слухи, что Орлов ухаживает за мной. Ему говорит об этом то один, то другой.

Меня же сегодня очень настойчиво расспрашивал Белокуров, кого из мужчин в театре я считаю интересными и старательно подводил к фамилии Орлова — я же чувствую. <…>

В. А. говорит, Качалову тоже рассказали уже. Вот ведь, что значит театр!

<…>

12 декабря 1939 года

На «Яровой» долго сидела у Вацлава Викентиевича [Протасевича] в кабинете. Разговаривали о гипнозе и о прочих глубокомысленных вещах — в пользу бедных. Уже перед тем, как мне идти гримироваться, меня позвали к телефону — звонил Веня с 4 этажа. Узнав об этом, Вацлав заявил, что ему это не нравится, что «это» не для меня, что давно уже заметил, что женщина всегда или опускается или поднимается до уровня близкого ей мужчины, но когда это делает мужчина, то это неправильно.

Мне стало обидно за Веню <…>.

На «Талантах» Орлова почти не видела — не старалась видеть. Разговаривала с Кудрявцевым. С Белокуровым только поздоровалась. Он же, как мне кажется, немного показно сидел всё время с Михеевой.

<…>

14 декабря 1939 года

<…> Репетиции «Синей птицы» идут на сцене. А мне нравится моё Молоко. Я, пожалуй, в «Синей» кроме него никого и не хотела бы играть.

<…>

21 декабря 1939 года

Сегодня день рождения Сталина. Степанова А. И. пошла на празднование. Красива была очень.

<…>

Сегодня играл Добронравов.

Вася рассказал мне следующее: когда он разгримировался, к нему подошёл Добронравов и сказал: «Мне пожаловалось Иванова, что ты не даёшь ей прохода, что как зав. уч. частью и т.д.». На вопрос Васи, когда она тебе сказала это», — он сказал: «Это неважно». Вася говорит, что всё было сказано на полном серьёзе. Каково! Розыгрыш Васятика? Но с какой целью? Васька говорит, что кокетничая с ним, я задела-таки его сердце. Но мне кажется, что это не так — какой-то интерес, может быть, я для него и представляю, ну вот он и решил позабавиться.

<…> Вася задумывался сегодня о Добронравове. Потом сказал: «А, пусть говорят, что хотят!». Вот.

22 декабря 1939 года

Был просмотр «Трудового хлеба». Очень понравились Зюмка [Ауэрбах] и Валя Дементьева. Люся Варзер, кажется, хороша, но не до конца. Боюсь, что она мне не может нравится совсем только из-за того, что мне где-то завидно. Надо провернуть себя. Интересно, что скажет В. А. Аплодировали много и долго. Но Немирович ещё не смотрел.

<…>

Новенькая Ирочка Бейнар — славная девочка. Вот у неё никогда не будет всяких этих сомнений, которыми я мучаюсь — я знаю.

<…>

27 декабря 1939 года

Вчера ничего не записала — как-то устала. Сегодня нехорошо на душе. В первый раз была на суде. Каничевян подал в суд на Чуйкову и Нину Лебедеву за клевету. Такая ерунда! Всё ложь. И всё равно суд не вскрыл её, хотя её и вскрывать было уже нечего — она сама всплыла.

В театре все безумно возмущены поведением Каничевяна. Как мелок, боже мой! Я могла бы и не ходить туда… Зюмка же мне сказала: «Что за событие, что его застали с секретаршей — да, живи он с кем хочет, вот если бы — с актрисой, тогда можно было бы говорить о подхалимстве и т.д. Вот, например, если бы сказали, что Иванова живёт с Орловым или, что я (Зюмка) — с Немировичем — тогда можно было бы возмущаться их поступками, а так» и т.д.

И Ляля мне сказала: «Ты непременно должна сказать о поведении Какичевян — Орлову». Я ничего не сказала им обеим.

<…>

Вчера я очень плохо спала. Видела кошмарный сон: мы с В. А. идём по какому-то помещению, в котором много дверей и коридоров, и я время от времени вижу пожилую, седую женщину, внимательно на меня смотрящую. И, наконец, при выходе из помещения, она останавливает нас и говорит: «Василий! Я всё могла предположить, но она ведь девчонка». И я очень ясно вижу смущённое, жалкое лицо Орлова, который успел проговорить мне: «Это моя супруга».

<…>

1 января 1940 года

Здравствуй, здравствуй, Новый год! Господи, будь ты получше. 4 часа утра. Ложусь спать. Встречали втроём — папа, мама и я. Тоскливо не было! Пели, я пела одна, играла. Никаких пессимистических разглагольствований не было. Всё тихо и мирно.

Сказала, что должен приехать Вася. Его поджидали. В 3 часа папа лёг спать, а я вышла, накинув шубу на улицу. Погода прекрасная. Мороз небольшой. Снег блестит. Возвращающиеся домой люди веселы. Гуляла 20 минут. До 4 часов болтали с мамой. Она всё вспоминает Леопольда Леопольдовича.

<…>

Завтра на «Половчанские» пойду в сером платье. Может быть, буду кокетничать с Белокуровым. Если бы совсем прошёл мой лоб — кокетничала бы обязательно.

Вася сказал, что 26 — перед «Горячим» — Добронравов опять сказал ему про меня. Я увижу Добронравова, вероятно, только 5-го на «Яровой». А что если я скажу ему: «Что это вы распускаете обо мне слухи? Нехорошо». Нет, не скажу.

<…>

Тетрадь № 4

«НЕУЖЕЛИ НИКТО МЕНЯ НЕ ПОЛЮБИТ?»

<…>

26 декабря 1940 года

Сегодня на моих глазах вывесили распределение ролей в «Пушкине». Первой стоит Наталия Николаевна — К.Н. Иванова. Просто глазам своим не верю. И чувство радости, и чувство страха, удивления, восторга, печали и тревоги — всё смешалось сейчас во мне.

Хочется работать — вот основное. В театре я именинница: все поздравляют.

Даже Телешева Е.С., Тихомирова, ребята все целуют, Вася прислал записочку. Даже Максимов и Галина курьерша поздравили меня. Что-то будет? Что я сумею раскопать в себе?

Добронравов изумительно играл Фёдора. Что делается во мне? Вот что такое театральная жизнь.

<…>

22 мая 1941 года

Сегодня папкины именины. День прошёл совсем без Васи. Но, конечно, в мыслях о нём. Мысли не очень радостны. Он не звонил. Мне трудно, но что поделаешь. Вчера вечером Малолетков удавился (Малолетков Б.С. — актёр МХАТа с 1922–1941 гг. — *В.Б.*). Дома, в своей уборной, на согнутых коленях. У него было три семьи.

<…>

1943 год. 1 февраля

Ул. Горького, д. 6, кв. 12
Квартира Михальского.

«Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их; ибо если упадёт один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадёт, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться?

И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, не скоро порвётся».

Книга Экклезиаста сына Давидова. Библия

Когда случается с тобой несчастье, ты только тогда осознаёшь, что ты один, одинок. Глупо. Ведь понять это можно и в другое время. Я одна. Мама умерла. Папы нет. С Василием же (перечитывала эту тетрадочку) всё то же, что было в 40-м году, то и теперь, спустя три года. До странности

ничего не изменилось. Удивительно, как может долго затягиваться роман. Боюсь утверждать, да и не хочу этого, но кажется, в наших отношениях появилась всё-таки трещина. Быть может, я несправедлива и независимо от своей воли вымещаю на наших с ним отношениях горечь театрального удара? Да, это, наверное, даже так. Но что из того? Моё несчастье помогает мне сейчас взглянуть на всё открытыми глазами, только и всего.

<…>

Неужели никто меня не полюбит? Никто не захочет соединиться со мной?

Ужасно мне. Плохо.

Завтра в 11 часов утра [репетиция]. А я одна, и никто меня не перекрестит перед тем, как я пойду завтра туда. Как любит Вася бросаться фразами: «Я пойду выскажу им свою точку зрения, откажусь играть Никиту». Следующая уже: «Я буду играть Никиту, т.к. знаю, что ты будешь участвовать в этом же спектакле». Суета сует.

Будет играть и будет невольно помогать Станицыну. И всё это правильно, но нужно уметь сознаваться во всём.

4 февраля 1943 года

Да, жесток театр, жестокие люди в театре. Но урок был полезным. Был. Да, я уже оправилась. Конечно, всякое напоминание больно, но во многом находишь успокоение. Очень помогает общее, почти единодушное, кроме Еремеева и некоторых девушек женщин возмущение случившимся.

Помогает положительное отношение ко мне Москвина, как сказали мне Федя и Ваня. <…>

Говорят, будто мне дадут Свет в «Синей птице». Это хорошо было бы по двум причинам: первая и главная — будет работа, вторая мелкая — это была бы невольная отместка Еремееву. Фу, какая я мелочь…

<…>

26 апреля 1943 года

Вчера половина четвёртого утра умер Вл. Ив. Немирович-Данченко. Сегодня целый день был открыт доступ к телу. Я всё говорила, что не люблю его. Бог меня знает. Но это был мудрый человек. Он ушёл и нет ему подобного…

Федя огорчил сильно. Ночью 25-го плакал невероятно пьяными, но искренними слезами. Вася скорее потрясён, чем огорчён.

<…>

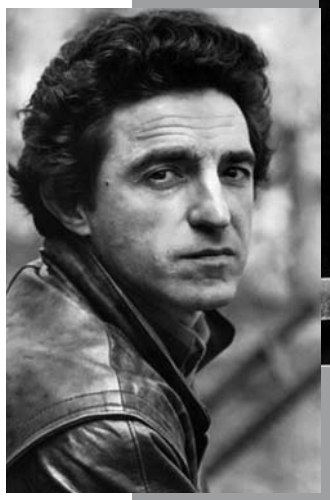
24-го я сыграла Натали. Волнения мои до этого события и в течении оного не поддаются описанию. Степанова была больна. Мне назначили репетицию. Но затем она позвонила, что играть, вероятно, сможет. Я уже решила, что играть мне не придётся. Но тут внезапно заменили в филиале «Вишнёвый» «Дядюшкиным сном», и Ангелине Осиповне пришлось играть Зиночку. Представляю себе её огорчение. Но у меня она поиграла на нервах.

Кроме того, была я сильно осипшая. Играла, вернее, говорила с трудом. Но всё-таки какой это был праздник! Я получила столько подарков, скольких никогда в жизни не думала получить. Мне даже стало страшно от того, что меня так вдруг забаловали.

А ночью узнала, что умер Владимир Иванович. Вася, Вася! Скорее бы вместе. Он страшно нервен последнее время и ревнив. Ревнует к Юре Леонидову. Понимаю его умом, а душою нет. Мне кажется, он должен чувствовать, что царит во мне он, хотя вот иной раз замучиваюсь, так он вдруг становится каменный, сухой, упрямый.

Завтра, Прудкин сказал мне, буду опять играть «Пушкина». Хочу, чтобы на этот раз не мешал голос.

Господи! Неужели же мне удалось начать играть эту роль! Не верится, совсем не верится.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ЭПИЛОГ

Виктор Гвоздицкий о Кире Головко

— Мне кажется, скоро всем станет ясно: экзерсисы и «авангард» современной режиссуры могут выполнить только очень старые артисты, время которых кончается или уже кончилось, которые видели и это…

С этими замечательными «стариками» мне много пришлось работать (в этом — моё счастье, важнейшая удача моей профессиональной жизни!), и никогда я в них не видел растерянности от сложной, рискованной или слишком современно сформулированной постановщиком задачи.

Недоумение иногда возникало, но оно не касалось того, как исполнить. Недоумение было связано с вопросом: «для чего?» А «как» — это они знали. Как старая слива живёт? Очень просто! Сначала слива цветёт, подманивает пчёл, потом покрывается плодами, потом плоды наливаются соком и сладостью… Абсолютно всё понятно.

Да ведь и вправду процесс актёрской работы всегда один и тот же: сначала — услышать режиссёра, потом — придумать, найти, нафантазировать подробности, сделать всё своим и по-живому реализовать — очень просто. Почти одномерно.

А вот для чего? — это уже вопрос к режиссёру. Но задать его нельзя. Ибо такой вопрос — почти оскорбление. Старые артисты это всегда понимали. И не задавали.

Просто они всегда и всё делали. Не смущаясь, принимая диковинные термины, аккуратно надевая репетиционные сюртуки и жилеты, а также накрахмаленные нижние юбки… О, эти семь рядов оборок на репетиционных юбках! Они, вероятно, всегда спасали своей незыблемостью (именно семь! всегда семь!). Берегли понятия «труд», «процесс», «вера»… В каких бы то ни было обстоятельствах.

Обстоятельств закулисной жизни старого Художественного театра я почти не знаю. Понимаю, что они, эти «какие бы то ни было обстоятельства», ох как существовали! Да и нет на свете настоящего театра без прихватов, уклонов, защит и интриг… Перечислять можно ещё очень долго, и всего не перечислить.

Кира Николаевна Головко про тот Художественный театр знает всё. Если бы я встретился с нею в работе в первый мой мхатовский год, я сегодня понимал бы про театр гораздо больше, чем понимаю теперь, поработав в Художественном театре достаточное количество лет. Вопросы, шелестевшие за спиной: «Как его фамилия? Гвоздицын? Почему он так странно себя ведёт?» — не застали бы врасплох. «Вести себя» — то есть здороваться, вставать в присутствии женщины, пропускать её вперёд и т.д. — меня научили давно, в акимовской Комедии, там тоже всё было весьма разнообразно, и даже не надо было путать фамилию.

Входить во МХАТ было трудно, а мудрейшей Киры Николаевны в труппе в то время не было. Она вернулась позже.

Впрочем, «не было», «вернулась» — всё это неточные слова! Головко, конечно, была. Но мы не встречались, как годами не встречаются артисты больших русских театров.

Я знаю о ней довольно много. Видел, подробно помнил её роли в кино, конечно, знал, что она — народная артистка, что главное в её жизни — тот, старый МХАТ с Немировичем и великими «стариками» первого поколения… Слышал, что Кира Николаевна никогда не боялась крутых поворотов судьбы, что у неё есть дочь Наташа и внук Кирилл и что оба они — актёры…

С фотографий из старых мхатовских буклетов глядела на меня изумительно красивая, юная Кира Иванова, которую сначала то принимали в труппу, то не принимали… Натали Пушкина — из булгаковских «Последних дней». Иванова — с ударением на «а» — по-дворянски! Как чеховский «Иванов», Вячеслав Иванов, Георгий Иванов…

Теперь, когда мы с ней в добрых отношениях, когда я (странно даже поверить в это!) слышу её голос в телефонной трубке, я думаю о её легендарной судьбе, о её муже — замечательном военном, адмирале Головко. И ещё думаю о том, как она произносит русские гласные!

Просто утраченная речь!

Речь графини Ростовой.

Не могу не вспомнить «Войну и мир» Сергея Бондарчука. Там ведь с Головко связано одно из актёрских чудес этой экранизации! Что мы можем сказать о графине Ростовой из толстовского романа? Пожалуй, только то,

что она мать. Всё остальное само собой разумеется: происхождение, воспитание, мировоззрение. Лев Николаевич всё это в подробностях знал и никак специально не описывал. Но сыграть-то это надо! И происхождение, и воспитание, и мировоззрение. Причём так сыграть, чтобы всё было само собой разумеющимся! Как цветение старой сливы и созревание плодов.

Именно так и играет Головко.

В ряду изумительных старых артистов, которые просто вобрали в свои фигуры и лица, растворили в себе характеры толстовских героев, Кира Николаевна занимает своё почётное место. А ряд-то какой! Дух захватывает. Кторов! Станицын! Смирнов! Тяпкина! Захава! Половикова! Степанова! Борисов!

И такая она там живая и «сама собою разумеющаяся», что иной уже графиню Ростову себе и не представляешь. Просто мать. И никогда не забыть её отчаянный крик «Петя! Петя!..» — крик матери, потерявшей сына, и её обезумевшее запрокинутое лицо… судорожно сжатые руки…

Впрочем, удивляться тут нечему. Ивановы Серебряного века могли подарить театру настоящую и единственную графиню Ростову, притом наделённую подлинным литературным даром… В телефонных наших разговорах я всегда отмечаю её деликатную жадность к общению, всегда слышу поразительно мощные формулировки.

…Ефремов в последние недели своей жизни говорил на репетициях «Сирано» об артистах натуры. Нет ничего важнее в театре, чем достоверная природа актёра, та самая «натура», о которой мечтал Станиславский, приглашавший иной раз в труппу людей вовсе без театральной школы. Классический пример — Стахович.

«А у нас, артистов, натуры нет, — каждый раз заключал Олег Николаевич. — Всё больше каботинаж…»

Как-то особенно звучало в его устах это французского слово, как и «сосьетер» — другое слово, тоже французское, которое он также произносил тогда часто. Хотел использовать опыт «Комеди Франсез». Видимо, мучился оттого, что дела во МХАТе шли как-то не так. Может быть, ему что-то и удалось бы сделать, если бы он ещё немножко пожил… Ему всегда всё удавалось. Но я отвлёкся.

Когда Ефремов говорил об артистах натуры, я вспомнил тогда совсем ещё недавнюю премьеру спектакля «И свет во тьме светит…» по Толстому в постановке Вячеслава Долгачёва.

Спектакль был хороший — классический и строгий. Классическая декорация Кочергина. Классическая музыка Каравайчука. Инна Габай

сделала костюмы, идеально соединявшиеся с оформлением и звукорядом. Борис Щербаков играл главную роль легко, стремительно, странно, совсем не стремясь походить на Льва Николаевича и при этом ничего не пропуская — ни одного оттенка.

Спектакль этот хотелось разглядывать и обдумывать. Он был сделан в законах старого МХАТа — в меланхолических ритмах с убыстрениями, с настоящими ребятишками в фижмах, бантиках и лакированных башмачках. Алена Хованская по-настоящему музицировала за роялем, успевая при этом изящно вести свою роль. Под её пальцами, казалось, оживали сверчки и цикады сцены Художественного театра. Словом, вся атрибутика была на своих местах.

И был в спектакле момент остановки, когда всё замерло, а потом пошло, как «в рапиде». Выход Киры Николаевны Головко. Выход царский! Бархат платья, изумляющая стать, безукоризненного вкуса бижутерия, в которой понимали толк великие актрисы МХАТа, чеканная лепка фраз — французских, русских… Те самые «долгие гласные»…

…Вот это и есть «натура» — актёрская подлинность, манившая Немировича, Станиславского, Ефремова… Тогда я постеснялся сказать слова восхищения, выразить свой восторг игрой знаменитой актрисы.

И прошли годы.

Возвращение Киры Николаевны во МХАТ было и радостным, и грустным. Уж слишком долгой была пауза!

Вновь пригласил её в труппу Олег Павлович Табаков, усадив Головко в первый ряд на очередном сборе труппы, когда традиционно гремит марш из «Трёх сестёр» Немировича-Данченко, спектакля, в котором она играла когда-то Ольгу Прозорову. Спасибо Олегу Павловичу за это! (И снова вспоминается «Война и мир», где Головко была его матерью — матерью Николушки Ростова.)

И вот теперь — «Учитель словесности». Сочинение Валерия Семеновского на темы Фёдора Сологуба. В спектакле Николая Шейко Кира Николаевна играет Коковкину. С рассказа об этой её роли я хотел начать, написав, что уходящее поколение может всё. Но просто так, сразу, «с ходу» начать не смог…

Мне опять (и в который раз!) неслыханно повезло. В нехорошие времена «чёрного театра» я каждое утро видел приходящую на репетицию Головко — Коковкину, и мне казалось, что я — в том, старом МХАТе…

Надобно отметить, что если прежде время вызова артистов на репетицию было с 11.00 до 15.00, а на спектакль — с 18.45, то теперь этого

рабочего времени в определённых рамках вообще не существует. Это, конечно, возмущает мхатовских артистов всех поколений.

Кроме старшего.

Кира Николаевна являлась на репетицию в любое время суток — раньше всех! Захватив с собой горячий кофе в термосе, деревенские крутые яйца и «улыбку от Немировича». А также полное и безукоризненное знание текста.

Всё это растворялось в самой первой пробе Головко. Хотя я и слышал от неё: «Я этого никогда не смогу…», «Совсем ничего не понимаю…», «Какое я имею к этому отношение?..» Все эти бесконечно мною любимые выражения театральных «стариков», которые на самом деле могут и понимают всё!

Захватывал живой процесс её работы, те самые «творческие муки», которые восхищали сразу и всех! После её сцен звенел колокольчик — «отбивка», точка, сигнал к аплодисментам… Но колокольчик был не нужен, ибо аплодисменты возникали сами, как возникают они и теперь, когда спектакль идёт.

Если говорить о сути её пребывания в роли, то оно совсем не старинное. Вовсе не «под колокольчик»! Все слова, которые она произносит в спектакле (в основном слова «моралите»), соединяются для меня с чувством мастерства этой актрисы. Она глубинно понимает всё, что делает на сцене. В репликах госпожи Коковкиной она успевает существовать столь тратно, что только диву даёшься! Стиль настоящего театра, во многом ушедший. Печально…

Я глубоко отношусь к этому спектаклю. Он очень трудный и, можно сказать, «неиграбельный». Пьеса «Учитель словесности» написана Валерием Семеновским с использованием всего богатства русской литературы «досологубовских» эпох и всего горького опыта русской жизни эпох «послесологубовских».

И, наверное, роман «Мелкий бес» несколько согнут, подтянут и расширен — «под сегодняшний день». Это всё нелегко исполнять, хотя давно известно: «Классическая пьеса — это пьеса о прошлом, написанная сегодня».

Но присутствие в спектакле Киры Николаевны Головко зачёркивает «ассоциативность и злободневность» и всё возвращает к «натуре».

И возникает живой Фёдор Сологуб (Тетерников), которого Зинаида Гиппиус ставила выше Андрея Белого и Блока. Несчастный сложный человек с парадоксальными проявлениями <…>.

Кира Николаевна Головко была для меня в этой работе идеальным товарищем, помогавшим, чем возможно, при всех каких бы то ни было обстоятельствах…

И — на прощание.

Совсем недавно — под девятое мая — смотрел я (наверное, уже в сотый раз!) удивительный фильм Петра Наумовича Фоменко «На всю оставшуюся жизнь» по «Спутникам» Веры Пановой. В первой серии к главному врачу санитарного поезда (его играет Эрнст Романов) приходят его жена и дочь. Тесное купе. Романов — тогда ещё молодой — загримирован и заклеен, как только возможно. Грим хороший, но видно, что грим. Играет тоже хорошо, хотя видно, что играет…

А рядом — дама в белой соломенной шляпке. И не в гриме, и не играет ничего. Просто она — оттуда. Из страшного лета 1941 года. Лица почти не видно. Только глаза.

Прощающиеся.

Насовсем.

Навсегда.

Кира Николаевна Головко.

Она думает, что его убьют, и отчаянно боится так думать. Поэтому говорит о чём-то незначительном — спокойно, приветливо, чуть светски.

А в последней серии окажется, что погибла она. Нелепо и страшно — под развалинами разбомбленного дома…

Конец.

Когда я говорил о своих впечатлениях, Кира Николаевна удивлялась: «Неужели вы это заметили? И так запомнили… Ведь эпизод такой маленький!»

Да. Небольшой эпизод. А запоминается на всю жизнь.

На всю оставшуюся жизнь.

Из книги «Последние». М., 2007

РОЛИ В ТЕАТРЕ И КИНО

Московский Художественный театр

1938

Эпизодическая роль — «Враги» М. Горький
Эпизодическая роль — «Воскресенье» Л. Толстого
Ряженая и шумы за сценой — «Три сестры» А. Чехова

1939

30 октября. Кельнерша — «Пиквикский клуб» Ч. Диккенса
4 декабря. Служанка в доме Оргона — «Тартюф» Мольера

1940

12 апреля. Молоко — «Синяя птица» М. Метерлинка

1941

17 декабря. Модистка. «Школа злословия» Р. Шеридана
17 декабря. Горничная леди Тизл. «Школа злословия» Р. Шеридана

1942

15 января. Наташа — «На дне» М. Горького

1943

24 апреля. Натали Пушкина — «Последние дни» М. Булгакова

1944

18 апреля. Княжна Мстиславская — «Царь Фёдор Иоаннович» А.К. Толстого
30 апреля. Губернаторская дочка — «Мёртвые души» М. Булгакова (по Гоголю)

1945

25 марта. Параша — «Горячее сердце» А. Островского

1946

16 июня. Анна Вяземская — «Трудные годы» А.Н. Толстого

1948

6 мая. Аксюша — «Лес» А. Островского

1950

23 февраля. Лиза — «Илья Головин» С. Михалкова
19 марта. Свет — «Синяя птица» М. Метерлинка

Калининградский областной драматический театр

1953–1957

Мария Стюарт — «Мария Стюарт» Ф. Шиллера
Белиса — «Хитроумная влюблённая» Лопе де Веги
Мария Ульянова — «Семья» И. Попова
Юлия Тугина — «Последняя жертва» А. Островского
Фосфорическая женщина — «Баня» В. Маяковского
Донья Беатриса — «С любовью не шутят» П. Кальдерона
Мария Михайловна — «Одна» С. Алёшина
Маргрэт Чалмэрс — «Кража» Д. Лондона
Александра — «Деньги» А. Софронова
Елена — «Накануне» по И. Тургеневу
Линда — «Смерть коммивояжёра» А. Миллера

Московский Художественный театр

1957

22 марта. Долли — «Анна Каренина» Л. Толстого
28 мая. Юлия Тугина — «Последняя жертва» А. Островского

1958

13 апреля. Ольга — «Три сестры» А. Чехова

1959

16 июня. Ася Давыдовна — «Всё остаётся людям» С. Алёшина
25 сентября. Ирина — «Третья патетическая» Н. Погодина
6 октября. Мария Стюарт — «Мария Стюарт» Ф. Шиллера

1960

17 марта. Линда — «Смерть коммивояжёра» А. Миллера
21 декабря Либуше — «Дом, где мы родились» П. Когоута

1963

21 мая. Татьяна — «Друзья и годы» Л. Зорина

1964

21 ноября. Галина Фёдоровна Успенская — «Три долгих дня» Г. Беленького

1965

29 декабря. Вдова — «Дон-Кихот ведёт бой» В. Коростылёва

1966

15 июня. Лиза Коваленко — «Вдовец» А. Штейна

1968

12 апреля. Лариса Лукинична — «Тяжкое обвинение» Л. Шейнина

1969

29 октября. Софья — «Чти отца своего» В. Лаврентьева

1971

12 декабря. Анжелика — «Потусторонние встречи» Л. Гинзбурга

1973

24 мая. Турусина — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского

27 ноября. Катерина — «Долги наши» Э. Володарского

1975

2 апреля. Полина Ивановна — «Последний шанс» В. Быкова

20 декабря. Полина — «Враги» М. Горького

1977

7 марта. Зинаида Саввишна — «Иванов» А. Чехова

1978

28 марта. Анна — «На дне» М. Горького

1979

28 марта. Старуха — «Деньги для Марии» В. Распутина

30 марта. Губернаторша — «Мёртвые души» М. Булгакова (по Гоголю)

21 июня. Бабка — «Валентин и Валентина» М. Рощина

1980

22 января. Ольга — «Три сестры» А. Чехова

1983

9 июля. Анна Кеннеди — «Мария Стюарт» Ф. Шиллера

Пульхерия Александровна Раскольникова — «Преступление и наказание» Ф. Достоевского. Дипломный спектакль студентов Школы-студии МХАТ

1984

11 января. Манефа — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского

Театр «Сфера» и антреприза

1985

Настасья Ивановна — «Театральный роман» М. Булгакова

Роль в спектакле «Перед зеркалом» В. Каверина

1989

Роль в спектакле «Доктор Живаго» по роману Б. Пастернака

Московский Художественный театр

1994

15 февраля. Асунта — «Татуированная роза» Т. Уильямса

23 марта. Дора Абрамовна — «Московский хор» Л. Петрушевской

14 апреля. Рэне — «Кабала святош» М. Булгакова

15 апреля. Г-жа Пернель — «Тартюф» Мольера

1999

5 октября. Графиня — «И свет во тьме светит» Л.Н. Толстого

2003

20 мая. Коковкина — «Учитель словесности» В. Семеновского

2004

Аделаида Брукнер — «Кошки-мышки» И. Эркеня

23 декабря. Милонова — «Лес» А. Островского

2006

20 апреля. Рэне — «Кабала святош» М. Булгакова

Роли в кино

1946

Анна Петровна Керн — «Глинка». Реж. Л. Арнштам

1947

Маша Забелина — «Свет над Россией». Реж. С. Юткевич

1948

Нина Васильевна, мама — «Первоклассница». Реж. И. Фрэз

1952

Наташа — «На дне» (фильм-спектакль)

1963

Джудит — «Теперь пусть уходит». Реж. С. Алексеев

Она — «Память поколения». Реж. М. Орлов

1964

Надежда Петровна, жена Егора Трубникова — «Председатель». Реж. А. Салтыков

1967

Мама Софьи Перовской — «Софья Перовская». Реж. Л. Арнштам

1968

Графиня Ростова — «Война и мир». Реж. С. Бондарчук

1968

Екатерина Николаевна — «Гольфстрим». Реж. В. Довгань

1969

Княгиня Приклонская — «Цветы запоздалые». Реж. А. Наль

Ольга Фёдоровна — «Строгая девушка». Л. Ишимбаева, В. Монюков

1970

Эпизодическая роль — «Расплата». Реж. Ф. Филиппов

1971

Кира Николаевна — «День за днём». Реж. В. Шиловский, Л. Ишимбаева

Берсенева — «И был вечер, и было утро». Реж. А. Салтыков

1972

Эпизодическая роль — «Меченый атом». Реж. И. Гостев

1973

Надежда Львовна — «И на Тихом океане…». Реж. Ю. Чулюкин

1975

Сонечка — «На всю оставшуюся жизнь». Реж. П. Фоменко

Мать — «Незабытая песня». Реж. Р. Батыров

1979

Мать Владика Минченко — «Верой и правдой». Реж. А. Смирнов

1981

Ольга Зубова — «Любовь моя вечная». Реж. В. Монахов

Мать — «Выигрыш одинокого коммерсанта». Реж. С. Аларкон

1986

Мамка Ксении — «Борис Годунов». Реж. С. Бондарчук

1986

Соседка — «Очная ставка». Реж. В. Кремнев

2007

Ираида Эдуардовна — «Артистка». Реж. С. Говорухин

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абакумов В.С. 141–142, 145, 213
Авдюшко В.А. 244
Акимов Н.П. 66
Акопов А.И. 7,
Аларкон С. 322
Александров Н.Г. 54
Алексеев В.С. 56
Алексеев С.П. 321
Алексеева Е.В. 51
Алексеева-Фальк К.К. 54
Алёшин С.И. 319
Аллилуева С.И. 208, 232–238
Алперс Б.В. 134
Альтман И.Л.134
Анастасьева М.В. 195
Андреев А.А. 105
Андровская О.Н. 7, 56, 63, 93–94, 128, 161, 163, 184–185, 199, 294, 300
Андроников И.Л. 225
Аникеев С.М. 273, 275
Ануй Ж. 195
Аренский А.С. 260
Арефьева Н. 264
Арнштам Л.О. 7, 143, 195, 201, 207, 209–210, 321–322
Асанов Н.А. 135
Ауэрбах Е.Б. 117, 305–306
Бабахан А.М. 189
Базарова Н.В. 185, 231
Бакланова С.И. 79-80, 126, 161, 170, 172, 175
Бакст Л.С. 74
Бар-Селла З. 7
Барсова В.В. 258
Барто А.Л. 140
Баталов П.Н. 185
Баталова З.П. 85
Баталова С.Н. 184–185
Батыров Р.И. 322
Бедный Д. (Е.А. Придворов) 108
Безыменский А.И. 41
Бейнар И.В. 305
Беленький Г.Б. 320
Белов Ю.А. 244
Белокуров В.В. 83, 134, 304, 306
Белый А. (Б.Н. Бугаев) 18, 315
Берггольц О.Ф. 228

Берёзкин Н. 267, 273–274, 285
Берия Л.П. 141
Берсенев И.Н. 201
Бетховен Л. ван 264
Бирман С.Г. 208
Блинников С.К. 83, 90–91, 249
Блок А.А. 18, 315
Богдатьева А.Г. 258, 264
Бокшанская О.С. 64, 68, 94
Болдуман М.П. 125
Большинцов М.В. 135, 184
Бондарчук С.Ф. 216–221, 312, 322
Борзенко В.В. 5
Борисов О.И. 313
Борисова Ю.К. 189
Борщаговский А.М. 134
Бояджиев Г.Н. 134
Боярский Я.О. 294
Брежнев Л.И. 179, 241
Брейтфус Р.К. 23–24
Бриллинг Н.А. 299-301
Брюллов К.П. 23–24, 96
Бубекин В.М. 43, 269–270
Бубнов А.С. 49
Булгаков М.А. 67, 73, 93, 110–111, 116, 318, 320–321
Булгакова Е.С. 101
Бурдюжа И.А. 109
Бурлак И.П. 287
Бутникова К.Я. 200, 227
Бухарин Н.И. 45
Быков В.В. 320
Варзер Л.А. 63, 305
Васильева Т.И. 231
Верёвкин М.М. 83, 85, 295–296
Вересаев В.В. 93, 170
Виктюк Р.Г. 138, 254
Виленкин В.Я. 195
Вирта Н.Е. 135
Вицин Г.М. 124
Вознесенский И.Е. 17
Вознесенский Е.И. 18
Вознесенский Н.И. 18
Володарский Э.Я. 320
Волчек Г.Б. 193
Ворошилов К.Е. 225, 227
Всеволодская-Гернгросс-Голушкевич О.В. 92–93
Вульф В.Я. 188
Габай И.В. 313
Гаспарини Б.Л. 15, 17, 24-26
Гаспарини Л.Л. 15, 16, 17, 306
Гаспарини Н.Л. 10, 15, 16, 17, 24, 26–27, 29–30, 32–33, 140, 144, 149–150, 210, 262
Гауптман Г. 169
Гвоздицкий В.В. 310
Геловани М.Г. 211
Гинзбург Л.В. 320
Гиппиус З.Н. 315
Гитлер А. 90
Глинка М.И. 260
Говорухин С.С. 322
Гоголева Е.Н. 217
Гоголь Н.В. 320
Головко А.Г. 7, 143–146, 148–161, 163, 165–168, 170–175, 177–179, 181–182, 186-188, 193, 197, 203–204, 210, 222–225, 227–233, 238–242, 312
Головко М.А. 7, 148–149, 151, 158–159, 166, 177–178, 240
Головко Н.А. 145, 156, 159, 166, 178, 224, 240, 312
Голуб М.А. 243
Голубовский Б.Г. 131
Голынкин Е.А. 145
Гольденвейзер А.Б. 64
Гольдони К. 281
Горская Н.В. 143–144, 152, 225
Горчаков Н.М. 93, 105
Горшков Г.Г. 182
Горький А.М. 80, 131, 170, 286, 304, 318, 320
Горюнов А.О. 261
Горюнов М.А. 202
Гостев И.А. 322
Гошева И.П. 66–67
Гремиславский Я.И. 70, 96
Грибков В.В. 83, 109
Грибов А.Н. 82–83, 111, 204–205, 300
Грибунин В.Ф. 55
Губанов Л.И. 79
Губанова И.И. 220
Гудзенко С.П. 49
Гуляева Н.И. 195–197, 201–202
Гуськов А.Г. 243
Давыдов В.С. 62, 198
Дальский М.В. 129
Дементьева В.А. 91, 305
Десницкий С.Г. 254
Дикий А.Д. 208
Диккенс Ч. 318
Дмитриев В.В. 62, 104–105, 249
Дмитриев И.Б. 80
Добржанская Л.И. 211, 217
Добронравов Б.Г. 62–63, 83, 88, 174, 285, 295–297, 299–301, 303, 305–307
Добужинский М.В. 74
Довгань В.З. 322
Долгачёв В.В. 313
Дорлиак Н.Л. 125
Доронина Т.В. 132
Дорохин Н.И. 83
Дорохина Т.И. 300
Достоевский Ф.М. 320
Дункан А. 98
Евстигнеев Е.А. 132, 193
Евтушенко Е.А. 168
Егиозаров Г.Г. 145
Егорова Н.С. 243
Ежов Н.И. 105
Езепов В.И. 243
Еланская К.Н. 63, 128, 205, 293
Еремеев Л.Ф. 308
Ершов В.Л. 94–96, 200, 249, 293
Ефремов О.Н. 191, 193–194, 253–254, 313–314
Жданов Ю.А. 233-237
Жуков Г.К. 175, 177–179
Жуковская Е.Ю. 234, 289
Журавлёва М.М. 270
Завадский Ю.А. 201
Захава Б.Е. 313
Захаров М.А. 245
Захаров М.В. 229
Захаров Н.В. 137
Защипина Н.А. 213
Звенигородский А.В. 184
Золотовицкий И.Я. 243, 246
Зорин Л.Г. 319
Зуева А.П. 56, 182, 223, 294
Иванов С.И. 64
Иванов В..И. 7, 17–19, 312
Иванов Г.В. 312
Иванов Н.Е. 15, 18, 21–23, 33
Иверов А.Л. 66, 103, 161
Игнатьев А.А. 192
Ильинский С.Д. 269-270
Ильинский И.В. 250–251, 293
Ишимбаева Л.С. 322

Каверин В.А. 321
Каганович Л.М. 148, 202
Калинина В.В. 168
Калиновская Г.И. 92
Калужский Е.В. 285-286
Кальдерон П. 319
Калягин А.А. 132
Каравайчук О.Н. 313
Караченцов Н.П. 168, 243, 245
Карев А.М. 128
Касаткин А.И. 68-69
Качалов В.И. 55–56, 58–59, 62, 64, 69, 80, 83, 94, 106, 174, 228, 292–298, 304
Кваша И.В. 193, 225
Кедров М.Н. 128–129, 135, 184–187, 291, 303
Киндинов Е.А. 243
Киндинова Г.М. 252
Киппервар А.Г. 64
Кириллин В.В. 122
Кнебель М.О. 119, 138, 184
Книппер А.К. 79
Книппер Л.К. 125
Книппер-Чехова О.Л. 7, 53, 79–80, 89, 97, 106, 119, 125–126, 132, 161, 168–175, 265, 272
Князев Л.С. 83, 285, 294, 296
Кобылина Е.А. 11, 13
Ковалёва М.Ф. 148
Коган П.Д. 48–49
Когоут П. 195, 197–198, 237, 319
Козин В.А. 45
Козловский И.С. 134, 266
Козырева Е.Н. 212
Комаров В.Л. 41
Комиссаржевская В.Ф. 286
Комолова А.М. 254
Конский Г.Г. 116
Коренева Л.М. 72–74, 88, 99, 102, 105, 291, 301
Корогодский З.Я. 164–165
Коростылёв В.Н. 320
Коршунов А.В. 243
Кочергин Э.С. 313
Кравченко Г.С. 217–218
Кремнев В.И. 322
Криницкая Ю. 250, 266–268, 273–277, 281–282, 288, 290, 297–298
Крупская Н.К. 49
Крылов И.А. 52
Крючков Н.А. 212
Кторов А.П. 94, 127–128, 167–168, 313
Кудрявцев И.М. 52, 80–83, 304
Кузина К. 33–34
Кузичева А.П. 7,
Кузнецов Н.Г. 151-152
Кульчицкий М.В. 49
Куприн А.И. 170
Кутузов М.И. 91
Лабзина О.Н. 185, 231
Лавренёв Б.А. 135
Лаврентьев В.В. 320
Лакшин В.Я. 7, 101, 171
Ламанова Н.П. 75–79
Лангваген В.В. 13, 15, 24
Лангваген В.Я. 15, 23–24
Лангваген Е.А. 9, 13
Лангваген Н.В. 15, 21–23, 143, 260
Ларгин П.С. 93
Ларина К.А. 7
Лебедева Н.С. 91, 94, 101, 298, 305
Лебедева Е.Я. 152
Левитан И.И. 290

Левитанский Ю.Д. 49, 280
Лемешев С.Я. 45, 259, 266, 281–283, 285, 288–289, 296
Ленин В.И. 41-42, 45, 49
Ленникова Т.И. 83, 199, 213
Леонидов Л.М. 69, 80, 106
Леонидов Ю.Л. 79, 101, 126, 144, 281, 309
Леонов Л.М. 225
Лермонтов М.Ю. 276
Лесли П.В. 300
Лессинг Г.Э. 134
Ливанов Б.Н. 81–83, 109, 111, 183, 202, 281–282, 284–285, 292, 296
Лилина М.П. 64, 97–99
Лисина Е.Г. 35
Литовцева Н.Н. 67, 75, 83
Лозинский М.Л. 164
Лондон Д. 319
Лопе де Вега 319
Люстгартен К. 260, 273
Майоров Н.П. 48–49
Максимова А.М. 51
Малолетков Б.С. 307
Мальцев Е.Ю. 135
Малюгин Л.А.134
Марков П.А. 106, 184, 295
Массальский П.В. 52–53, 56, 71–72, 94, 96, 200, 291, 292, 299
Машков В.Л. 243
Маяковский В.В. 109–110, 259, 319
Мейерхольд Вс.Э. 70, 250, 252
Меркулова Т. 88, 258–259, 266, 267, 272–274, 282–283
Метерлинк М. 318–319
Микоян А.И. 179, 265
Миллер А. 195, 319
Мирошниченко И.П. 254
Михайлов Г.К. 23
Михалков С.В. 135, 225, 227, 319
Михальский Ф.Н. 20, 37, 55, 100–103, 108, 138, 173, 295, 307–308
Михеева Т.Е. 63, 117, 303–304
Михоэлс С.М. 141
Мозалевский С.А. 192
Молчанова Р.Н. 183
Мольер Ж.-Б. 72, 318, 321
Моммзен Т. 18
Монахов Н.Ф. 282
Монахов В.В. 322
Монюков В.К. 186–187, 195–197, 240, 243–247, 322
Мопассан Г. де 286
Мордвинов Б.А. 62
Мордюкова Н.В. 215–216
Морес Е.Н. 13, 94
Москвин И.М. 52, 56, 69, 88–90, 101, 129, 132, 160, 174, 300, 308
Моцарт В.А. 290
Муравьев В.Н. 83, 120
Мухина В.И. 78
Наль А.М. 322
Наполеон I Бонапарт 91
Невинный В.В.
Невинный В.М. 201–204
Нежный В.И. 108, 142, 144
Немирович-Данченко В.И. 7, 53, 56, 61–62, 64–69, 70, 73, 78, 85, 87, 89, 91, 94, 95, 103, 106, 108, 110, 127, 160, 192, 255, 263, 272, 290, 291, 293–294, 296, 305–306, 308–309, 312, 314–315
Николаева М.Г. 101
Никольская В.С. 218–219
Ницше Ф. 18
Новотный А. 197

Оборин Л.Н. 33, 64
Овчининская М.Н. 137–139
Ойстрах Д.Ф. 64
Орджоникидзе С. (Г.К. Орджоникидзе) 264–265
Орленев П.Н. 288–289
Орлов В.А. 53, 58, 81, 83–85, 94, 128, 137–139, 142, 145, 181, 279–280, 283–288, 290–292, 294–295, 299–305, 306–309
Орлов М.А. 321
Островский А.Н. 165, 249–250, 253, 260, 318–319, 321
Охлопков Н.П. 212
Панкова Т.П. 112, 241
Панова В.Ф. 316
Панфёров Ф.И. 182
Папанов А.Д. 133
Пастернак Б.Л. 5, 164, 223–224, 321
Пашенная В.Н. 260
Певцов И.Н. 262–264
Пенкин П.И. 43, 267–274, 278
Петрицкий А.А. 220
Петрова Е.В. 63, 117, 231, 296, 301
Петрушевская Л.С. 321
Пильняк Б.А. 225
Пилявская С.С. 79, 94, 119, 132, 173, 231, 241
Пирогов А.С. 296
Плиев И.А. 140
Плотникова В.А. см. Робинсон
Плятт Р.Я. 204
Погодин Н.Н. 210, 225, 319
Подвойская Н.Н. 237
Подвойский Н.И. 237
Половикова К.М. 210, 313
Полонская Н. (В.В.Полонская) 109, 132
Полянский Д.С. 239
Попов А.Д. 116, 119, 121
Попов В.А. 61, 89
Попов И.Ф. 319
Попова В.Н. 128
Поскрёбышев А.Н. 155
Поспелов Г.Н. 48
Постышев П.П. 265
Потёмкин Н.А. 32–33, 258, 270–272, 275, 301
Поюровский Б.М. 181
Пронин А.С. 187–188
Протасевич В.В. 58, 284, 291, 302, 304
Прудкин М.И. 183, 284, 309
Прудкина Е.И. 146, 183–184
Пушкарева Л.В. 213–214
Пушкин А.С. 40–42, 67, 139, 259
Радомысленский В.З. 192
Раевский И.М. 65, 173, 205, 245–246, 299
Распутин В.Г. 320
Рахманинов С.В. 234
Рачинская С.А. 234–235
Рихтер С.Т. 64, 125–127
Робинсон А.Н. 302
Робинсон В.А. 49, 289, 302
Розов В.С. 193
Рокоссовский К.К. 148, 177, 209
Романов Э.И. 316
Ромодина Г.В. 195
Рощин М.М. 320
Рыбников Н.Н. 255
Рыков А.И. 45, 102
Савельева Л.М. 220
Садовский П.М. 260
Салтыков А.А. 214, 216, 321–322
Сальери А. 290
Самойлов Д.С. 48–49
Санаев В.В. 83

Санаева Е.В. 83
Саричева Е.Ф. 64, 71, 96, 292, 294
Сахновский В.Г. 52, 64, 94, 101, 106, 174, 255, 287
Свердлов А.Я. 236
Свердлов Я.М. 237
Светлов М.А. 52, 109
Семеновский В.О. 314–315, 321
Сергачёв В.С. 193
Серебренников К.С. 6, 249–250, 252–253
Серова В.В. 208–210, 227
Серский К.А. 312
Симонов К.М. 135, 184, 208–209, 225, 227
Симонов Н.К. 285
Симонов Р.Н. 46, 259, 261, 265–266
Скобцева И.К. 220
Скульская Е.Ф. 131
Слуцкий Б.А. 48
Смелянский А.М. 18, 253
Смирнов Б.А. 313
Смирнов А.С. 322
Смирнов-Сокольский Н.П. 289
Соловьев В.С. 18
Сологуб Ф.К. 314
Солодовников А.В. 185, 231
Солодовникова О.В. 231
Софронов А.В. 135, 319
Сталин И.В. 40–43, 45, 49, 55–56. 91, 93, 104–105, 134, 141, 145–146, 148, 150–151, 153, 155, 159–160, 178, 191, 198, 208, 211, 225, 227, 229–230, 236, 270, 305
Станиславский К.С. 7, 35, 36–41, 51–56, 64, 70, 73, 75, 82, 87, 91, 96–97, 99, 106, 111, 128, 134–135, 165, 208, 213, 253, 263–264, 268, 271–272, 277, 283, 285, 287, 290–292, 296–297, 300, 313–314
Станицын В.Я. 72, 94–96, 105–106, 111, 125, 181, 218–219, 243, 308, 313
Стахович А.А. 313
Степанова А.И. 56, 63, 65, 67, 94–95, 106, 108, 146, 163, 189, 228, 309, 313
Суворов А.В. 91
Судакевич А.А. 143–144
Судаков И.Я. 106
Суров А.А. 135, 184
Сухаревская Л.П. 66, 87
Табаков О.П. 5, 193, 253–255, 314
Тарасова А.К. 6, 56, 63, 70, 83, 90, 92, 96, 101, 105–106, 115–117, 120, 128, 155, 164, 183, 185, 187–189, 193, 199–200, 255, 284
Тарханов М.М. 56, 69, 89, 106, 129, 132–133, 174
Телешева Е.С. 72, 75, 110, 307
Тенин Б.М. 87
Тимирязев К.А. 100
Титова М.А. 87, 186
Тихомирова Н.В. 116, 307
Толмачёва Л.М. 193–194, 218
Толстой А.К. 318
Толстой А.Н. 115–117, 319
Толстой Л.Н. 216, 313–314, 318–319, 321
Тольятти П. 146, 148
Топорков В.О. 52, 94–96, 127–129, 133–134, 249, 301
Тупик 270
Тургенев И.С. 319
Тухачевский М.Н. 272
Тырин Н.Т. 157
Тяпкина Е.А. 217, 312
Уильямс Т. 321

Уланова Г.С. 201
Ульянов М.А. 167, 202, 214–215
Успенский С.П. 62
Утёсов Л.О. 45, 108
Фадеев А.А. 227–229
Фадеев М.А. 228
Фальк К.Р. 97
Фидлер Н.В. 9
Филиппов Ф.И. 322
Филозов А.Л. 243
Фоменко П.Н. 316, 322
Фон-Мекк Н.Ф. 287
Фрэз И.А. 140–141, 321
Хавчин А.В. 7
Хазанов Г.В. 203
Хеллман Л. 195
Хмелёв Н.П. 35, 40, 46, 56, 63, 65, 68, 89, 94, 101, 104, 111, 115–117, 119–124, 137, 264, 267–268, 282
Хованская А.В. 314
Холодов Е.Г. 134
Хромова Е.А. 185
Хрущёв Н.С. 160, 175, 202, 239, 241
Царёв М.И. 112–113
Целибеев Г.Ф. 24
Целиковская Л.В. 158–159
Церетели Л.Л. 43, 46
Чайковская А.П. 101
Чайковский П.И. 287
Чаплин Ч. 227
Чебан А.И. 89
Чен И. 210
Чёрная Л.С. 124
Чернов П.Г. 101, 126
Чехов А.П. 169, 173, 175, 271, 275–276, 286, 290, 318–320
Чехова М.П. 168–170
Чиаурели М.Э. 135, 184
Чирков Б.П. 143–144, 207
Чуйкова Е.К. 305
Чуковский К.И. 223–225
Чулюкин Ю.С. 322
Шагал М.З. 139
Шаломытова А.М. 64
Шаляпин Ф.И. 287
Шварц Е.Л. 140
Шверубович В.В. 83, 122–123, 228, 293
Шевченко Ф.В. 113, 249
Шейко Н.М. 6, 314
Шейнин Л.Р. 320
Шекспир В. 134, 261
Шеленков А.В. 210
Шеридан Р.Б. 318
Шиллер Ф. 158, 319–320
Шиловский В.Н. 322
Шмидт О.Ю. 269-270
Шостко Г.П. 63, 117, 231
Штейн А.П. 225, 320
Штеменко С.М. 186–187
Шукшин В.М. 213–214
Щербаков А.С. 105–106
Щербаков Б. 314
Эйзенштейн С.М. 110
Эркень И. 321
Этуш В.А. 215
Юзовский Ю.И. 134
Юнгер Е.В. 66
Юрьева А.В. 152, 203
Юрьева И.Д. 45
Юткевич С. 210–211, 321
Яков В.В. 7
Яковлев М.Д. 233
Яншин М.М. 83, 93, 140, 174
Яхонтов 259

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вместо предисловия 5

ГЛАВА 1
РОДИТЬСЯ В 1919

Меня никогда не били ремнём 9
Коробка с клоунами 11
Папа не любил большевиков 14
Знаменитый родственник 17
Мама не дожила до войны 18
Брюллов хвалил портрет моей прабабушки 23
Я впервые влюбилась 25

ГЛАВА 2
В МОСКВУ! В МОСКВУ!..

«Кирасин», китайцы и трамваи 29
«Вы несправедливы к своей дочери» 32
«Константин Сергеевич! В этом письме совершенно нет лжи» 36
Пушкин как революционер 40
Церетели предупреждал об опасности 43
«Кто бывает у вас дома?» 46

ГЛАВА 3
ТЕБЯ ПРИНЯЛИ!

Басня «Лиса и Гренада» 51
Осиротевший театр 53
А навстречу мне шёл Качалов… 58

ГЛАВА 4
ЗА СЦЕНОЙ И НА СЦЕНЕ

В роли шума и пожара 61
«Когда Вы станете большой актрисой…» 64
«Прекратите безобразие, не то я вас матом покрою!» 68
«Распутство и пьянство надо выжигать» 74
«Уберите от меня эту девку!» 75
Зачем я понадобилась великой актрисе? 78
«Я за всё уплачу» 80
«Мне нечего с вами делать!» 83

ГЛАВА 5
В ГОДЫ ВОЙНЫ

Гастроли под бомбами 87
Легендарная Куня 92
Между Пушкиным и Булгаковым 93
«Где спала Ваша героиня?» 96
Герой «Театрально романа» 100
В ложе сидел Сталин 104
Пирожки для победителей 106

ГЛАВА 6
МНОГОЛИКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

«Зачем ты обижаешь великого артиста?» 115
«Коля перестал дышать» 122
Можно, я уколю вас в ногу? 125
«Идёт ваш Кторов — носом воздух разрезает» 127
«Мы подкидыши! Приюта просим…» 128
«Дух Станиславского покинул стены МХАТа» 134

ГЛАВА 7
И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ…

Золотые червонцы для обручальных колец 137
«Ты в старых девах хочешь остаться?!» 140
Замуж за любимца Сталина 146

ГЛАВА 8
ЖИЗНЬ НА БАЛТИКЕ

«Ты кончилась как актриса!» 155
На меня ходили 160
«Да перестаньте же реветь!» 164
«Деточка, я никогда ничего не забываю…» 168
Ситуацию спас Лакшин 170
Важный гость 175

ГЛАВА 9
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Мы соскучились по столице 181
«Ты сохранила мне зятя» 184
Мужья и жёны 187

ГЛАВА 10
«ОТТЕПЕЛЬ»

Рождение «Современника» 191
«Дом, где мы родились» 195
История с букетиком 198
Плач в трубке 201
«Записывай, кому деньги даёшь!» 204

ГЛАВА 11
КИНО

Опять Пушкин 207
«Ты из какого колхоза?» 214
Егерь не выговаривал половину алфавита 216

ГЛАВА 12
МНОГИЕ ДРУЖИЛИ С АРСЕНИЕМ…

Переделкино 223
«Ваша жена Вам изменяет…» 230
Дочь отца народов 232
Сколько тайн он унёс с собой… 238

ГЛАВА 13
ШКОЛА-СТУДИЯ МХАТ

Карлыч 243

ГЛАВА 14
КАК ПРОЛЕТЕЛА ЖИЗНЬ…

От «Леса» до «Леса» 249
Олег Табаков 253

ПРИЛОЖЕНИЕ
ДНЕВНИКИ КИРЫ ГОЛОВКО

Избранные страницы
1937–1943 257
Тетрадь № 1
«А буду ли я когда-нибудь артисткой?» 257
Тетрадь № 2
«Положительно 1937 год был хорош» 279
Тетрадь № 3
«Центр мира — Иванова Кира» 299
Тетрадь № 4
«Неужели никто меня не полюбит?» 307

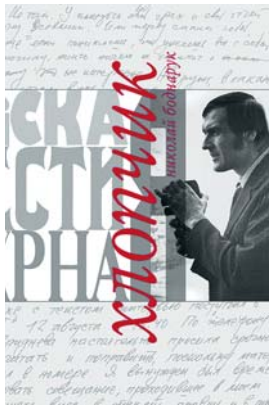
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЭПИЛОГ
Виктор Гвоздицкий о Кире Головко 310

РОЛИ В ТЕАТРЕ И КИНО 318

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 323

В серии «Время, люди, события» вышли в свет книги:

Хранитель
Алексей Комеч
и судьбы русской архитектуры.
Сборник статей А. Комеча
и воспоминания о нём.
Составитель Н. Самовер
2009 г.



Боднарук Н.Д.
Хлопчик
Дневники и мемуары
известного журналиста
2010 г.

В серии «Время, люди, события» готовится к изданию книга:

Ракитин В.И.
Коллекционер
История жизни Георгия Костаки
и создания его знаменитой коллекции
русского авангарда
и советского неформального искусства

ГОЛОВКО КИРА НИКОЛАЕВНА

АДМИРАЛЬША

Руководитель издательского проекта
Т. Боднарук

Редактор
М. Сингал

Верстка
А. Сидоренко

Корректор
Ю. Евстратова

Организация печатных процессов
М. Попова

Подписано в печать 27.07.2012 г. Формат 170 x 240
Объем 336 с. Тираж 1000 экз. Изд. № 104
ООО Издательство «ИСКУССТВО–XXI ВЕК»
119002, Москва, переулок Сивцев Вражек, 14, пом. IV
Тел./факс (499) 241-6465
e-mail: art21@ropnet.ru
www.iskusstvo21.com

Отпечатано в соответствии
с предоставленными материалами
в ЗАО «ИПК Парето-принт»
г. Тверь, www.pareto-print.ru

По вопросам приобретения книг обращаться
по тел. (499) 241-4995
e-mail: L-sale@ropnet.ru
интернет-магазин: www.iskusstvo21.com

ISBN 978-5-98051-104-3

9 785980 511043